

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 1994

СОДЕРЖАНИЕ

А.И. Домашнев (С.-Петербург). К проблеме языка общения в объединенной Европе	3
Г.Е. Крейдлин (Москва). Метафора семантических пространств и значение предлога	19
В.Б. Крысько (Москва). Заметки о древненовгородском диалекте (I. Палатализации).....	28
М.К. Сабанеева (С.-Петербург). О сущности наклонения	46
Р.И. Розина (Москва). Объект, средство и цель в семантике глаголов полного охвата	56
В.Г. Гузев (С.-Петербург). К вопросу о слоговом характере тюркского рунического письма	67
Е.С. Яковлева (Москва). Фрагмент русской языковой картины времени	73
А.А. Ошун Тань (Москва). Китайский язык и концептуальный мир говорящего (на примере показателя <i>теп</i>).....	90

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

К. Мосс (Миддлбери, США). Ольга Фрейденберг и марризм	98
---	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина (Москва). О некоторых направлениях современной французской лингвистики	107
А.А. Кибрик (Москва). Когнитивные исследования по дискурсу.....	126

РЕЦЕНЗИИ

К.Г. Красухин (Москва). <i>Reconstructing languages and cultures</i>	140
В.И. Подлесская (Москва). <i>Croft W. Syntactic categories and grammatical relations: the cognitive organization of information</i>	147
Ю.А. Сорокин (Москва). <i>Семенов А.Л. Лексикология современного китайского языка</i>	150
Н.А. Купина, Т.В. Матвеева (Екатеринбург). Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект	153

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	157
----------------------------	-----

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов,
А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик,
Г.А. Климов (отв. секретарь), Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров,
В.М. Солнцев, Н.И. Толстой (главный редактор),
О.Н. Трубочев (зам. главного редактора), А.М. Щербак

Адрес редакции 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания".

Тел. 201-74-42

Зав. редакцией Н.В. Ганнус

© Российская академия наук,
Отделение литературы и языка РАН, 1994 г.

© 1994 г. А.И. ДОМАШНЕВ

К ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКА ОБЩЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕННОЙ ЕВРОПЕ

В эти последние годы завершающегося XX столетия и накануне нового тысячелетия, похоже, начинают сбываться лучшие надежды Жана Монэ¹ (Jean Monnet), которого собравшиеся в Люксембурге руководители стран Европейского Сообщества 2 апреля 1976 г. назвали "первым почетным гражданином Европы". Европа, на первых порах в своей западноевропейской ипостаси, т.е. в рамках ЕЭС, стоит перед своим решающим шагом в направлении к полной и всесторонней интеграции, на основе которой должны возникнуть, говоря словами У. Черчилля, "Соединенные Штаты Европы", что является, в соответствии с Римскими Договорами 1957 г., конечной целью Сообщества и чему посвятил все годы своей активной жизни Жан Монэ, заслуги которого высоко оценил бывший тогда федеральным канцлером ФРГ Г. Шмидт в предисловии к немецкому изданию книги Ж. Монэ "Воспоминания европейца", назвав его зачинателем или первопроходцем (*Wegbereiter*) в устремлениях к европейскому единению.

Г. Шмидт воспользовался возможностью высказаться в упомянутом предисловии к книге Ж. Монэ по поводу проблем, стоящих на пути к общей (*gemeinsam*) Европе. Он, в частности, выражал надежду, что многого можно добиться благодаря обычному "здоровому смыслу" (англ. *common sense*) и подчеркнул тот факт, что Европейское Сообщество, несмотря на имеющиеся внутренние проблемы, как раз в экономически трудные времена обнаруживало "удивительную силу". Поэтому, продолжал он, никому не следует терять терпения в отношении Европы: "История имеет большой запас дыхания. Эпохальное дело объединения Европы требует своего времени" ("*Die Geschichte hat einen langen Atem. Das epochale Werk der Einigung Europas braucht seine Zeit*") [1, с. 14].

Однако по мере приближения времени действительного начала реализации выработанных в многолетних дискуссиях и договоренностях документов о полной интеграции и объединении Европы становятся все громче голоса тех, кто выступает в различных странах Сообщества против принятого ныне решения. Известный герман-

¹ Жан Монэ (Jean Monnet), родившийся 5.11.1888 г. в г. Коньяк (Cognac), во Франции, в семье виноделов и винооторговцев, отправившись в 16 лет впервые по делам фирмы на 2 года в Лондон, связал свою дальнейшую судьбу не только с расширением производства и продажи во всем мире знаменитого французского коньяка, но и с неутомимой деятельностью, направленной на постепенное сближение различных народов Европы между собой путем объединения их материальных ресурсов, далее – политических институтов различных государств, а затем и объединения народов этих стран. "Человек, который придумал Европу", как его называли собравшиеся в Люксембурге главы стран Европейского Сообщества 2.4.1976 г., не был ни мечтателем, ни фантазирующим идеалистом. Напротив, будучи опытным и трезво мыслящим торговцем и банкиром, он твердо уверовал в то, что угрожающие народам кризисы и войны можно преодолеть, если эти народы самым тесным образом сплотятся друг с другом и будут стоять друг за друга. Обычного сотрудничества и координации для этого недостаточно. Ж. Монэ не был ни дипломатом, ни политиком, но и в период между двумя мировыми войнами и, в особенности, после Второй Мировой войны, он принимал самое непосредственное участие в разработке и реализации различных проектов международного сотрудничества, общался с общественными и профсоюзными деятелями, промышленниками, настойчиво пропагандируя свои идеи о необходимости полного объединения Европы. В этом смысле Де Голль был его самым большим противником, поскольку главная цель для Ж. Монэ состояла в том, чтобы преодолеть принцип возрождения Европы как совокупности национальных государств. Его идеал – это объединенная Европа европейцев, а не "отечеств" ("*Vaterländer*").

ский журналист Д. Вильд (D. Wild), который после первого "нет" датчан и французского "ни да, ни нет" (нем. Jein – контаминация из "ja/nein", т.е. "да/нет") по поводу Маастрихтских соглашений в своем эссе в журнале "Шпигель" назвал эти негативные настроения "еврофобией" (Eugrophobie), попытался представить весь "антиевропейский фурор", который все более разрастается, в свойственной ему фельетонной манере как "следствие необоснованных страхов утраты своей идентичности": "Тут вдруг вспомнили датчане и немцы, французы и британцы после многих лет экономической интеграции о своей "идентичности" и стали сражаться, подобно Лаокоону, с прожорливым питоном Брюсселем, который, якобы, хочет их проглотить" [2, с. 37].

Звучавшие на протяжении десятилетий "клятвы" европейцев в их верности европейскому единству оказываются, по словам Д. Вильда, "лицемерными заверениями", поскольку такие действительно определяющие идентичность личности различия, как язык, культура, история не будут отняты никаким европейским сообществом у входящих в него народов, в то время как "социальные структуры" в западноевропейских государствах (урбанизация жизни, промышленность, занятость населения, социальный характер государства, профсоюзы, массовая информация) взаимно сблизились, а качество жизни городов стало "почти одинаковым" при сохранении традиционных особенностей, так что люди в каком-нибудь местечке Цвизель в Баварском лесу вовсе не должны жить как-нибудь иначе, чем жители в Парэ-ле-Монияль в Бургундии, если не придавать внимания тому факту, что одни при этом отдают предпочтение пиву, а другие скорее вину [2, с. 37].

Повторное голосование в Дании, обеспечившее формальное одобрение Маастрихтских соглашений теперь уже во всех странах ЕЭС, свидетельствует о том, что, несмотря на наличие определенных различий, среди граждан Сообщества укрепляется сознание того факта, что только Соединенные Штаты Европы смогут преодолеть все недостатки ЕС и покончить с продолжающимся столетия европейским партикуляризмом. Тем самым они готовы признать, что их страны должны будут утратить некоторые из своих компетенций и определенную часть своего суверенитета, но ничего из того, что составляет их естественную самобытность и идентичность, к чему в первую очередь относится собственная культура и язык. Так, говоря о языке, приходится отмечать, что многие европейские народы и этносы в ходе исторических процессов понесли немалые потери в такой мере, что некоторые идиомы либо вовсе исчезли с лингвистической поверхности, либо в своих социальных функциях не могут более обходиться без помощи других языков. Так, ретороманцы Швейцарии, несмотря на то, что их язык признан одним из четырех (наряду с немецким, французским и итальянским языками) национальных языков страны, вынуждены пользоваться преимущественно немецким языком, если им приходится обращаться в официальные инстанции и учреждения кантона Граубюнден, где они проживают компактно, или если они хотят получить профессиональную подготовку и высшее образование. Даже италошвейцарцы, которые имеют в Швейцарии собственную национально-административную территорию (кантон Тессин) и язык которых является, таким образом, одним из национальных и официальных (государственных) языков страны, вынуждены владеть либо немецким, либо французским языком, если захотят получить высшее образование, так как в Швейцарии нет италоязычного университета [3, с. 151]. Иной случай представляет собой языковая ситуация в маленьком центральноевропейском государстве Великом Герцогстве Люксембурге, где наряду с местным люксембургским (легцебургским) языком, с недавних пор провозглашенном государственным языком страны, в качестве официальных традиционно используются два других языка (французский и немецкий), которые в определенной социально релеватной последовательности настолько укрепились в своем общественном функционировании, что без них сегодняшний Люксембург просто невозможно себе представить [4, с. 188]. Еще в 1953 г., когда летцебургский язык еще рассматривался в качестве местного диалекта, используемого для целей повседневного общения, люксембургский германист Р. Брух писал: "Хотя диалект является единственным средством выражения в повседневном

языковом общении, немецкий язык не менее, чем французский, воспринимается внутри наших границ в качестве чужого пришельца (Fremdling). Однако как только нам приходится писать или читать, мы всегда делаем выбор между этими культурными языками: мы одноязычны в устной речи и двуязычны в письменном языке. (Те из нас, которые используют в письменной речи и диалект, изобрели понятие "трехязычности".) [5, с. 95].

Поскольку в Люксембурге нет собственного университета, то жителям страны приходится принимать самостоятельное решение о языке обучения и, соответственно, стране пребывания (Бельгия или Франция – с французским языком, на котором преимущественно осуществляется обучение в старших классах средней школы и в самом Люксембурге, либо Германия – на основе немецкого языка, на котором происходит обучение в школе I ступени (неполная средняя школа), и историческим диалектом которого является ныне государственный летцебургский-люксембургский язык), хотя нередко сами люксембуржцы на вопрос о своей языковой компетенции в области упомянутых языков обучения отвечают, что не чувствуют себя достаточно уверенно ни в одном из них. Люксембургский педагог и филолог П. Грегуар (Pierre Grégoire) в связи с этим писал, что постоянные поиски языкового средства для выражения духовных национальных ценностей и идей сказываются на качественной стороне духовной жизни народа. Это беспрестанное стремление справиться с избранным языком творчества и чувство неуверенности и "полускрываемой неспособности" он сравнивает если не с "отрывом от источников питания корней" (Wurzelloigkeit), то с "разрыхлением" или "ослаблением" этих связей (Wurzellockerung) [6, с. 36].

При рассмотрении имеющихся в сегодняшней Европе утрат языковой идентичности мы еще не коснулись проблемы национально-этнических меньшинств, которые проживают компактными группами на окраинах иноязычных государств или образуют этнические "острова" внутри иноязычного большинства того или иного государства. Этно-национальная языковая идентичность таких групп населения зачастую оказывается под угрозой и зависит всегда от того, какие права на сохранение и поддержание национально-этнической культуры им гарантирует соответствующее государство. Так, во Франции, помимо французов, составляющих примерно 9/10 всего населения страны, имеются национальные меньшинства – эльзасцы, бретонцы, фламандцы, корсиканцы, каталонцы, баски (всего около 3 млн.ч.) [7, с. 512], сохраняющие свои языковые и бытовые различия. Однако право на культурно-языковую автономию реализуется практически в столь ограниченных формах, что даже крупные национально-этнические группы не имеют возможности получить хотя бы школьное образование на родном языке. Так, баскский, каталонский или корсиканский языки допускаются в школе только в качестве факультативных предметов. Во Франции проживают в компактных регионах около 1,2 миллионов говорящих на алеманнском диалекте эльзасцев и на мозельско-франкском диалекте лотарингцев [8, с. 279], однако ни их родной диалект, ни немецкий литературный язык, частью которого эти диалекты являются, не служат языком обучения даже в сельских школах, где местное население в повседневной жизни общается между собой на своем диалекте. Даже в качестве языка литургии положение немецкого языка было еще в 50^е-60^е гг. вполне стабильным, однако в настоящее время в городах и крупных населенных пунктах во время богослужения наряду с немецким все чаще используется французский язык, который становится также все больше и языком, используемым на занятиях в школе по религии, хотя ранее эти уроки осуществлялись, как и при богослужении в церкви, на немецком языке [9, с. 10]. Отношение к родному языку эльзасцев и лотарингцев со стороны властей не улучшилось и в более позднее время. Так, эльзасский германист Ф. Гартвег в начале 80^х гг. писал о том, что в Эльзасе происходят не языковые изменения и преобразования (Sprachwandel), а процесс языковой подмены (Sprachersetzung), когда унаследованный язык в общем функциональном регистре использования языков оттесняется языком, наделенным престижем политического и культурного значения [10, с. 97]. Эта сознательно проводимая политика в отношении языков национальных

меньшинств во Франции приводит к тому, что организуемые путем местной инициативы на уровне общин попытки ввести, например, факультативное изучение немецкого языка, оказываются безуспешными. По-прежнему французский язык является единственным средством использования во всех сферах общественной жизни, тогда как диалекту остается узкий круг семейного общения или с соседями "через плетень", а немецкий литературный язык оказывается вообще "не востребованным": "С точки зрения языка эльзасец все еще сидит между тремя стульями и в известном смысле оказывается "лингвоуцербным" ("Sprachbehinderter")... Поскольку немецкий литературный язык в устном и, в значительной степени, в письменном общении потерял всякое значение, то мы находимся в действительности в условиях асимметрической диглоссии, в которой один компонент, французский язык, обнаруживает свой экспансивный характер, а другой – унаследованный диалект – "загнан в оборону" (in Defensive gedrängt...), хотя для многих все еще остается первичным языком, в рамках которого происходит и опыт социализации личности" [10, с. 109].

Безусловно в таком языковом ригоризме в этих районах Франции следует видеть следы той антифранцузской языковой политики, которую проводили здесь нацисты в период оккупации Эльзаса и Лотарингии, как и других областей Франции, в период 2^{ой} Мировой войны, когда франкоязычное население изгонялось из этих мест, а французский как официальный язык и средство общения в школе был почти полностью вытеснен немецким языком. Сложная ситуация в языковом и национальном плане наблюдалась в этот период и в Люксембурге, местное население которого, как отмечалось выше, говорит на летцебургском языке, имеющем общие исторические корни с мозельско-франкским диалектом Германии (р-н Трира и Кобленца). Рассматривая люксембуржцев по этой причине в качестве немцев, нацистские идеологи решили получить этому подтверждение путем референдума о немецком как родном языке люксембуржцев, диалектом которого и является летцебургский. Однако известно, что его устроители желаемого результата не получили, так как многие жители его бойкотировали, либо вписали в листки летцебургский в качестве своего родного языка. Кстати, именно из-за такого давления со стороны нацистских властей на люксембуржцев в послевоенное время немецкий язык перестал считаться в Люксембурге первым официальным языком, уступив эту роль французскому языку, а в 1984 г. летцебургский язык был провозглашен национальным (государственным) языком, тогда как французский сохранил свой статус основного языка официальных документов и законодательных актов. Немецкий, наряду с французским, используется в деловом общении, в юриспруденции, при обучении в школе [4, с. 187–188; 25, с. 60–61, с. 535].

Одним словом, в современной Европе уже происходили многие процессы, делающие ныне европейские народы и этносы столь чувствительными ко всему, что затрагивает такие их важнейшие свойства и сущности, как культура, история и язык. В этих условиях фундаментальные изменения в привычных формах их традиционного существования, которые может принести с собой создание Соединенных Штатов Европы (независимо от того, как это новое образование будет называться), не должны касаться именно этих упомянутых выше сфер жизни людей, казалось бы, что именно это и происходит, ибо со всех сторон высказываются обещания, что идентичность отдельных языков, как некая созокупность особенностей и отличительных черт никоим образом не будет намеренно сглаживаться и нивелироваться. Между тем техническая цивилизация, массовая культура и другие, преимущественно, заокеанские импорты уже прошли в равной мере по странам Европы почти как катком, так что не приходится удивляться, если становится известным, что та или иная страна в решающий момент высказывает свое сомнение в целесообразности такой формы интеграции или даже делает попытки, или проявляет склонность отказать от выказанного согласия. Говоря в этом смысле о культурно-языковой судьбе европейских народов, следует напомнить, что так называемые "языковые войны" и в Европе происходили постоянно и совсем еще недавно, если вспомнить накал страстей в

процессе образования франкоязычного кантона Юра в Швейцарии (1978 г.), либо недавний процесс федерализации по принципу языков (валлонский, фламандский) в Бельгии, в основе которых лежат как культурно-исторические традиции, так и, в большей мере, социально-экономические процессы в данных странах, когда язык становится чуть-ли не последним бастионом, который необходимо удержать в своих руках при всех обстоятельствах (на самом деле за всем этим стояли общественно-экономические причины и обстоятельства). Именно поэтому в последнее время, по мере приближения новой точки отсчета в жизни стран ЕЭС, наряду с нарастающим уровнем политических дискуссий относительно контуров и конкретных форм политического объединения стран-участниц в "государство государств", резко возрос интерес и к вопросам языкового обустройства создаваемого сообщества, хотя весь накал борьбы еще не приводит к возведению новых оборонных линий Мажино. Напротив, многие в странах ЕЭС сегодня вполне согласны с тем, что образование супранационально-государственного объединения на основе упомянутых стран Западной Европы не может обойтись без взаимного языкового сближения людей, хотя никто не ставит однозначно вопрос таким образом, что срастание европейских национальных культур должно означать также и языковое срастание этих народов. Речь, следовательно, идет о том, что по чисто прагматическим причинам нельзя оставить без внимания вопрос о том, сохранится ли в объединенной Европе прежнее многоязычие (языковая полифония) или для целей общения в этих пределах могут быть приняты несколько региональных или один общий язык, что не затрагивало бы функции и статус национально-государственных языков нынешних государств. Тем самым выдвигается идея, для которой практически нет аналогов в современном мире, так как речь идет о высокоразвитых культурных государствах с их равнопоставленными культурными языками, которые, с одной стороны, не должны понести никаких социо-функциональных потерь, и тем не менее не могут одинаково равноценно функционировать на репрезентационном уровне всей объединенной Европы. Представление о таком новом языковом Вавилоне может еще более усложниться, если принять во внимание, что круг государств-основателей интегрированной Европы в будущем может заметно расшириться за счет стран Восточной Европы благодаря тем демократическим общественно-политическим и социально-экономическим преобразованиям, которые в них происходят. Одним словом, нет ничего более ошибочного, чем предположение, что языковые проблемы, с которыми столкнется Объединенная Европа, имеют примерно такой же характер, как это было в таких многонациональных странах или союзных государствах, как США, Советский Союз, Канада, Швеция или Бельгия [11, с. 9].

Так, в США с их национально-этнической и языковой политикой "плавильного котла" (melting-pot) имеется только один официальный язык – англоамериканский, хотя другие национально-этнические группы, например немцы, мексиканцы, составляют многочисленные компактно проживающие сообщества, в районах расселения которых этнический язык используется только в повседневном общении в узком кругу семьи и ближайшего этнического окружения. Допускаемые в отдельных регионах страны программы двуязычного (т.е. с использованием этнического и английского языка) обучения в государственных школах должны "заключаться в том, чтобы как можно быстрее и эффективнее обучать детей английскому языку", а для любого "отдельного учащегося двуязычное обучение должно служить переходной стадией" путем отказа в пользу английского языка. Таким-образом, принцип американской политики в отношении языков национально-этнических групп населения США заключается в том, что политика, "направленная на удовлетворение прав меньшинств, лишь тогда обретает всеобщую поддержку, когда она выражается в действиях, поддерживающих доминирующую концепцию американской общности, а не разрушающих ее" [12, с. 65].

В Швейцарии, напротив, нет единого государственного языка, поскольку все четыре языка (немецкий, французский, итальянский, ретороманский) имеют статус национальных, из которых первые три одновременно признаны государственными (официальными) языками страны. Так называемые германошвейцарцы (около 73,6% на-

селения страны, 1980 г.) составляют этническое большинство, однако немецкий язык не имеет никаких функциональных преимуществ и не используется как средство внешней репрезентации государства. Численно наименьшая этническая группа населения — ретороманцы (около 1% населения, 1980 г.) пользуются в повседневной жизни своим родным языком, который имеет и письменную форму, однако при обращении в инстанции, поскольку они проживают в основном на территории немецкоязычного кантона Граубюнден, они вынуждены пользоваться немецким языком, который им также необходим в целях социального и профессионального продвижения. Среди представителей других этнических групп населения страны, в особенности среди итало- и франкошвейцарцев, достаточно развито индивидуальное двуязычие, преимущественно с участием немецкого языка, поскольку такие крупнейшие центры страны, как Цюрих, Берн, Люцерн, Базель находятся на территории распространения немецкого языка. Достаточно широко развито двуязычие и в регионах языкового схождения; есть также объявленные зоны двуязычия, например, г. Фрибур, где в местном университете имеются группы студентов, образованные по принципу языка. Все это свидетельствует о том, что опыт многоязычной Швейцарии, являющейся одним из самых устойчивых федеративных государств, может говорить только в пользу отказа в создаваемой новой Европе от попыток жесткой языковой институционализации.

Ссылка Р. Пфромма на Бельгию [11] еще менее состоятельна, поскольку здесь речь идет, главным образом, о двух этнических компонентах населения страны. Сложность ситуации заключается, возможно, лишь в том, что округ столицы страны Брюссель, географически расположенный на территории говорящих на нидерландском языке фламандцев, составляющих около 57,1% (1982 г.) всего населения, является преимущественно франкофонным, хотя считается городом объявленного двуязычия, тогда как говорящие на французском языке валлоны (около 32,7% населения страны, 1982 г.) безусловно получают постоянную поддержку статуса своего языка благодаря языковому "тылу" во Франции, к границам которой примыкает ареал расселения валлонов, а также благодаря роли французского языка как средства международного общения (роль французского языка в ООН, ЕЭС и в различных международных организациях и учреждениях). Проживающие в Бельгии этнические немцы (около 65 тыс. человек, 1982 г.) используют немецкий язык не только в повседневном общении, но и в качестве делового языка в пределах этнической общинной территории (*regionale Amtssprache*) [8, с. 243], однако есть основания считать, что многие из них владеют также и французским языком, поскольку ареал расселения этнических немцев Бельгии, примыкающий к границам Германии и Люксембурга, находится в непосредственном контакте с территорией основного проживания франкоязычных валлонов [13, с. 98], в состав территории которых они ныне и входят.

На территории бывшего Советского Союза, на опыт решения политико-языковых проблем в котором ссылается Р. Пфромм, русский язык являлся родным для большей части населения всей страны; в исторических условиях образования России и существования СССР он, безусловно, широко использовался на территориях национальных республик страны и национально-этнических автономий в пределах Российской Федерации. Несмотря на это фактическое положение вещей, он не был объявлен государственным языком страны, тогда как во всех 15 союзных республиках СССР языки соответствующих наций были либо официально, как в Грузии, объявлены государственными языками, либо являлись таковыми без всяких формальных уложений. Во всех республиках были созданы национальные академии наук, имелись университеты, высшие и средние школы с преподаванием на родном языке, который являлся не только языком обихода, но и официального, делового общения. Конечно, в условиях интенсивной производственной экономической интеграции и сращения всех сфер жизни людей на совокупном пространстве страны, в условиях свободного перемещения людей из различных регионов в любые другие центры по трудовым, а также личным или семейным причинам, в целях получения образования в престижных вузах Москвы, Ленинграда, Киева и других центров, наблюдалась постоянная флук-

туация в национальных структурах населения. Все это привело к уплотнению многонационального характера населения многих союзных республик. В этих условиях возрастала роль русского языка как средства общения населения в таких регионах или городах, подобно тому, как он уже стал языком общения в экономической, политической, культурной жизни людей в пределах всего Союза.

Интеграционные процессы в стране казались настолько прочными и глубинными, что идеологической пропагандой был подхвачен тезис философов-обществоведов о сложении советского народа как новой исторической, социальной и интернациональной общности людей, имеющих единую территорию, экономику, "единую по социалистическому содержанию и многообразную по национальным особенностям культуру, федеративное общенародное государство и общую цель – построение коммунизма" [14, с. 621]. Впрочем, такое наднациональное единение народов не следует рассматривать ныне только с позиций факта распада единой страны на крутом изломе ее истории, что должно якобы только подтвердить ее искусственный или, тем более, имперский характер. С другой стороны, следует напомнить, что никогда вопрос не ставился таким образом, чтобы в конечном счете, по аналогии с "плавильным тигелем" американской нации, выплавить единую советскую нацию. При этом нельзя отрицать и заметного сближения различных наций и народов страны, включая развитие межнациональных браков, что, безусловно, имело определенные демографические последствия. Так, если в 1970 г. таких браков в целом по стране было 7,9 млн., или 13,5% общего числа новых семей, то в 1979 г. – 9,9 млн., или 14,9%. Еще больше смешанных браков (каждый второй) наблюдалось среди жителей новых районов освоения, в северных областях Казахстана, в Сибири и др. районах. Следует также отметить, что интенсивность перемещения лиц различных национальностей была неодинаковой. Наибольшая интенсивность была характерна для русских, украинцев, белорусов, эстонцев, латышей, литовцев, в то же время представители коренных национальностей республик Средней Азии отличались низкой миграционной подвижностью [7, с. 246], тогда как и в эти регионы страны, в связи с осуществлявшимся там экономическим развитием, прибывало большее количество русских и русскоязычных переселенцев. В некоторых республиках, в особенности в крупных городах и экономических центрах, русскоязычное население составляло от 30% до 40%, либо находилось в пропорции 1:1 и выше. В языковом отношении эти и другие процессы приводили к тому, что русский язык укреплялся здесь в своем употреблении в различных сферах общественной жизни в такой мере, что в ряде союзных республик (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Азербайджан) стал рассматриваться, по крайней мере в официальных пропагандистских политических документах, в качестве второго родного языка. Близкородственные отношения русского, украинского и белорусского языков отразились, в частности, на том обстоятельстве, что в столицах и крупных городах Украины и, в особенности, Белоруссии в вузах и даже в школах преподавание осуществлялось не на родном, а преимущественно на русском языке. Подобный языковой нигилизм в целом оправдывался тем обстоятельством, что русский язык в качестве одного из мировых языков обеспечивает прямую доступ к участию во всех важнейших процессах во всех сферах общественной жизни, а многие представители национальных элит тем самым нередко вообще утрачивали связь со своим национальным языком. Вместе с тем данные переписи населения 1989 г. подтверждали наличие двух взаимосвязанных тенденций: с одной стороны, происходило дальнейшее расширение двуязычия со вторым русским языком, с другой – и 25-миллионное русское население, проживающее в союзных республиках, приобщалось к языкам национальностей, образующих союзную республику [16, с. 5].

Особенно актуальными языковые проблемы являлись для представителей малочисленных национально-этнических групп, общее количество которых, например в Российской Федерации, в соответствии с переписью населения в 1989 г., составляло 129 народов (еще 54 названы в дополнительном списке, которые ранее практически не упоминались: ингерманландцы, вепсы и др.). Среди официально признанных 26 мало-

численных народностей Севера (алеуты, долганы, ительмены, коряки, нигидальцы, ненцы, ороки, удегейцы, чукчи, эвенки и др.), общее количество которых составляет примерно 183.700 человек (1989 г.), имеются такие, численность которых составляет 35000 (ненцы), тогда как такие этнические группы, как алеуты, ороки, нигидальцы тофалары, энцы, насчитывают от 200 до 700 человек [15, с. 13]. В силу целого ряда причин, которые оказываются для различных национально-этнических групп нередко различными (малочисленный характер этнической группы, рассеянное проживание людей общей этнической принадлежности и др.) на протяжении последних десятилетий происходило преимущественно снижение числа представителей этих народностей, считающих родным языком язык своей национальности. Если в 1959 г. из 3717 нивхов 76% считали родным языком язык своей национальности, то в 1989 г. из 4700 человек только 23% (т.е. 30% от числа лиц в 1959 г.) считали родным языком язык своей национальности [15, с. 47]. Степень владения родным языком в большинстве районов Севера связана с возрастом носителей: старшие еще составляют группу, для которой основным языком общения является национальный язык, а младшие, напротив, ориентированы на язык более крупного этноса, как правило, русский. Наблюдающееся снижение числа представителей этих народностей, считающих родным языком язык своей национальности, связано как миграционными процессами на Севере, в том числе и за счет коренного населения, выезжающего в другие места, так и путем интенсификации процесса "не плавного" перехода от двуязычия к одноязычию уже на основе русского языка [15, с. 46].

Во многих автономных республиках Российской Федерации, статус которых в последнее время претерпел принципиальные изменения, и которых в России насчитывается 21 (Татарстан, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Калмыкия, Тува, Дагестан, Коми, Якутия и др.), национальные языки возведены в ранг государственных языков, хотя русский язык, объявленный законодательно лишь в недавнее время государственным языком, продолжает оставаться во всех субъектах Федерации общенациональным языком общения [17, с. 8]. Этому способствует то обстоятельство, что в ряде республик Федерации "титульные нации" не составляют большинства населения и, наряду с русскими, здесь постоянно проживают представители как соседних республик, так и из других бывших союзных республик, ныне имеющих суверенную государственность (украинцы, азербайджанцы, грузины, армяне). Так, в Башкирии (Башкортостан) башкиры составляют лишь 21,9% населения, русские – 39,3%, татары – 28,4% [17, с. 9], а остальные примерно 10,4% составляют лица других национальностей. При этом в качестве родного русский здесь назвали 1725,7 тыс. жителей (1979 г.), в том числе 178,9 тыс. лиц нерусской национальности. Помимо этого русский в качестве второго языка назвали еще 1498,8 тыс. жителей нерусской национальности, так что из общего количества жителей Башкортостана (3850 тыс. человек) 3224,5 тыс. жителей назвали русский либо единственным, либо вторым своим языком [7, с. 30]. Однако и в других республиках, в которых "титульные нации" составляют большинство (более 50%), русские составляют около или более 1/3 населения. Так, в Туве тувинцы составляют 64,3%, русские – 32%, в Чувашии чуваша составляют 67,8%, русские 26,7%, татары – 2,7% [17, с. 9]. Таким образом, условия, в которых складывался статус русского языка как языка национального большинства как всей страны в границах бывшего Союза, так и в пределах Российской Федерации, не имеют ничего общего с тем положением, в котором находится любой из языков стран ЕС, если пытаться по этой аналогии обосновывать свои предложения относительно какого-либо единого средства языкового общения в пределах объединенной Европы.

Нынешнее Европейское Сообщество, которое стремится стать Соединенными Штатами Европы, представляет сегодня, как хорошо известно, многоязычную область, "титульные нации" государств которой представлены развитыми культурными языками, обладающими максимальными общественными функциями. Наряду с этим в Западной Европе есть языки с так называемым подавленным статусом, т.е. они используются практически лишь в пределах семейного либо общинного общения,

оставаясь при этом в центре внимания при национально-этнической идентификации и самоопределения: фарерский (главным образом в Дании), фризский (в Нидерландах и в северных р-нах ФРГ), группа вариантов ретороманского языка: ретороманский (в кантоне Граубюнден Швейцарии), тирольский ретороманский (обл. Трентино-Альто-Адидже, Италия) и фриульский (обл. Фриули-Венеция-Джулия, Италия), язык говорящих на алеманнском диалекте эльзасцев или на мозельско-франкском диалекте лотарингцев (Франция), а также, собственно, и государственный язык Люксембурга – лютцебургский (люксембургский), поскольку максимальные общественные функции здесь выполняют французский и немецкий языки.

Среди языков стран нынешнего Европейского Сообщества, имеющих признанный международный авторитет, в особо сложной ситуации, очевидно, в результате германского "следа" недавнего исторического прошлого в Европе и во всем мире, оказался немецкий язык, обладающий, как известно, в Западной Европе, наибольшим числом носителей. В то время как английский и французский языки благодаря их роли в созданной в 1945 г. ООН укрепили свой международный статус и авторитет, к которым в качестве третьего делового (официального) языка в 1948 г. присоединился испанский язык, немецкий язык, по понятным причинам, там не был вообще представлен и был допущен в 1975 г. к использованию в качестве "полудокументального языка"² (Semi-Dokumentarsprache) [18, с. 6], после того как оба германских государства того времени (ФРГ и ГДР) в 1973 г. были одновременно приняты в число членов ООН. В рамках ЕЭС, как это явствует из Римских Договоров 1957 г., все национальные языки стран-участниц должны рассматриваться в качестве равноценных официальных языков (Amtssprachen), однако практика ЕС характеризуется тем обстоятельством, что в штаб-квартирах Сообщества в Брюсселе и Люксембурге фактически обходятся лишь двумя языками – английским и французским, хотя и "федеральный канцлер, и его министры по делам экономики и германские чиновники (Kabinette) в Брюсселе уже давно требуют, а в настоящее время – все чаще, настойчивее и громче, ввести (etablieren) немецкий, наряду с французским и английским языками, в качестве рабочего языка ЕС" [19, с. 165]. Правда, как отмечает известный германский социологист У. Аммон в последнее время все заметнее видны признаки того, что положение немецкого языка в органах и комитетах ЕС "несколько укрепляется", о чем, в частности, свидетельствует тот факт, что с апреля м-ца 1990 г. все заявления европейских комиссий для прессы публикуются, помимо французского и английского, и на немецком языке [20, с. 82]. Одним словом, значение того или иного языка не всегда зависит от формального статуса и определяется скорее тем, в какой мере тот или иной язык фактически используется и как к этому относятся сами говорящие на таком языке. Цитировавший уже ранее германский политолог Р. Паке (Ruprecht Paqué) в этой связи замечает, что тот, кто, находясь в учреждениях, подобно брюссельским и люксембургским кабинетам ЕС, где немецкий является официальным языком, в служебном и приватном общении со своими коллегами говорит только по-французски и по-английски и не пытается даже одним словом приветствия узнать, не понимает ли его собеседник немецкий язык или "проявляет готовность обучиться ему или потренироваться в нем", не должен удивляться, если затем в журналах ЕС и даже в независимых изданиях, наподобие журнала "Economist", высказывается предложение ограничиваться в практическом деловом общении в ЕС английским и французским языками, вместо того, чтобы "по крайней мере" пользоваться "тремя западно-европейскими языками общения – английским, французским и немецким языками" [18, с. 7].

² Статус "язык документов" в ООН имеют такие языки, с которых и на которые не осуществляется в официальном порядке устный перевод, однако на такие языки, как и на все официальные языки ООН, осуществляется перевод документов и резолюций Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и годовые доклады примерно 50 органов, комитетов и подкомитетов ООН. Поскольку при этом на немецкий язык переводятся не все из перечисленных материалов, а лишь только выборочные документы, то такой статус немецкого языка определяется в качестве "полудокументального языка" (Semi-Dokumentarsprache) [18, с. 7].

В этом смысле обращает на себя внимание то несколько странное обстоятельство, что многие представители немецкой элиты сами готовы к тому, чтобы отказаться от своего языка в общении за пределами Германии в пользу английского. Безусловно, такое наблюдение не имеет ничего общего с такими ироническими суждениями, которые приписывают одному из бывших французских премьеров, согласно которым распространению родного языка можно способствовать тем, "чтобы не говорить ни на каком другом языке" [21, с. 17]. Дело в том, что многие немцы, подобно некоторым голландцам или датчанам, языки которых и в самом деле менее распространены в мире, приезжая, например, в Россию для деловых переговоров или на научные конференции, пытаются непременно пользоваться в общении со своими российскими партнерами английским языком, либо услугами переводчика с английского, тогда как переводчики немецкого языка здесь имеются, как говорится, в любом количестве. Между тем они могли бы по крайней мере избавить самих себя от трудностей или неудобств пользоваться неродным языком, если их собеседник, как может выясниться, не владеет соответствующим иностранным языком и вынужден в любом случае пользоваться услугами переводчика. При подобных наблюдениях нельзя отделаться от впечатления, что некоторые немцы считают принадлежностью к хорошему социальному стилю использование английского языка, если они находятся даже не в англоязычном окружении. Таким образом, такие немцы могут невольно способствовать тому, что их язык постепенно исчезнет из сферы международного общения или, во всяком случае, это не упрочит его функциональное положение, с чем, как представляется германскому дипломатическому чиновнику и политологу Б. Витте (Barthold Witte), некоторые немцы "смирненно согласились" [22, с. 233] или, как заключает руководитель зарубежной редакции Баварского телевидения, модератор программы "Weltspiegel" и германист Ф. Штарк, у некоторых немцев имеются "проблемы в нормальном отношении к своему родному языку" [21, с. 17].

Общее снижение роли немецкого языка в международном языковом распределении в период между двумя Мировыми войнами и, в особенности, после Второй Мировой войны, оказало свое отрицательное воздействие и на его функцию как языка науки, где эта роль всегда была достаточно высока. Известный германист Г. Вайнрих (Harald Weinrich) в этой связи излагает свое представление о том, как этот эффект может достигаться целенаправленными действиями: "Однако, когда я постоянно слышу стереотипный аргумент о том, что ныне публикацией на немецком языке просто более невозможно пробиться (erreichen) до "научного сообщества" (англ. scientific community), тогда я задумываюсь над тем, действительно ли такой коллега стремится к международному (weltweit) общению ученых или только хочет импонировать небольшой элите исследователей, которые как раз владеют монополией на распределение престижей в той или иной области науки и, естественно, "сидят" (sitzen) в трех или четырех эпицентрах в других странах. Утверждение о том, что все написанное не на английском языке в науке просто не читается, хотя, пожалуй, и соответствует фактам в некоторых ее отраслях, однако служит для некоторых нередко защитным оправданием, когда они, перед лицом и без того угрожающе нарастающей информационной лавины, охотно ищут простые критерии, чтобы сходу отклонять большие части этого информационного предложения, не подвергая себя, тем самым, опасности упреков по поводу неполноты научной документации" [23, с. 309–310].

В одной из своих более ранних публикаций Г. Вайнрих, говоря о почти "мизерабельном" положении немецкого языка в Европе и в мире, когда английский язык стал универсальным средством общения, с горькой иронией замечает, что тот, кто рассчитывает в своих исследовательских достижениях на получение Нобелевской премии, должен публиковать свои научные доклады сразу на английском языке, иначе результаты его исследований окажутся бесполезными (wertlos) в тот самый момент, когда они, "выходя из-под немецкого пера, увидят свет" [24, с. 42].

Если в странах ЕЭС, говоря о будущем языкового обустройства Сообщества, упоминают три функционально наиболее важные языка, которые могут претендовать

на роль единого языка общения в будущей полностью интегрированной Европе, то, безусловно, наибольшие шансы стать таким европейским *lingua franca* имеет английский язык, поскольку он, действительно, наиболее распространен в современном мире и стал как бы *par excellence* международным языком или, говоря словами У. Аммона, "мировым языком нашего времени" ("Englisch ist die derzeitige Weltsprache...").

Отрицать доминирующую роль "англо-американского языка" в современном мире совершенно не приходится, так как никакой другой язык в мире в настоящее время не обладает аналогичным уровнем его международных функций. Так, отмечая, что хотя немецкий язык и относится к числу десяти, а может быть и пяти наиболее распространенных языков в мире, У. Аммон одновременно подчеркивает, что "интервал отставания" немецкого языка от английского оказывается колоссальным (*enorm*), а общее количество его международных функций оказывается намного меньшим [25, с. 567]. Одновременно многие социолингвисты и политологи высказывают сомнение в том, что какое-либо современное европейское национальное сообщество окажется готовым вступить в какой-либо "специфический союз" с каким-либо иностранным языком. Во всяком случае, говоря об этом, У. Аммон подчеркивает, что подобные трудности могут возникнуть у немцев и нечто похожее следует ожидать в случае с французским языковым сообществом, тогда как более малочисленные европейские языковые общности (нидерландская, скандинавские), которые уже давно характеризуются тем, что привыкли пользоваться при международном общении иностранными языками, не проявляют подобной сдержанности [26, с. 270]. Одновременно отметим, что в некоторых соседних с Германией странах более благоприятное отношение к английскому языку все еще связано с недавним прошлым, когда нацистский режим Германии проводил открытую политику подавления культур и языков этих народов. Так, в случае с Нидерландами и фламандской Бельгией планировалось намеренное понижение роли родного нидерландского языка до уровня диалекта и закрепление немецкого в качестве официального языка [25, с. 536]. Проводилась политика "онемечивания" населения и в Польше: во время оккупации школьное и вузовское обучение происходило только на немецком языке. Долгие годы и после войны немецкий язык во многих европейских странах рассматривался в качестве языка оккупантов, что, безусловно, сдерживало в этих странах желание людей изучать немецкий язык [21, с. 16], а на бытовом уровне это отношение сохраняется в некоторых странах, например в Нидерландах, до настоящего времени. В этой связи вспоминается, что находясь в мае м-це 1974 г. в Лондоне, я был принят в составе делегации из трех человек в служебном кабинете в парламенте бывшим тогда премьер-министром страны Г. Вильсоном, который, узнав, что я занимаюсь германистикой и преподаю в вузе немецкий язык, заметил: "Почему не английский? Разве вам было мало недавней войны?"

Однако следует ли из подобного хода мысли делать вывод о том, что при языковом оформлении будущих Соединенных Штатов Европы все языковые проблемы будут легко решены, если поскорее покончить с дискуссиями о формах, "еврофонии", а вместо этого предложить один общий европейский официальный язык (*Amtssprache*) в качестве "евроязыка", который станет и единым языком общения объединенных европейцев? Так, немецкий лингвист Т. Иклер (*Theodor Ickler*) в журнале "*Sprachreport*", издаваемом Институтом немецкого языка в Мангейме, писал, что после "тщательного" анализа различных вариантов решения английский язык ему представляется наиболее подходящим для того, чтобы выступать в качестве "международного медиума". При этом он полагает, что решение в пользу одного "мирового языка" и, тем самым, прекращение "злосчастной (*unselig*) конкурентной борьбы языков", создаст пространство, в котором будут "шансы для выживания" и всем другим языкам [27, с. 18].

Однако из серии высказанных аргументов по поводу языкового обустройства объединенной Европы в целом для европейских языков складывается несколько странная и противоречивая перспектива. Если Д. Вильд, мнение которого мы приводили в начале статьи, возвышенно и увлеченно заверяет, что новая форма жизни

европейских народов ничего не отнимет у них из того, что имеет отношение к их самосознанию, как, например, язык, то Т. Иклер обещает всем народам лишь "шансы для выживания" их языков, если они прекратят эту "злосчастную" конкуренцию между собой и смиренно "столпятся" вокруг единственного мирового языка.

В целом, в этой связи, следует поставить вопрос о том, в какой мере подобные предложения могут быть вообще реализованы, если исходить из того, что речь идет о современных наиболее развитых европейских нациях и государствах, имеющих свои собственные культурно-языковые традиции, и возможно ли вообще вмешательство в языковую жизнь народов при достигнутом ныне уровне и объеме функций языков соответствующих стран без того, чтобы при этом для них не возникли отрицательные последствия? Следует также задаться вопросом о том, находятся ли столь радикальные предложения, несколько поспешно сформулированные, в разумном соотношении с проблемами, которые при этом могут возникнуть? И вообще, удастся ли уговорить всех европейцев изучать только один конкретный иностранный язык, независимо от того, какой именно язык хотел бы изучать тот или иной человек? В этой связи Г. Вайнрих писал: "Некоторые люди считают, в частности, вполне реальным делом (machbar), чтобы каждый гражданин земли (Erdenbürger), который хочет стать и гражданином Вселенной (Weltbürger), наряду со своим территориальным языком, изучал бы только один единственный международный язык общения и всемирный вспомогательный язык, с помощью которого можно было бы решать и все надрегиональные проблемы коммуникации, при условии, однако, что весь мир придет к согласию в том, какой именно язык должен им стать" [23, с. 308].

И хотя сам Вайнрих признает, что английский язык, безусловно, является наиболее перспективным кандидатом на эту роль, он, несмотря на это, продолжает отстаивать такую стратегию изучения иностранных языков в Европе, в которой отсутствует единственная ориентация на английский язык.

В целом, однако, следует заметить, что любая риторика в отношении "евроязыков" лишается известного смысла, если не определен однозначно, так сказать, человеческий объект этих усилий. Если иметь в виду чиновников и политических представителей в многочисленных учреждениях и парламентах этого будущего супергосударства, то все проблемы собственного языкового *modus vivendi* они легко решат сами, выбрав, например, окончательно английский язык в качестве "Eurospeak". Если же иметь в виду большинство средних европейцев, то эта тема получает сразу же совершенно иное измерение и при этом возникает много самых различных вопросов. Следует иметь в виду, что значительное число жителей этих стран будут и в будущем практически монолингвами, поскольку свою повседневную жизнь они проживают в привычных формах и не летают каждую пару недель в авиалайнерах в Лондон или Нью-Йорк. К тому же они уже владеют каким-нибудь языком своих соседей, которого им вполне достаточно для привычного общения, как это отмечается и в Бельгии, и в Швейцарии, и в Люксембурге. Кстати, в какой мере жителям Люксембурга английский язык окажется более важным, если исторически они уже привыкли жить с двумя другими языками – французским и немецким, которыми они овладевают, начиная со школьных лет? Интересными в этом смысле являются результаты опроса, который был проведен среди 1120 начинающих студентов из ряда городов Германии (Аугсбург, Трир, Киль), из Хельсинки и Турку (Финляндия) и из Лёвен (Leuven – город в фламандской части Бельгии). 70% опрошенных высказались в пользу одного общего европейского официального языка, тогда как примерно 20% настаивали на сохранении имеющегося многоязычия во всех областях жизни. При этом заметим, что речь идет о суждениях студентов, которым в любом случае предстоит изучение иностранных языков, тогда как мнения представителей других групп населения здесь вообще не учитывались. Различными оказываются и языковые ориентиры опрашиваемых в зависимости от страны их проживания. Так, 80% респондентов из Германии считают, что общеевропейским языком должен стать английский язык, тогда как у финских студентов английский язык уступает в пользу немецкого, русского и французского

языков, а также в пользу второго государственного языка Финляндии – шведского. Таким образом, финские оценки указывают на тенденцию больше, чем в Германии, к сохранению европейского многоязычия [28, с. 65–66].

Это мнение финских респондентов следует принять во внимание, если учесть, что в условиях возникающих новых трудностей в странах ЕЭС при первых конкретных шагах по реализации Маастрихтских соглашений (бюджетный дефицит, повышение цен, государственный долг стран-участниц) спешно предпринимаются усилия по включению в состав участников объединенной Европы Австрии, Норвегии, Швеции и Финляндии, мнение которых, как показывают результаты опроса в Финляндии, не обязательно должны будут совпасть с тем, как по этому поводу думают в Германии или в любой другой стране ЕЭС.

Кстати, попутно заметим, что всемирно известный language gap ("языковой пробел") американцев в значительной мере объясняется тем обстоятельством, что среди американских учащихся старших классов только 15% изучают какой-либо иностранный язык, при этом лишь 5% этого числа изучают его более, чем два года [23, с. 309]. Стоит ли решением в пользу английского языка в качестве единственного европейского языка общения невольно способствовать тому, чтобы такое неблагоприятное развитие в американском обществе сохранялось и далее?

Представляется, что в настоящее время европейцам, еще не построившим своего общего дома, вообще не следует так настойчиво, как это делает в Германии уже упоминавшийся Иклер, предлагать английский язык в качестве общего "евроязыка" ("Euro-speak"). Тем более, что, помимо уже вновь приглашенных четырех стран Европы, о которых шла речь выше, членами общего надгосударственного образования хотели бы стать многие постсоциалистические страны Восточной Европы, которые, помимо общего интереса к английскому языку, сохраняют традиции особых языковых отношений с Германией или Австрией (Венгрия, Словакия и др.), о чем свидетельствует и обстановка "сущего ренессанса", который переживает немецкий язык в этих странах, что создает серьезную конкуренцию даже английскому языку [29, с. 217].

Говоря о создании объединенной Европы, следует также отметить, что все разговоры об английском языке как единственном средстве общения в интересах будущего "государства государств" выглядят несколько преждевременными, поскольку более точные контуры этой надгосударственной конструкции еще окончательно не обозначены. По сути дела еще не до конца ясно, имеется ли в виду союз государств или союзное государство или сообщество государств нового типа, связанное экономическими интересами. Судя по всему, датчане и британцы выступают пока против развития более тесных форм политических связей, тогда как немцы, испанцы и итальянцы и правительства стран Бенилюкса стремятся к более тесному союзу, а позиция Франции остается пока неясной. Так, видный политический деятель правящей партии Великобритании М. Тэтчер в интервью, данном ею в конце 1993 г. для журнала "Der Spiegel" прямо заявила, что относится вообще нетерпимо к "идее федеративного государства Европа". При этом она откровенно сказала о том, что немцы таким путем стремятся не к тому, чтобы укрепить Германию в Европе, а к тому, чтобы укрепить (нем. verankern) остальную часть Европы в Германии. Помимо этого она не считает полезным для "финансового здоровья" европейских государств введение единой валюты, подчеркнув, что если бы она была представителем Германии, то непременно сохранила бы и бундесбанк (Федеральный банк ФРГ) и немецкую марку. Рассуждая далее о своих опасениях по поводу отрицательных последствий столь тесного объединения, М. Тэтчер отметила также, что Германия, не добившись у себя той степени структурных преобразований своей промышленности, как это, по ее словам, удалось сделать в Великобритании, после объединения попытается переложить часть своих высоких расходов на плечи других стран объединенной Европы. Любопытно отметить, что М. Тэтчер, которая продолжает оказывать серьезное влияние на позицию своей страны в международных вопросах, столь же сдержанно относится, в особенности после объединения Германии, к попыткам

Германии укрепить свои позиции в ООН путем возможности получения постоянного места в Совете Безопасности. На поставленный на этот счет вопрос германского журналиста она недвусмысленно ответила, что в таком изменении нет никакой необходимости, поскольку Франция и Великобритания уже представлены в этом органе и данное место по праву принадлежит такой стране, как Индия, а для Германии это рано еще и сейчас, почти через 50 лет после окончания войны [30, с. 174–175].

С другой стороны, и в самой Германии, в частности в руководстве баварского крыла партии федерального канцлера Г. Коля, растет критицизм по поводу как темпов продвижения европейских государств к единству, так и по поводу объема компетенций, передаваемых в общую Европу, что грозит "разрушением изнутри" (*Aushöhlung*) немецкой государственности. Все это побудило канцлера Германии Г. Коля, все же "сменить риторику": великое словосочетание "Соединенные Штаты Европы", которое Г. Коль заимствовал у Уинстона Черчилля, с недавних пор оказалось вычеркнутым из текста его речей [31, с. 18–21]. Одним словом, одобрение Маастрихтских соглашений не только явилось толчком в развитии процесса европейской интеграции, но, одновременно, поставило на повестку дня много новых принципиальных вопросов, на которые еще не найдены исчерпывающие ответы. Тем более уместно не торопиться с решением вопросов участия национальных европейских языков и целесообразности выдвижения идеи европейского *lingua franca*.

Любое языковое планирование должно принципиально исходить из того, что, говоря словами немецкого германиста Р. Познера (R. Posner), и при "сращении обществ и цивилизаций Европы" должно сохраняться "многообразие менталитетов" европейских народов, а поскольку язык является важнейшей опорой менталитета, то должно сохраняться и многообразие языков в Европе. Присущая современным государствам "языковая монокультура" может быть преодолена, по его мнению, за счет того, чтобы отдельные языки и культуры "по возможности сильно" интегрировали друг с другом, так, что в конечном счете возникнет многоязычие, "полиглотный диалог" ("*polyglotte Dialog*"), что станет обычным правилом общения между европейцами с различными родными языками" [32, с. 4].

Возможно и эти прогностические предложения Р. Познера будут отвергнуты самой жизнью людей, но и они исходят из того положения, что срастающаяся воедино Европа, говоря словами германиста Й. Борна (J. Born), "не может позволить себе отказаться от плюрилингвального характера", а весь процесс интеграции "не должен привести к англодоминирующему плавильному тигелю", не должны возникнуть никакие "полуатлантические" ("*cisatlantisch*"³) "United States of Europa" [33, с. 2].

Развитие способности к многоязычию, которое всегда реализуется только индивидуально, как это мы наблюдаем в Швейцарии или в Люксембурге, может происходить лишь постепенно, путем взаимного изучения языков своего окружения, своих соседей. В связи с этим Г. Вайрих писал: "Для дальнейшего развития европейских сообществ, которые хотят стать не только административными и технократическими конструктами, представляется необходимым и в высшем смысле разумным, чтобы европейские нации в своем языковом поведении (*Verhalten*) самым серьезным образом принимали бы участие друг в друге и проявляли бы искреннюю заботу друг о друге" [23, с. 312].

Важнейшим местом, где можно начинать изучать иностранные языки, является, безусловно, школа. В этом смысле часть общеевропейской "трагедии" состоит в том, что именно в последние годы повсюду в Европе происходит сокращение времени на преподавание языков в средней школе, тогда как требование сохранения европейского многоязычия как основы для такого единения становится все более "очевидным".

³ *Cisatlantisch* – словарное образование, в котором компонент *cis* (*das Cis*), означающий в музыковедении "тональность", "знак тональности" (*cis-M₁(II)*), используется для подчеркивания зависимого отношения к признаку: *Cisatlantisch* – "находящийся по эту сторону Атлантики", "на тональность отличающийся от атлантического" (имеется в виду Североатлантическое сообщество стран под руководством США), т.е. "зависимый от атлантического" (сообщества). Ср. лат. *cis* "по сю сторону, с этой стороны".

Говоря в связи с этим о практике школ в ФРГ, немецкий дидакт и политолог К. Шрёдер (K. Schröder) обращает внимание на то обстоятельство, что здесь, "за пределами гимназии", практически можно изучать только один английский язык и все попытки расширить "территорию" для изучения других иностранных языков (в системе различных курсов и т.д.) оказались безуспешными [28, с. 67]. В этих условиях любая смена стратегии в преподавании иностранных языков в школе в направлении на один единственный язык как будущий язык общения Европы обречена на провал, поскольку создаваемый этим хаос на территории европейских государств потребует целых десятилетий, прежде чем повсюду утвердится новое языковое урегулирование. Даже одно лишь простое перераспределение приоритетов в выборе преподаваемых языков вызывает необходимость подготовки новых кадров специалистов языка, переквалификации преподавателей других языков и т.д.

Идея введения в Европе одного общего языка общения, при всей привлекательности английского как действительно мирового языка, представляет собой новую лингвистическую утопию, иллюзию, которой не суждено сбыться. Говоря об этом, К. Шрёдер заключал: "Более чем 400 лет в Европе осуществляется языковая политика и делятся языковые споры: целые регионы подвергались испанизации, романизации (französisiert), германизации, англизации или русификации. Поздние последствия такой политики проявляются в многочисленных региональных конфликтах, нарушающих западно- (и восточно-) европейскую стабильность. Во всех этих конфликтах присутствует лингвополитический компонент. Вывод о том, что последовательная регионализация по этническому признаку является единственной серьезной предпосылкой к длительному европейскому единению, лежит на поверхности. Центральное управляемое в языковом и культурно-политическом отношении Европа не может вообще состояться (nicht realisierbar); если бы это произошло, то это стало бы образованием, постоянно подверженным опасности гражданской войны (bürgerkriegsanfällig) [28, с. 64].

В заключение можно сказать, что пусть послужит создаваемой новой единой Европе пример небольшого европейского многонационального государства – Швейцарии, в которой в условиях многовекового мирного совместного существования четырех различных этнических групп выросло федеративное государственное сообщество, в котором ни одному из языков, независимо от числа его носителей, а также от того факта, что федеральная столица страны – Берн находится на территории немецкоязычного кантона, не были предоставлены особые права и полномочия и в котором, в условиях естественной близости друг к другу, многие швейцарцы легко пользуются различными языками страны таким образом, что вопрос об одном общем языке общения даже не возникает как тема для разговора. Многоязычие в будущих Соединенных Штатах Европы, если дело дойдет до образования такого супергосударства, будет развиваться в тех формах и направлениях, которые будут соответствовать необходимым потребностям общения самих европейцев. Если бы в нынешних странах ЕЭС проводился опрос относительно языкового объединения Европы, то языковой Маастрихт на референдуме был бы отклонен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Schmidt H. Vorwort // Monnet J. Erinnerungen eines Europäers. München; Wien, 1978.
2. Wild D. Europa Patria // Der Spiegel. 1992. 44.
3. Hauck W. Die Amtssprachen der Schweiz. Anspruch und Wirklichkeit // Deutsch als Verkehrssprache in Europa / Hrsg. von Born J. und Stickel G. Berlin; New-York, 1993.
4. Домащнев А.И. Современный немецкий язык в его национальных вариантах. Л., 1983.
5. Bruch R. Grundlegung einer Geschichte des Luxemburgischen. Luxemburg, 1953.
6. Grégoire P. Zur Literaturgeschichte Luxemburgs // Das Wartjahrbuch. Luxemburg, 1959.
7. Демографический энциклопедический словарь. М., 1985.
8. Der Fischer Weltatmanach 1985: Zahlen, Fakten, Hintergründe. Frankfurt-am-Main, 1984.
9. Moser H. Geleitwort des Herausgebers // Die Besonderheiten der deutschen Schriftsprache im Elsaß und in Lothringen. (Duden-Beiträge, Hf. 7). Mannheim, 1962.

10. *Hartweg F.G.* Sprachkontakt und Sprachkonflikt im Elsaß // Sprachkontakt als Ursache von Veränderungen der Sprach – und Bewußtseinsstruktur. Eine Sammlung von Studien zur sprachlichen Interferenz. Innsbruck, 1981.
11. *Pfromm R.* Einleitung // Nationalsprachen und die Europäische Gemeinschaft. Probleme am Beispiel der deutschen, französischen und englischen Sprache. München, 1989.
12. *Сутрин Д.* Язык, политика и американская национальная общность // Диалог – США. 1991. № 47.
13. *Kern R.* Interferenzprobleme bei deutschsprachigen Belgiern // Sprachkontakt und Sprachkonflikt. Wiesbaden, 1980.
14. *Философский энциклопедический словарь.* М., 1983.
15. *Вахтин Н.* Коренное население Крайнего Севера Российской Федерации. СПб. 1993.
16. *Губогло М.Н.* Современные языковые процессы в СССР по данным Всесоюзной переписи населения в 1989 г. // Русский язык и языки народов Крайнего Севера. Проблемы описания контактных явлений. Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции (Ленинград, 12–14 марта 1991 г.). Л., 1991.
17. *Солнцев В.М., Михальченко В.Ю.* Национально-языковые отношения в России на современном этапе // Языковая ситуация в Российской Федерации: 1992. М., 1992.
18. *Paque R.* Sprachpolitik ist nicht nur Sache des Sprachunterrichts // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1987. N 201, 1.09.
19. *Born J.* Podiumsdiskussion, Moderation und Einleitung // Deutsch als Verkehrssprache in Europa / Hrsg. von Born J. und Stiskel D. Berlin; New-York, 1993.
20. *Ammon U.* Die Stellung der deutschen Sprache in Europa und in der Welt im Verhältnis zu ihrer Stellung in den EG-Gremien // Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Soziolinguistik, Bd 5. Tübingen, 1991.
21. *Stark F.* Faszination Deutsch. Die Wiederentdeckung einer Sprache für Europa. München, 1993.
22. *Witte B.S.* Dialog über Grenzen. Beiträge zur auswärtigen Kulturpolitik. Pfullingen, 1988.
23. *Weinrich H.* Wege der Sprachkultur. Stuttgart, 1988.
24. *Weinrich H.* Deutsch für Köpfe // Kultur-Chronik. Nachrichten und Berichte aus der Bundesrepublik Deutschland. 1986. № 5.
25. *Ammon U.* Die internationale Stellung der deutschen Sprache. Berlin; New-York, 1991.
26. *Ammon U.* Schwierigkeiten der deutschen Sprachgemeinschaft aufgrund der Dominanz der englischen Sprache // Zeitschrift für Sprachwissenschaft, 1989. 8, 2.
27. *Ickler Th.* Zur Sprachpolitik der EG // Sprachreport. Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache. 1991. № 1.
28. *Schröder K.* Eine Sprache für Europa /; Wort und Sprache. Beiträge zu Problemen der Lexikologie und Sprachpraxis veröffentlicht zum 125 jährigen Bestehen des Langenscheidt-Verlags. Berlin; München; Wien; Zurich, 1981.
29. *Földes Cs.* Deutsch als Verkehrssprache in Ostmitteleuropa – am Beispiel Ungarns // Deutsch als Verkehrssprache in Europa / Hrsg. von Born J. und Stickel G. Berlin; New-York, 1993.
30. Spiegel-Gespräch "Ihr wollt den Rest Europas". Margaret Thatcher über Engländer, Deutsche, Französer und die Zukunft des Nationalstaats // Der Spiegel, 1993, № 43.
31. Europa. Der letzte Europäer // Der Spiegel, 1993. № 45.
32. *Posner R.* Maximen der Sprachverwendung im europäischen Kulturleben // Sprachreport. Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache. 1992. № 2–3.
33. *Born J.* Deutsch in der Europäischen Gemeinschaft-zweiträngig? // Sprachreport. Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache. 1990. № 3.

© 1994 г. Г.Е. КРЕЙДЛИН

**МЕТАФОРА СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ
И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЛОГА**

Метафора странным образом разъясняет нечто. Станным, потому что сама метафора непонятна. Понятно то, что мы понимаем посредством метафоры. Что-то, что мы держим на уровне тайны, оказывается фундаментальным условием понимания других вещей.

Мераб Мамардашвили

Строя лексикографическое описание предлогов, лингвисты обычно исходят из представления о том, что предлоги бывают пространственные, временные, целевые, причинные и т.д. Иными словами, в своей деятельности лингвисты опираются на некую как бы уже реально построенную семантическую классификацию предлогов, в основе которой лежит анализ значений, свойств и особенностей употребления этих языковых единиц. Между тем на сегодняшний день такой законченной классификации не существует, что, впрочем, не удивительно, поскольку создание ее невозможно без максимально полного и точного описания всех предлогов данного языка.

Хотя до исчерпывающего анализа семантики русских предлогов еще очень далеко, можно высказать предположение, что у исследователей есть интуитивное ощущение того, какое значение конкретного предлога является основным (или исходным), а какое неосновным (производным). По всей вероятности, именно это обстоятельство послужило причиной отнесения таких предлогов русского языка, как *между* или *у*, к пространственным, *после* и *накануне* – к временным, а *ввиду* и *благодаря* – к причинным. Если при этом предлог имеет несколько значений, то отнесение его к определенному семантическому разряду согласуется с частичным упорядочиванием значений в пределах словарной статьи толкового словаря: в словарях сначала всегда идет описание исходного значения, а затем уже производных. К сожалению, выделяемые производные значения лексикографически чаще всего подаются независимо одно от другого, и упорядочивание их выглядит случайным и ничем не мотивированным. Закономерности и известная регулярность семантических переносов, если таковые имеются, лексикографами, описывающими служебные слова, как правило, не замечаются или игнорируются и потому никак не используются, например, для возможного, а нередко и крайне желательного, сокращения объема сообщаемой информации и ее разумного структурирования.

Представляется, что к описанию некоторых классов служебных слов, в частности, пространственных предлогов, можно подойти иначе, чем это делается в лексикографической практике. А именно, можно считать, что пространственные предлоги служат средством выражения семантических пространственных отношений, понимаемых более широко, чем это обычно принято. Помимо собственно пространственных (чисто локативных) отношений, мы будем, выделяя временные, таксономические, социальные, психические и другие отношения, говорить о временном пространстве, о пространстве таксономическом, социальном и других, устанавливая соответствия

между ними. Различение типов семантических пространств, рассмотрение предлога как некоторой функции, переводящей одно пространство в другое, пространственная идеология вообще (ср. [1; 2; 3]) открывают, как нам кажется, новые возможности для описания значений и употреблений пространственных (да и не только пространственных) предлогов.

Основная идея такого подхода применительно к предлогам заключается в следующем. Вначале строится традиционное описание основного (в нашем случае — локативного) значения предлога. Дается толкование, указываются фонологические, морфологические, сочетаемость и другие особенности предлога в этом значении, парадигматические связи предлога и т.п., а далее каждое неосновное (то есть производное, или переносное) значение выводится из основного по некоторым эксплицитно формулируемым правилам перехода от локативного пространства к иному — тому, которое согласуется с рассматриваемым переносным значением предлога. Последовательно примененный, данный подход дает возможность, во-первых, выявить определенные закономерности в концептуализации различных пространств и в их языковом оформлении, а во-вторых, вскрыть глубинные причины, почему данный предлог имеет такие-то значения и не имеет других. Наконец, мы можем предсказывать (вычисляя по определенным правилам) некоторые особенности употребления предлога в пространствах, отличных от локативного, подобно тому, как вычисляется информация об изменениях форм слова при склонении или спряжении. Такие правила можно назвать правилами метафорического переноса с пространства локализации на другие виды пространств.

Разумеется, регулярность в сфере семантики не достигает той степени, которая свойственна грамматике. Поэтому мы отнюдь не утверждаем здесь, что фиксация правил переноса пространств в особой зоне словаря, скажем, в зоне грамматики словаря, будет оправдана с практической точки зрения: выигрыш в объеме словаря за счет сокращения дублирования информации в этом случае едва ли будет значительным. Мы утверждаем лишь, что в семантике нельзя оставлять без внимания даже малейшую выявленную регулярность, а потому, если удастся вскрыть какие-то общие черты в различных механизмах перехода от одного семантического пространства к другому для одного слова или для целого ряда слов, то эти черты тем или иным способом должны быть эксплицитно зафиксированы в словарных описаниях соответствующей единицы. Тем самым мы вполне допускаем наличие компромиссного лексикографического решения, сводящегося по сути к помещению выявленных сведений сразу в двух местах — и при самом предлоге и в отдельной части словаря.

Введение в метаязык описания значений предлогов элементов, связанных с различными семантическими пространствами и соответствиями между ними, каковыми те предстают через призму предлогов, позволяет не только выявить механизмы семантических переносов, но и уменьшить число выделяемых значений за счет переосмысления контекста. Временные, социальные и другие значения пространственных предлогов рассматриваются при этом как контекстно обусловленные варианты локативного значения (или локативных значений, если их несколько).

Предлагаемый подход мы иллюстрируем на примере предлога *среди*¹; в целях сопоставления привлекаются и некоторые другие предлоги: *посреди, посредине, у, в, в кругу, из*.

Анализ информации, представленной в толковых словарях и в весьма немногочисленных специальных работах, посвященных этому предлогу, изучение "положительного" и "отрицательного" языкового материала дают основание для следующих выводов:

¹Отдельные примеры заимствованы из дипломной работы Н. В. Дробот, которая была посвящена сопоставительному описанию предлогов *среди* и *между* и выполнена под руководством автора данной статьи (МГУ, 1982 г.).

1) словарным входом статьи *среди* должна быть сентенциальная форма *Среди N P*, где N – некоторая именная группа, а P – некоторый предикат, удовлетворяющие определенным требованиям;

2) исходными для предлога *среди* являются два локативных значения; (ср. *Среди океана лежат острова* и *Дом стоял среди* (= 'в окружении') *сосен, и потому плохо был виден с дороги*), а временное (ср. *Он проснулся среди ночи*), "метафорическое" (ср. *Отрадно было читать эти строки среди постоянных трудов и забот*) и др. могут быть представлены не как отдельные значения, а как контекстные варианты локативных, обусловленные природой и организацией соответствующих нелокативных пространств;

3) исходные значения предлога удобно формулировать на семантическом языке, который включает в себя, например, такие единицы, как 'пространство', 'промежуток', 'центр', 'предел', 'однородность', 'ориентир', 'находиться в', определяющие геометрические, физические и прочие свойства пространств. С помощью этих семантических элементов описываются также сочетаемостные характеристики предлога *среди* в локативных значениях;

4) природа пространственных ориентиров и, соответственно, характер отношений между объектами, локализованными в некотором пространстве, для разных пространств различна, однако основные способы ориентации во всех этих пространствах, задаваемые предлогом, сходны. Именно это и позволяет описать нелокативные значения предлога, преобразуя и нужным образом переинтерпретируя элементы метаязыка, применяемого для анализа локативных значений;

5) возможность гесп. невозможность употребления предлога *среди* в предложении обусловлена не только его собственными свойствами, но и разнообразными контекстными факторами.

Канонический случай локативного предлога СРЕДИ1 представлен примерами (1)–(3):

1. *Среди двора возвышались два столба с перекладиной* (И. Бунин);
2. *Прямо среди поляны росли ландыши* (К. Паустовский);
3. *Ходят кони среди луга по протоптанной траве.*

$P \text{ среди} | N [= \text{среди} | N P] = 'P \text{ находится в относительном центре пространства } N'$.

Ограничения на семантику именной группы N:

1) пространство N должно быть осмысленно как 'большое', 'сплошное' и 'однородное' и не должно осмысляться как 'трасса'. См. следующие неправильные сочетания: **среди точки*, **среди телефона*, **среди вершины горы*, **среди центра круга* (слова *точка*, *телефон*, *вершина* (горы), *центр* (круга) едва ли в естественном контексте осмысляются как 'пространство'). Странными являются и сочетания **среди блюда* (*конверта*, *чемодана*, *клочка бумаги*) – слова *блюдце*, *конверт*, *чемодан*, *клочок бумаги* в норме если и осмысляются как 'пространство', то 'небольшое'. В подобных случаях человек обычно употребляет предлог *посреди* (или *посредине*): ведь для небольших пространств 'центр' фиксируется более точно, причем даже для неправильных, не чисто "геометрических" форм; ср. неудачное **среди стола* и нормальное *посреди стола*, **среди блюда* и *посреди блюда*. В предложении *Посреди площади возвышалась одинокая скульптура воина* (Ф. Искандер) точечная локализация скульптуры контекстно поддержана предлогом *посреди*². Если форма пространственного объекта – геометрически правильная (разумеется, в "наивном", не научном смысле), то для обозначения 'центра' или 'области, близкой к центру', используется языковое выражение *в центре*, переходное между сочетанием полнозначного слова с

²Раньше предложения, в которых предлог *среди* сочетался с предметными именами, обозначающими относительно небольшие пространства, встречались довольно часто: *Книга лежит среди кровати*, *Среди кофты была дыра*, *Светлый кубок еще шипит среди стола* (А. Пушкин). Сейчас следовало бы сказать: *посреди кровати* (*кофты*, *стола*).

первообразным предлогом и служебным словом: *в самом центре лодки (в центре куба, круга, футбольного поля).*

2) Предлог *среди1* навязывает представление об объекте N как о сплошном пространстве, не расчлененном на отдельные части. Так, плохо *'среди решетки окна, 'среди пальцев, 'среди дощатого забора.*

3) Наконец, N не должно обозначать 'трассу'. Неправильно **Корабль долго шел среди моря.* В кажущихся контрпримерах *Дорога шла среди леса (≠ по лесу!)* или *Он шел по дороге среди леса* реализуется другое локативное значение предлога – *среди2* (впрочем, последнее предложение допускает понимание и с предлогом *среди1* – 'Он шел по дороге, находящейся среди леса' – однако и в этом случае *лес* не осмысливается как 'трасса'.

Канонический случай употребления предлога СРЕДИ 2 представлен примерами (4)–(8):

4. *Среди пней стоял маленький столик, почти игрушечный* (А. Битов);

5. *Телега медленно двигалась среди голых кустов* (Ф. Абрамов);

6. *Дом стоял среди сосен;*

7. *Мы бродили среди развалин два дня* (А. Городницкий);

8. *Корабль среди льдов (подпись под фотографией).*

Значение локативного предлога *среди2* может быть приблизительно описано следующим образом:

Р среди2 N (=среди2 N Р)='Р находится в пределах пространства, образованного или ограниченного N, или в промежутках, разделяющих пространство N'.

В последнем случае дискретное пространство N состоит из множества отдельных локусов (ср. термин "локум" в работе [4]), причем их число больше двух.

Ограничения на семантику именной группы N:

1) N должно осмысливаться как 'пространство' или 'граница пространства однородных расчлененных объектов, тесно расположенных в сравнении со своими размерами' (то есть расстояние между которыми относительно мало по сравнению с линейными размерами – обычно вертикальными – объектов), либо N должно быть осмыслено как 'аморфная масса, не расчленяемая на части', (так сказать, "непрерывная масса"). Ср. два возможных осмысления предложения *Корабли стояли среди скал* в зависимости от интерпретации имени *скал*: (а) 'в промежутках между скалами', (б) 'в окружении скал', а также такие сочетания, как *среди пыли, среди тумана, среди мрака и среди листвы, среди хлама, среди тряпья*, где собирательная множественность имени непосредственно выражает аморфность и нерасчлененность объекта.

Любопытно, что в английском языке в том случае, когда имя N обозначает множество расчлененных объектов, предлогу *среди* соответствует *among*, а если оно обозначает аморфную массу, то предлогу *среди* отвечают *amidst* или *amid*.

2) Предпочтительно, чтобы N называло большое количество локусов и размеры N значительно превосходили размеры субъекта предиката Р. Ср. предложения *"Среди палаток (были) расположены большие дома и Среди больших домов стояли палатки.*

3) Наконец, переменная N может быть метафорически замещена именами больших пространств, такими, как *небеса, просторы, природа, нивы*: ср. *Но тут и я плакал без стыда. / Кто видеть мог? Лишь темный лес / Да месяц, плывший средь небес* (М. Лермонтов); *Среди природы вспоминал я отчий дом, родителей, друзей* (М. Лермонтов); *Люблю дымок спаленной жнивы... / И на холме средь желтой нивы / Чету белеющих берез* (М. Лермонтов).

Что же касается переменной Р, то на ее месте могут стоять лишь предикаты состояния (местоположения) или ненаправленного движения; ср. *Он ходил среди природы по губернии, беседовал с жителями* (Н. Гоголь); **Он стоял среди сосен; Мы пробирались в город среди берез и *Он прошел в город среди сосен или *Он двигался*

прямо среди всех стульев к своему месту за столом; *Мы шли в город среди природы. Предложение *Она пела одна среди пустынного города* не составляет исключения: просто здесь опущен глагол со значением 'местоположения' = '*Оля пела одна, находясь среди пустынного города*').

Итак, мы видим, что, с одной стороны, локативные *среди1* и *среди2* указывают на множественность объектов, занимающих пространство, а с другой стороны, объединяют эти объекты в одно целое. Поэтому, например, множественное число в конструкциях с этими лексемами имеет – вне контекста дистрибутивности и многократности – значение собирательной множественности; ср. *Сверкая среди деревьев в садах, газ придает листе зеленые тона* (К. Паустовский); *Зажгу свечу пред сундуком. / И все их отонру, и стану сам / Средь них глядеть на блестящие груди* (А. Пушкин); *В открытом море, среди сине-зеленых волн с барашком пены, шло несколько военных фрегатов*.

Перейдем теперь к так называемому временному значению предлога *среди* – *среди3*. В силу того, что время концептуализуется как 'шкала', *среди3* не может означать 'в пределах, в окружении', а означает лишь 'в относительном центре (временного) пространства (т.е. шкалы), не близко от края'. Вот типичные случаи использования:

9. *Он проснулся среди ночи и потянулся за сигаретой* (В. Шукшин);

10. *В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомой пегашке среди или в начале недели* (И. Гончаров);

11. *Иван приехал среди лета, как всегда неожиданно для всех*.

Кроме имен, обозначающих временную шкалу, место N могут замещать имена событий или процессов, локализованных во временном промежутке относительно большой протяженности: *среди шумного бала, среди внезапно наступившей тишины, среди вечерней молитвы*; ср. также *Среди лекции почудился мне какой-то свист и чавканье; Среди общего молчания слышно было бряцание золотой цепи* (Б. Окуджава); *И вдруг среди беседы, точнее, ближе к ее концу, я почувствовал резкую боль в груди* (К. Симонов).

Хорошо известно, что некоторые синтаксические конструкции совмещают временное и пространственное значения. Вспомним хотя бы ставший хрестоматийным пример сочетаний предлога *в* с существительными во фразах типа *Мы познакомились в поезде* – 'во время, когда ехали вместе в поезде' и 'в месте, называемом поезд'. Здесь нам хотелось бы отметить различное поведение предлогов *в* и *среди* во внешне идентичных конструкциях. Так, в предложении *Среди дороги сломалась ось*, в отличие от предложения *В дороге сломалась ось*, нет, на наш взгляд, указания на то, происходило ли движение по дороге в момент, когда произошла поломка. Это предложение, интерпретируемое как содержащее временное *среди*, означает 'во время, отведенное на дорогу...', то есть событие 'сломалась ось' локализовано в относительном центре временной шкалы 'дорога'. Второе же предложение, напротив, создает представление о движении, перемещении вдоль дороги и означает примерно следующее: 'Ось сломалась по пути, в процессе движения по дороге'. Ср. также *бросить что-либо в дороге* и *среди дороги*. Другими словами, предлог *среди* в подобных синтаксических контекстах индуцирует статичную картину восприятия ситуации, а предлог *в* – динамичную, и надо сказать, что такое поведение предлога *среди* отнюдь не выглядит загадочным, а естественно следует из толкования предлога в исходных локативных значениях.

Временное *посреди* более определенно, чем *среди*, выражает значение 'центра шкалы'. В то же время предлог *посредине* формально и семантически связан со словом *середина* и является чисто локативным. Он обозначает 'центр (или область в непосредственной близости от центра) некоторого ограниченного локативного прост-

ранства или предмета, заполняющего такое пространство'. Поэтому, хотя одинаково возможно сказать как *посреди площади*, так и *посреди недели*, но допустимо лишь в *середине года* (плохо **посредине года*). Можно встретить сочетания типа *посредине комнаты* (ср. фразу из К. Федина *Они не различали объятий, стоя посредине комнаты*), но вряд ли будет удачным выражение **посредине пути* (*месяца, часа*).

Предложения *Среди N P*, где N – существительное во множественном числе, обозначающее процесс, часто допускают совмещенное "дискретное" прочтение с пространственным *среди* и "непрерывное" прочтение с временным *среди*: *Среди разговоров с представителями части, в непрестанной дневной суете он все время думал о ней* – то ли 'в промежутках между разными беседами', то ли 'во время каждого разговора'. Ср. также предложения *Мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался; Голоса подъехавших... развлекали его среди печальных его размышлений* (А. Пушкин); *Но был ли счастлив мой Евгений, /Свободный, в цвете лучших лет, / Среди блистательных побед, / Среди всedневных наслаждений?* (А. Пушкин).

Следующее пространство, которое мы рассмотрим, – социальное.

P среди4 N = 'P находится в пределах социального пространства, образованного однородными объектами'.

Примеры:

12. *Этот фильм популярен среди зрителей;*

13. *Среди специалистов появились сомнения;*

14. *Ему часто давали понять, что ему следует знать свое место среди господ советников и профессоров;*

15. *Среди новых поколений / Докучный гость и лишний, и чужой, / Он вспомнит нас* (А. Пушкин).

В чистом виде социальное *среди4* реализуется в контексте предикатов социального отношения или оценки; ср. (12)–(15), а также *Среди товарищей он слыл за человека себе на уме; Среди рабов до упоенья / Ты жажду власти утолил* (А. Пушкин); *Ему одиноко среди людей*.

Это не удивительно, так как социальное пространство организовано как сплошная среда (ср. *социальная среда, учительская среда, дружеская среда*), как однородное по своему составу множество объектов. Именно поэтому утверждение о существовании у данного множества лиц, животных или каких-то иных объектов некоторого содержательного, семантически не тривиального подмножества часто подается как 'местонахождение в социальном пространстве', как 'включение в среду'. Ср. *Некоторые студенты нашего курса являются шахматистами-разрядниками = Среди студентов нашего курса есть шахматисты-разрядники*.

В контексте предикатов, выражающих оценку индивидуального или множественного объекта данным социумом, то есть социальной средой, и предполагающих обязательное (ср. **Петя выделяется как оригинал*) или факультативное (ср. *Петя известен как специалист по антеннам*) выражение субъекта оценки, последний обычно вводится в контекст с помощью локативных сочетаний *в среде N* или *среди N*: *В среде художников (среди художников) Петя слывет оригиналом*. В последней фразе объект оценки *Петя* включен во множество, образованное субъектом оценки (*художники*).

Социальная среда – это окружение данного лица, место, где происходит его жизнь. Отсюда соотнесенность смыслов 'ограниченный' для собственно локативного пространства и 'окруженный' для пространства социального, а отсюда и синонимия предлога *среди* предлогу *в кругу*, употребляемому только для обозначения социального пространства; ср. *Чехов среди друзей* и *Чехов в кругу друзей* (подпись под фотографией).

Из-за несущественности 'формы' для социального пространства фраза *Чехов в*

кругу друзей не предполагает, что друзья располагаются по кругу от Чехова. Для локативного пространства форма последнего очевидно существенна, и фраза *Пруд в кругу сосен*, где *в кругу* – уже не одна единица, а сочетание предлога *в* с существительным *круг*, отражает следующую картинку:



В контексте предикатов местоположения – частных: *стоять, лежать, сидеть* и т.п. – и общих: *находиться, располагаться, быть* / \emptyset – сочетание *среди N*, где *N* – множество лиц, интерпретируется как локативное:

Чехов среди друзей \approx *Чехов в кругу друзей*.

Сообщая о наличии некоторого события или процесса в определенном пространстве, социальное *среди* сообщает и об отношении к ним со стороны лиц – участников данного события или процесса. Так, *болезни среди животных = животные болеют, среди язычников было распространено мнение... = язычники имели мнение (считали)...* Не следует думать, что при подобных перифразировках всегда устанавливаются только субъектные отношения. Так, *аресты среди студентов = 'студентов арестовывают'*. Для имен *N1*, обозначающих качества или свойства лица *N2*, локализация в пространстве невозможна. Следовательно, для таких имен сочетания *N1 среди N2* недопустимы: **злость среди детей, *нервозность среди зверей, *дурной характер среди подростков*. Для выражения наличия качества или свойства данного лица обычно используется конструкция с родительным падежом (родительным субъекта или характеристики по Богородицкому) или конструкция с предлогом *у* – *N1 у N2* (о семантических и синтаксических типах конструкции *N1 у N2* см. [5]).

Близко к социальному стоит таксономическое *среди5*, сообщающее о включении одного множества в другое:

16. *Среди ее книг больше всего было медицинских;*

17. *Первым среди греческих апологетов известен Юстин;*

18. *Осталось много вещей и среди них вот эта мраморная голова* (Г. Башкирова).

В подобных предложениях происходит выделение (по определенным признакам) из некоторой совокупности объекта или группы объектов, однако это выделение всегда происходит внутри, в пределах фиксированного пространства – в отличие, например, от предлога *из*, где выделению предшествует семантическая операция удаления, выноса объекта из данного множества. Поэтому, например, возможно быть *первым среди равных*, но невозможно быть **первым из равных*. Утверждение о существовании объекта возможно только относительно бытия, пребывания его в некотором мире, в некотором пространстве, вследствие чего допустимо *Среди моих друзей есть девочки*, но нельзя **Из моих друзей есть девочки*.

Таким образом, таксономическое пространство в контексте предлога *среди* интерпретируется как множество, в котором имя обозначает некоторую выделенную часть. Признак, по которому происходит выделение объекта, либо указывается в самой его номинации, либо эксплицируется в придаточном или обособленном предложении; ср. *Среди нас были циники, развратники; Среди детей встречаются такие, которых просто нельзя оставлять одних дома; В чемодане и узлах находились книги: можно догадываться, что среди них были и те, за которые сажали в тюрьмы и лагеря.*

Семантическая выделенность объекта в свою очередь предсказывает его рематическую позицию в коммуникативной структуре предложения (или позицию в составе ремы); при этом на долю группы *среди N2* остается позиция (контрастной) темы или кулис (о понятии "кулиса" см. в работе Е.В. Падучевой [6]):

[*Среди язычников*] T[*было распространено мнение*], [*что христиане призывали собак*]]R; (Г. Померанц). [*Среди писем*] T[*нашла она маленький конвертик*]]R.

Любопытно, что при инвертированном порядке сразу становится возможным локативное осмысление предложения – разумеется, при соответствующем контексте. Дело в том, что локативное значение не предполагает выделения локуса во множестве других; ср. *Меня очень заинтересовал альбом среди всех этих книг ('лежащий')* и *Среди всех этих книг меня очень заинтересовал альбом*.

Жизнь человека, однако, протекает не только в социальной или таксономической областях бытия, в метрическом или временном пространстве. Она складывается из разнообразных действий и поступков, всевозможных ощущений и мыслей, как постоянно, так и преходяще. Нас окружают заботы, нам со всех сторон грозят опасности, мысли кружатся над нами, а радости, к сожалению, приходят к нам не столь часто, сколь горести и печали. И среди этих постоянных тревог и забот, среди опасностей и лишений, среди желаний, мечтаний и сомнений, но также и среди любви и добра стоит человек. Такого рода метафорическое осмысление предлога роднит его и с чисто локативным и с социальным: какой бы природы ни было окружение, человек оказывается внутри его, в его пределах. Поэтому метафорическое *средиб*, подобно другим нелокативным, не создает особого отдельного значения предлога: в предложении *Но до конца, среди волнений трудных, / В толпе людской и среди пустынь безлюдных, / В нем тихий пламень не угас* (М. Лермонтов) оба вхождения предлога *среди (среди)* имеют одно значение.

*

Семантическая структура служебного слова, производные "значения" которого возникают из некоторого исходного под действием правил метафорического переноса, в различных семантических школах и теориях получает разную интерпретацию.

В рамках традиционного подхода и школы порождающей семантики такую структуру можно мыслить как построенную из общего и частных значений. Частные значения рассматриваются как операторы, применяемые к контексту и требующие от него обеспечить выполнимость логико-семантических операций, заключенных в данном слове. Содержательно эти требования сводятся к возможности выявить и определенным образом осмыслить какие-то компоненты контекста; при этом сами операции остаются инвариантными относительно контекста и заданы общим значением слова, ср. [7].

В когнитивной лингвистике семантическая структура служебного слова, такого, как *среди*, будет интерпретироваться иначе, а именно, как некая цельная, нечленимая сущность, гештальт, или, в терминологии Дж. Лакова и ряда его соавторов, схема-образ, *image-scheme*. Эта схема представляет собой инвариантное (оно же – прототипическое) значение слова, а кажущиеся модификации значения отнесены на счет изменений в контекстах его употреблений. В когнитивной теории прототипическим значением предлога *среди* является схема-образ, имеющая вид некоей точки внутри большого, однородного и сплошного контейнера или некоторой его плоской проекции. Подобный образ служит типовой модификацией известной метафорической структуры, представленной двумя контейнерами, один из которых вложен в другой, больший по объему. Последняя метафорическая схема приписывается многим языковым единицам (глаголам *содержит*, *входит (в)*, *включает (в себя)* и др., предлогам: *внутри*, *в*, *включая* и под., таксономическим категориям (см. об этом [8, 9]). Тот же образ возникает при метафорическом толковании гипо-гиперонимических семантических отношений ('элемент' – 'множество', 'подмножество' – 'множество', 'вид' – 'род'), при описании отдельных подтипов отношения 'часть' – 'целое', семантических операций выделения значимого элемента в некотором однородном множестве объектов и логического выделения объекта на фоне других текстовых или внетекстовых объектов. Топологические характеристики объектов, например,

способность сохранять форму в отсутствии каких-либо внешних воздействий, логические свойства отношения "быть контейнером", в частности, рефлексивность и транзитивность, вместе с явно заданным отображением из множества контейнеров во множество семантических пространств являются важнейшими составляющими семантического языка, предлагаемого когнитивной лингвистикой для анализа указанных языковых сущностей.

Нашей целью было, помимо прочего, показать возможность полезного сочетания обоих подходов – более строгого и точного генеративного описания с более образным концептуально-психологическим подходом, свойственным когнитивной лингвистике. Первый вскрывает анатомию формы, второй – ее физиологию; полное же представление о языковой форме можно, видимо, достичь лишь на пути разумного совмещения обоих способов описания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Селиверстова О.Н. "Понятие множество" и "пространство" в семантике синтаксиса // ИАН СЛЯ. 1983. № 2.
2. Talmy L. How language structures space // Cognitive science program. Institute of cognitive studies. University of California at Berkeley, 1983.
3. Vandeloise Cl. L'espace en français. P., 1983.
4. Всеволодова М.В., Владимирский Е.Ю. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке. М. 1982.
5. Крейдлин Г.Е. Служебные слова в русском языке (семантические и синтаксические аспекты их изучения: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1980.
6. Падучева Е.В. Коммуникативная структура предложения и понятие коммуникативной парадигмы // НТИ. Сер. 2. 1984.
7. Крейдлин Г.Е., Поливанова А.К. О лексикографическом описании служебных слов русского языка // ВЯ, 1987. № 1.
8. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago, 1980.
9. Lakoff G. The invariance hypothesis: is abstract reason based on image-schemes? // Cognitive linguistics, 1990. V. № 1.

© 1994 г. В.Б. КРЫСЬКО

ЗАМЕТКИ О ДРЕВНЕНОВГОРОДСКОМ ДИАЛЕКТЕ

(I. ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ)

Наука всегда оказывается неправа. Она никогда не решит вопроса, не поставив при этом десятка новых.

Б Шоу

1. Вот уже более десяти лет, со времени появления первых пионерских работ А.А. Зализняка, посвященных реинтерпретации берестяных грамот, древненовгородский диалект находится в центре внимания историков русского языка в нашей стране и за рубежом. Вполне естественно, что все исследования 80–90-х гг., так или иначе затрагивающие новгородскую проблематику, во многом опираются на труды ведущего специалиста в этой области. Настоящая статья – не исключение. Поводом к ее написанию послужило издание очередного тома новгородских берестяных грамот [1]¹, которое включает, помимо образцовой публикации вновь обнаруженных текстов, подготовленной В.Л. Яниным, большой лингвистический раздел, написанный А.А. Зализняком. Впрочем, некоторые идеи и факты, нашедшие отражение в данной монографии, уже были обнародованы в предшествующих работах ученого, и поэтому заметки, предлагаемые сейчас вниманию читателей, не являются рецензией на только что вышедший том, но представляют собой попытку обобщения наших уже достаточно длительных наблюдений и размышлений по различным вопросам "новгородистики" – разумеется, инициированных и стимулированных изысканиями А.А. Зализняка и получивших относительно систематизированную форму именно после ознакомления с новейшим, стройным и последовательным изложением их результатов, которое по сути дела является концентрированным описанием фонетико-фонологической системы и морфологического строя древненовгородского диалекта. Не будет преувеличением утверждать, что благодаря изданию девятого тома берестяных грамот историческая русистика обогатилась ценнейшим исследованием, которое имеет выдающееся значение не только для описания древненовгородского диалекта, но и для изучения древнерусского языка в целом. Более того, правомерно было бы отметить, что труд А.А. Зализняка является образцом описательной грамматики древнерусского языка, хотя и построенной преимущественно на материале одного диалекта. Особенно примечательны в данном аспекте главы, скромно названные "Из орфографии", "Из исторической фонетики", "Из грамматики", "Из лексики": этюды, напечатанные под этими рубриками, без сомнения, представляют собой открытия первостепенной важности – будь то установление идеографического принципа написаний типа *о.и.л.* (т.е. *осмьнадесяте*) и *огда* (*оспода*), исчерпывающее описание процесса падения редуцированных, исследование способов выражения принадлежности или определение семантики слова *подьлина* "подкладка". Обращение к древненовгородскому материалу,

¹ Ссылки на это издание приводятся в тексте в круглых скобках

как впервые публикуемому, так и давно известному, но лишь теперь нашедшему адекватную интерпретацию, позволяет по-новому взглянуть на целый ряд традиционных постулатов исторической грамматики: так, например, выводы относительно новгородского перехода [ъо] > [а], типа *сарати* < *сѡрати*, *к атцѣви* < *къ отьцѣви* и др. (с. 260–262), ставят под сомнение такой классический "первый" пример аканья, как *въ апустѡвиши земли* (Сийское евангелие 1339 г.), а филигранный анализ энклитик, проведенный на базе берестяных и ранних пергаменных грамот, древнейших списков "Русской Правды" и записей прямой речи персонажей в Киевской летописи, дает основания коренным образом пересмотреть бытующие в науке иллюзорные взгляды относительно свободного порядка слов в древнерусском языке. Глубоко новаторским как по материалу, так и по теоретическому обоснованию является этюд о презенсе совершенного вида в значении "презенса напрасного ожидания" – т.е. о конструкция типа *вевериць ми не присъ леци* "не присылаешь мне денег" (с. 275–278).

Особой оценки заслуживает многолетний неустанный труд А.А. Зализняка по реинтерпретации ранее изданных берестяных грамот, в результате которого еще 150 грамот из числа опубликованных ранее получили новое либо уточненное толкование. Достаточно упомянуть такие сюжеты, давно являющиеся предметом дискуссий, как объяснение словосочетания *избивъ роукуы* в грамоте № 9, для которого сейчас предлагается убедительный перевод – "ударив по рукам (т.е. совершив помолвку)" (с. 126–127), удовлетворительный словораздел написания *вашь Нетребуи дѡякъ* в грамоте № 307 (с. 152), устранение загадочного имени *Селоана* в грамоте № 359 и замена его более простым чтением – *село а на* (далее – *вхьхъ се грозитьце*). Сотрудничество лингвиста и археологов-реставраторов сделало возможным прочтение дополнительных букв, слов и даже строк в грамотах № 68, 82, 112, 218, 227, 235, 240, 266, 400 и мн.др., что существенно расширяет источниковедческую базу палеорусистики и проясняет многие проблемы: в частности, уточнение текста грамоты № 351 пополнило список форм без второй и третьей палатализаций (*кьль, вохъ*); бессмысленная фраза *а оу даних с доубоничи*, читавшаяся издателями в псковской грамоте № 4, получает теперь вполне приемлемый вид и смысл: *а оу Данихе доубеници* "у Данихи – рукавицы" (с. 179).

Множество глубоких, тонких и бесспорных наблюдений в очередной раз подтверждают высочайший уровень текстологических разысканий А.А. Зализняка как ведущего интерпретатора древнерусских текстов. Хотелось бы подчеркнуть, что теперь, когда значительная часть берестяных грамот благодаря прежде всего трудам В.Л. Янина и А.А. Зализняка читается и трактуется существенно отлично от первых публикаций, представляется исключительно важным и своевременным исправленное и дополненное переиздание первых семи томов "Новгородских грамот на бересте", имеющих далеко не во всех научных библиотеках и, как мы убеждаемся с каждым новым выпуском, отнюдь не свободных от ошибок.

Перечисление многообразных достоинств последнего издания берестяных грамот можно было бы продолжать и продолжать. Однако в настоящей статье мы не ставили перед собой задачи реферирования и тем более рекламирования нового лингвистического исследования А.А. Зализняка: выдающаяся роль ученого в современной исторической русистике настолько очевидна, что любой уважающий себя славист непременно обратится к его новому труду вне зависимости от наличия рецензий. Наша цель более конструктивна – наметить те проблемы, трактовка которых в книге кажется неоднозначной, и в ряде случаев дополнить приведенный материал фактами, отчасти, возможно, проливающими новый свет на анализируемые явления.

2. Доказывая особое положение древненовгородского диалекта среди других славянских языков и диалектов, А.А. Зализняк выделил целый ряд явлений, действительно характерных только либо преимущественно для новгородско-псковских памятников и говоров.

В частности, новые факты дополнительно подтверждают отсутствие в древненовгородском диалекте второй палатализации (ДП² [кѣ те]тѣке ГрБ № 635³, МП въ другемо 686, ИП дв.ч. бльстѣкѣ 660 и нек. др. – с. 195). Трудно, однако, согласиться с отнесением к сфере второй палатализации форм "с вторичным -ѣ" – РП ед.ч. типа о(т) Нѣжеке (-кѣ) 644, ВП мн.ч. типа во три колотокѣ 644 и уподобившегося аккузативу ИП типа оперьсникѣ 648, вохе 670: рассматривая эти новообразования на фоне соответствующих форм мягких вариантов склонения (РП землѣ, ВП конѣ, моѣ), правомерно заключить, что они возникли под влиянием *jā- и *jo-основ, а не искать для каждого из них свой особый источник (например, Д–МП ед.ч. *ā-склонения или И–ВП дв.ч. типа женѣ, селѣ, очевидно нерелевантный для мн.ч. муж. рода). Но, устанавливая для форм на -ѣ в твердых разновидностях соотношенность с мягкими, мы можем прийти только к одному выводу: {-ѣ} в этих формах заимствовано из {-ѣ} мягкого варианта, который генетически восходит не к дифтонгу, а к *ē (ВП мн.ч. *konjons > *konjens > *konjēn > *konē > *kon'ě) [3, с. 180; 4], – и, следовательно, в строгом смысле слова не может быть условием второй палатализации, трактуемой как изменение заднеязычных в мягкие свистящие в позиции перед *ě₂ и *i₂ дифтонгического происхождения. Вероятно, в письменный период для носителей древненовгородского диалекта различный генезис *ē₁ и *ē₂, совпавших в едином (ѣ), уже не был существенным, но именно это безразличие показывает, что переходное смягчение заднеязычных в данном диалекте не осуществлялось перед любыми гласными переднего ряда, независимо от их происхождения, – однако, разумеется, только в тех случаях, если палатализация не произошла еще до обособления "прановгородских" говоров (как это было, например, в формах типа жена, чьто, шьла и т.п., сохранявших праславянский рефлекс первой палатализации). В тех же новых морфонологических позициях, которые отсутствовали в праславянскую эпоху и образовались лишь в период распада праславянской общности или даже в послепраславянский период ("nachurslavisch" [5, с. 15]), – перед -ѣ и -и дифтонгического происхождения (позиция II палатализации) – либо уже в результате собственно новгородских морфонологических процессов межпарадигмального взаимодействия – перед -е в ИП ед.ч. муж. рода *о-склонения и перед -ѣ в РП ед.ч. *ā-склонения, И–ВП мн.ч. *ā-склонения, ВП и затем ИП мн.ч. *о-склонения (позиция I палатализации) – заднеязычные, судя по всему, не подвергались изменению. Переходное смягчение не осуществлялось и в заимствованиях: так, например, фин. *kirstu* передается в севернорусских говорах формой *керста* < *кърста*, "при чем, – как писал А.Л. Погодин, – поражает отсутствие смягчения" [6]. В этой связи особенно показательны два варианта названия озера Селигер в основе которого лежит форма типа фин. *Särkijärvi*, эст. *Särgjärv* [7]: в новгородских источниках оно фигурирует в виде *Серегърь* (ГрБ № 526, ЛН XIII–XIV, 125), тогда как в местной, неновгородской (тверской) топонимике представлено формой *Селижар*, реконструируемой "на основании названия речки *Селижаровки* или *Селижар* (выходящей из Селигера и впадающей в Волгу) и названия посада *Селижарова* (при впадении Селижаровки в Волгу)" [8, с. 5]. По всей вероятности, эта вариативность обусловлена не

² В статье приняты сокращенные обозначения падежей: ИП – именительный, РП – родительный, ДП – дательный, ВП – винительный, ТП – творительный, МП – местный, Зв. – звательная форма

³ Сокращенные обозначения дреанерусских источников приводятся по изданию [2]. Дополнительно используются следующие сокращения: ПГ – *Марасинова Л.М.* Новые псковские грамоты XIV–XV веков. М., 1966; ПП – Псковская первая летопись // Псковские летописи. Вып. I. М.; Л., 1941; ППП – Псковская третья летопись // Псковские летописи. Вып. II. М., 1955; ППК – Псков и его природы. Кн. I. Писцовая книга по Пскову и его пригородам XVI в. // Сб. Моск. архива Мин-ва юстиции. Т. 5. М., 1913; ТФ – *Toppies Fenne's Low German manual of spoken Russian, Pskov 1607.* V. II. Copenhagen, 1970

двухэтапным заимствованием топонима ("в глубине" общеславянского периода, до первой палатализации, и "значительно позже, когда завершилось не только первое, но и второе смягчение гортанных" [8, с. 7]), а различной рефлексацией *g перед *ě у кривичей и у их соседей: в то время как предки псковичей и новгородцев, придя в район Селигера, восприняли новое название с сохранением заднеязычного, другие восточные славяне, для которых первая палатализация перед *ě < *ē по-прежнему имела статус живого фонетического преобразования, закономерно заменили *g шипящим. Признание фонетического, а не морфонологического характера данного изменения связано, на наш взгляд, с двумя обстоятельствами. Во-первых, представляется несомненным различие *ě₁ и *ě₂ в описываемую эпоху: если бы они совпали, то восточнославянские диалекты, бесспорно знавшие вторую палатализацию, изменили бы *g в *dz' > *z'. Во-вторых, квалификация перехода заднеязычного в шипящий как актуального фонетического процесса предполагает отсутствие "диспалатализации" *ě (т.е. *ě > *a), которая, как указывал Г.А. Ильинский [3, с. 136], "лежит уже за пределами существования прасл(авянского) яз(ыка)"; поздняя хронология, по мнению ученого, явствует из употребления звука [ê], а не [a] на месте *ě₁ в позиции после шипящих в литовских заимствованиях: *čẽsas* ~ *часть*, *čẽrai* ~ *чары*, *šẽstīti* ~ *шастать*, ср. также фин. *sääli* ~ *жаль*. Тем самым становится весьма правдоподобным вывод о том, что в большинстве (восточно)славянских говоров в период после распада праславянского языка параллельно действовали фонетические законы I и II палатализаций, тогда как в прановгородском ареале позднепраславянский процесс II палатализации вообще не развился, а давний общеславянский процесс I палатализации перестал действовать и сохранялся лишь в унаследованной лексике и в автоматически воспроизводимых позициях на стыке морфем (типа *ладожський*, ср. позднейшие русские слова типа *петербуржец*, *барочный*). Проблематичным остается вопрос о явно праславянских позициях перед -e в вокативе и перед суффиксом -ин-. Очевидно, что в унаследованных из праславянского образованиях типа Зв. **Milъce* (от **Milъko*) или притяжательных прилагательных типа **mačešinъ*, **Neděl'ьšinъ* шипящие должны были в древненовгородском сохраняться. Столь же несомненно, однако, что в берестяных грамотах подобные формы не зафиксированы. Следовательно, еще в дописьменную эпоху эффект первой палатализации был здесь устранен (см. с. 211, 226). Иначе обстоит дело с заимствованными именами и их дериватами: ко времени появления в новгородской речи слов типа *Марко*, *архистратигъ*, *Федька*, *Настька* и т.п. наличие заднеязычного перед [e] и [и] (в вокативе и притяжательных прилагательных) уже стало нормой – и потому говорить о выравнивании основы в этих случаях, по-видимому, значило бы объединять хронологически достаточно далекие явления – аналогическую замену шипящего заднеязычным в исконно славянской лексике и автоматическое воспроизведение имеющейся модели, не предусматривающей чередования, в новых образованиях.

Таким образом, древненовгородские отклонения от общеславянских рефлексов в формах типа ИП ед.ч. *замъке*, *въхе*, РП *оувѣ дкѣ*, ИП мн.ч. *золотьникѣ*, МП ед.ч. *на Лоугѣ*, ИП мн.ч. *въжники*, 2-го л. ед.ч. повел. накл. *моги* etc. представляют собой логическое следствие неактуальности для соответствующих говоров фонетических процессов I и II палатализаций, между тем как формы типа вокатива *Марке* или прилагательного *Настокине* отражают иницированную предшествующим феноменом весьма раннюю утрату генетически праславянского эффекта. Причина указанного своеобразия древненовгородского диалекта состоит, как можно полагать, в том, что смягчение согласных перед гласными переднего ряда имело здесь менее продвинутый характер по сравнению с другими славянскими диалектами, ср. симптоматичное колебание между *кы* и *ки* в берестяной грамоте № 13 из Старой Руссы (XI в.): *Нежатъкины*, где *ы* исправлено на *и* (с. 226), – указывающее, очевидно, на

произношение соответствующего слога как [ки] – с твердым [к] (ср. [9, с. 15]), и нередкое смешение *и* и *ы* (т.е., собственно, [ti] и [ty]) в псковских памятниках, типа *риби* "рыбы" ГрБ № 99.

3. В исследовании А.А. Зализняка (с. 197–198) приведены также новые примеры, свидетельствующие об отсутствии третьей палатализации для фонемы ⟨x⟩ (в слове "весь"). В связи с данной проблематикой кажется бесполезным ввести в научный оборот два примера из памятников, демонстрирующие отсутствие перехода [ɣ] > [ʒ] в корне -льг-: *полга* есть почитати стья книги Парем XIV (2), 1, приписка XIV–XV вв.; *нелга* Полоцк. гр., 161, 1446 г. Думается, что с учетом зафиксированных еще А.А. Потебней украинской формы *пільга*, а также русской и белорусской диалектных форм *стега́* (кур., пск.), *сцяга́* (витеб.) vs. литературного (очевидно, церковнославянского) *ствѣа* [10, с. 6] эти факты можно истолковать как аргумент в пользу (или, если угодно, "в пользу") того, что по крайней мере на части восточнославянской территории, не ограниченной исключительно кривичскими по происхождению говорами, третья палатализация осуществлялась гораздо менее последовательно, чем, например, у южных славян – иными словами, во всяком случае для древненовгородского диалекта данное явление можно было бы не сужать до корня *вѣх-* (ср. [9, с. 54]). Допустимо предположить, что в своем развитии бодуэновская палатализация прошла две стадии: затронув, несомненно, еще в праславянский период сочетания **t̃* с последующим **k*, она вступила во вторую стадию только после осуществления так называемой второй палатализации, распространившись – при сохранении "прогрессивной" ориентации на предшествующие звуки, связанные по происхождению с **t̃*, – на те слова, в парадигме которых уже возникли мягкие свистящие перед **ě*₂ и **i*₂ (например, **polьga* > **polьz'a* под влиянием Д–МП **polьz'ě*). Как и всякое морфологическое изменение, второй этап третьей палатализации проходил непоследовательно: в одних диалектах формы, не подвергавшиеся второй палатализации и имевшие после заднеязычных лабиальный элемент [11] (например, РП **polьgy*), воспрепятствовали смягчению, в других, напротив, произошло обобщение свистящего на всю парадигму, на дериваты и даже на целые классы лексем (ср. ст.-слав. императивы типа *рьци*, *стризи*, *лаци* и многочисленные образования типа *нарицати*, *постризати*, *наллцати*, а также, по аналогии, *навыцати* – без предшествующего **t̃* [12, с. 133–134]). Естественно заключить, что в древненовгородском диалекте, не знавшем второго переходного смягчения, завершающий этап прогрессивной палатализации закономерно не имел места – и не только в корнях *вѣх-*, *льг-* и *ствѣг-*, но и в германских заимствованиях *варягъ*, *кълблягъ*, *щьялягъ* (или, вероятнее, *скьялягъ*) и во всех других относящихся сюда случаях (см. [13, с. 529–530]).

4. Предполагается, что особую историю в древненовгородском диалекте имели и некоторые сочетания, подвергавшиеся йотовой палатализации. Согласно "убедительной" – по мнению А.А. Зализняка (с. 200) – гипотезе С.Л. Николаева для древнекривичских говоров реконструируется развитие **tj* > **k'*, а **dj* > **g'* [14, с. 137], отражающее "не что иное, как древнейшее состояние той же системы, которая характеризует западнославянские языки" (с. 200). Известно, однако, что у западных славян **tj* перешло в [c], а **dj* – в [ʒ] ([dz]) > [z] (польск. *świeca*, *miedza*, чеш. *svíce*, *meze*). При всей дискуссионности вопроса о деталях этого процесса – вопроса, который, по определению Г.А. Ильинского, "...принадлежит к числу труднейших проблем в слав(янской) фонетике" [3, с. 250], наиболее правдоподобным по-прежнему остается, на наш взгляд, объяснение А. Лескина, предполагавшего здесь смягчение зубного с последующей аффрикатизацией и отвердением: **tj* > **t'* > **t's* > c [15, с. 38]. Очевидно, что указанные кривичские и западнославянские рефлексy трудно рассматривать как последовательные этапы одного и того же процесса. Явная параллель постулируемому кривичскому рефлексу существует, однако, в восточносербских диалектах и – возможно, в результате заимствования из них [16] (иначе – [5, с. 49]) – в

северномакедонских говорах и литературном македонском, ср. макед. *свеќа, меѓа*. Сложность заключается в том, что мягкие заднеязычные в упомянутом ареале, вероятнее всего, являются континуантами мягких дентальных [5, с. 49], тогда как для псковского диалекта декларируется и з н а ч а л ь н ы й переход йотовых сочетаний в [к'] и [г'].

Естественно было бы ожидать, что столь древняя кривичская инновация, отождествившая «рефлексы *tj и *dj с k и g, находящимися "в позиции второй палатализации"» (с. 200), найдет заметное отражение в берестяных грамотах, которые так обильно репрезентируют отсутствие второй палатализации. Вопреки ожиданиям, однако, древнерусские тексты не предоставляли до сих пор ни одного примера типа *хоку, *хогу, *отвѣкати или *рагати, да и в памятниках среднерусского периода подобные формы изредка фиксируются, как полагают, лишь со второй половины XVI в.: *соустрѣкали* ПЛ, 74 (2 раза), *сустрѣкали* 81, *примека(т)* (Т. Фенне, 179 [14, с. 137]).

Лишь для одной позиции А.А. Зализняк констатирует "значительное распространение" (с. 200) кривичских рефлексов *dj и *tj – а именно для сочетаний *zdj и *stj, дающих в кривичском диалекте соответственно [ж'г'] и [ш'к']. Для первой консонантной группы новгородские и псковские рукописи уже с XI в., действительно, неоднократно демонстрируют написания типа *пригважгаема* [17, с. 35], *пригвожгъше*, *пригважгя*, *яжжение* [18, с. 120, 126, 134], *недоезгя*, *наеззяти*, *съеззяся*, *по(д)езгя(а)* [19, с. 85] и т.п. (см. [18, с. 130, 137; 19, с. 137, 141, 146]). Однако таким же образом, через жг, обозначается в текстах и рефлекс *zgj (*дъжгъ*, *одъжги*, *одъжгаеть*, *неодожгяеми* и т.п.; *дрожгя* [20, с. 30]), а также группы согласных, отнюдь не восходящие к йотовым сочетаниям, но возникающие на границе приставки с конечным ⟨з⟩ и корня с начальным ⟨ж⟩ либо на стыке корня с конечным ⟨зг⟩ и суффикса -bj-, т.е. при соединении ⟨з⟩ и ⟨ж⟩, образующегося по первой палатализации: *ражгизаемъ*, *въжгелѣ*, *рожъгъгъ* (< *роз-жьгъ*) [21], *рожгья* (< *orzg-ьj-e) [18, с. 120, 130] и т.д. Конечно, странно было бы думать, что из сочетания [з+ж'] непосредственно образовывалось [ж'г']; вряд ли следует также ad hoc допускать неосуществление первой палатализации в праславянском *zg' – что оставляло бы необъяснимым изменение *z > *ž; гораздо более логично предположить ассимиляцию свистящего шипящему – видимо, в качестве автоматически воспроизводимого морфонологического эффекта, повторяющего давнюю, праславянскую рефлексию *g' в виде *d'z': *zd'ž' > *ž'd'ž' и [з+ж'] > [ж'д'ж'] (см. [5, с. 47]). Тем самым букву г в сочетании жг можно было бы признать вынужденным – при отсутствии специальной графемы – эквивалентом [д'ж'] (или уже аффрикаты [д'ж']). Но в этом случае остался бы необъясненным факт совершенно иного обозначения указанного звука в южно- и западнорусских памятниках, которые уже с XII–XIII вв. передают [д'ж'], возникший на стыке префикса (предлога) и корня, а также корня и суффикса, посредством ч, позднее дч: *ижчнуться*, *въжчелѣшия*, *ижчивете*, *ражчизати*, *рожчье*, даже *беж чены* ("без жены"); так же, с помощью жч–ждч, обозначаются и рефлексы *zdj (*пригвожчень*, *наѣждчати*, *приеждчые* [17, с. 37–38] и *zgj (*дожчъ*, *одъжчи*, *изможчаньемъ* [18, с. 25, 45, 58]⁴). Вряд ли будет правильным объяснять это отличие только разницей орфографических норм новгородской и галицко-волинской (resp. западнорусской) книжности; очевидно, за написаниями жч и жг, изначально противопоставленными церковнославянскому жд, стояли разные фонетические сущности. На юге и западе буква ч использовалась для обозначения [д'ж'] именно потому, что аффриката [ч], обычно ею выражаемая, была коррелятивно наиболее близка к звонкому согласному,

⁴ Написание жч sporadически фиксируется в новгородских рукописях: *дъжчѣвнымъ*, *пригвожчено*, *ижченоу(т)* [22], *дожча* [20, с. 62], однако ввиду уникальности этих примеров допустимо считать их восходящими к южнорусской традиции.

образовывавшемуся в соответствующих говорах на стыке морфем (ср. [23, с. 104]). На севере же фонетическим прототипом буквы *ж* в сочетании *жг*, скорее всего, был звук не фрикативный, вследствие чего он и обозначался графемой, предназначенной для взрывного. Что же это был за звук?

Весьма правдоподобной представляется гипотеза А.М. Селищева, согласно которой написанием *жг* "...передавалось заднепалатальное *žd'* (с палатальным затвором, а не с фрикацией *j*; в акустическом отношении такое *d'* близко к *g*") [24, с. 36]⁵. Тот факт, что для обозначения данного сочетания, возникшего в результате упрощения группы [ж'д'ж'], стала употребляться новая графема, вытеснявшая давний и, казалось бы, вполне адекватный старославянский диграф *жд*, находит объяснение в двух обстоятельствах. Во-первых, "...памятники как ю(жно)сл(авянского), так и русского письма, в том числе и те, которые имеют... *жг*, указывают на то, что в XI в. *d'* в сочетании *žd'* в ю.-сл., по крайней мере в большинстве говоров, отвердело" [26, с. 37], – а следовательно, написания типа *приѣждати* не передавали бы палатального [д']. Во-вторых, гиперкорректные формы типа *дръждаливый* (вместо *дръжаливыи*), *длъждень* (вместо *длъженъ*) убедительно доказывает, что написание *жд* в ранних русских рукописях "...было чисто орфографическим, и ему соответствовало произношение с [ž]" [23, с. 103] (ср. [26, с. 40]). Таким образом, древнерусские писцы могли более или менее точно выразить собственное произношение рефлексов **zg'*, **zđj* и **zgj* с мягкой аффрикатой ([ж'д'ж']) или мягким взрывным ([ж'д']) либо посредством малораспространенных диакритик⁶, либо с помощью особых графем. Ввиду взрывного характера второго элемента консонантной группы в северных говорах новгородские писцы оказывались перед необходимостью обозначать соответствующий звук через *г*, чему, несомненно, способствовала значительная фонетическая близость [д'] и [г']. Чтением *г* как [д'] обуславливалась, можно полагать, и sporadически встречающаяся в Новгородских служебных минеях конца XI в. замена буквы *д* на *г* в сочетании *жд* (**dj*), которое бесспорно присутствовало в южнославянских протографах миней: *прѣжге*, *рожгение*, *побѣжгенъ* [23, с. 105], *тоужгаго* [21]; вероятно, такое написание в представлении древнерусских писцов лучше соответствовало правильному, исконному произношению старославянского рефлекса **dj* (совпадавшему с новгородским произношением рефлекса **zđj* и т.д.), нежели диграф *жд*, который в XI в. уже служил для передачи [ж'д'] с твердым [д] либо вообще произносился как [ж']⁷.

Сформулированные положения, однако, ни в коем случае не должны распространяться на тексты, написанные в конце XIV–XVI вв., в условиях так называемого второго южнославянского влияния. В это время чтение *жд* как [жд], и не только для рефлекса **dj*, но и для **zđj*, **zgj*, **zg'*, "входит в норму книжного произношения" [23, с. 250] – и тем самым псковско-новгородское произношение типа *до[жд']и*, *ро[жд']ие* совпадает с соответствующим книжным произношением в позиции перед гласными переднего ряда. При таких обстоятельствах неудивительно, что в некоторых псковских рукописях XV в., изобилующих диалектными чертами, в указанных позициях последовательно употребляется *жд* вместо *жг* [19, с. 34, 57].

Итак, написание *жг* в соответствии со старославянским *жд* и южнорусским *жч* на месте праславянских **zg'*, **zgj*, **zđj*, очевидно, передавало в древненовгородских

⁵ Ср. также замечание Л.Л. Васильева: "...в *иждену* и *дождь* можно видеть и русизм: многие великорусские говоры знают *жд* мягкое на месте двойного *ж'ж'*" [25].

⁶ Ср. использование значка мягкости при передаче форм *дъждь*, *пригвождены*, *въждѣлахъ* в Выголексинском сборнике XII в. [23, с. 104], а также "окказиональное обозначение" палатального [д'] в Мстиславовом евангелии начала XII в.: *ижъгеноу*, *жажгеть*, *въждѣлаша* и др. [27], отражающее распространение русского произношения рефлекса **zġ'* на церковнославянский рефлекс **d'*.

⁷ Менее правдоподобной кажется возможная гипотеза о контаминации в новгородских написаниях *прѣжге* и т.п. книжного ([ж']) и живого ([д']) произношения рефлекса **dj*.

источниках результат упрощения общеславянского рефлекса данных консонантных групп: [ж'д'ж'] > [ж'д']. Наследием [ж'д'] в современных говорах являются, по всей вероятности, формы типа *e[ж'д']y/e[жд']y*, представленные отдельными ареалами в Новгородской, Ленинградской, Архангельской областях, и типа *до[ж'д']/до[жд']*, отмечаемые в Псковской и Новгородской областях [28, карта 52].

Для сочетания **stj*, как уже говорилось, А.А. Зализняк постулирует особый кривичский рефлекс – [ш'к']. Приходится, однако, констатировать, что подобное развитие почти не подтверждается приведенными в исследовании примерами, поскольку большинство из них демонстрирует сохранение [к'] либо в позиции первой палатализации (*Събышкениця, Доброшькино*), либо в позиции второй палатализации (ДП моляще *дъще*, МП на *дъще* Пр 1383, 49а = [дъш'к'ѣ] < [дъск'ѣ]), либо перед [и] < [ы] (*лонциш* [лон'ш'к'и] < [лон'ск'и] < [лоньск'ѣ]). Единственное исключение составляет форма *изоскърена* из псковской Типографской псалтыри № 35 XIV–XV вв., 80об [18, с. 137], восходящая к **izostrjena*. Наличие в данном случае палатализации **t*, несвойственной восточнославянскому рефлексу **strj* (ср. [29]), побуждает предположить, что это написание отражает не прямой псковский континуант праславянского йотового сочетания, а графическое выражение диалектного произношения буквы *ш'*⁸, причем последовательность *къ*, с "весьма выразительным" *ь* (с. 201), очевидно, обозначает мягкий взрывной. Характеристика данного взрывного по месту образования на первый взгляд совершенно ясна: заднеязычный. Но не будем торопиться с выводами.

Согласно А.А. Зализняку, результат, аналогичный рефлексу **stj*, – т.е. [ш'к'] – дало в псковско-новгородском ареале и сочетание **skj*. Однако подобное развитие представляется крайне необычным. Насколько мы знаем, еще никто не ставил под сомнение общеславянский характер изменения **kj*; но коль скоро **kj* перешло у всех славян (и у кривичей в том числе) в [ѣ], от группы **skj* (как и **sk'*) невозможно ожидать какого-либо иного рефлекса, помимо [š'č'] ([š'č']). Учитывая, что во всех славянских языках данный рефлекс совпадает с результатом изменения группы **stj*, абсолютно параллельным рефлексу звонких консонантных сочетаний **zdj, *zgj, *zg'* – [ž'dž'], типологически корректно было бы, видимо, заключить, что и в древненовгородском диалекте континуанты указанных глухих сочетаний не различались. Но поскольку для звонких групп этот диалект очевидно демонстрирует новообразование, аналогичное старославянскому [ж'д'], естественно предположить, что сложное сочетание [ш'т'ш'] тоже упростилось на новгородско-псковской территории путем утраты конечного звука. Тем самым редкие написания с *шт*, наблюдающиеся в поздних памятниках, непосредственно не связанных с южнославянской орфографической традицией⁹, типа *сомниште* (Типографское евангелие № 3, 15об, сер. XIV в. [19, с. 148]), могут быть истолкованы как прямые и адекватные отражения живого диалектного произношения [ш'т'] (ср. [24, с. 36])¹⁰. Симптоматично, что на современной диалектной территории формы типа

⁸ Равным образом и в форме *изощрѣние* (Румянцевский сборник № 406 XV в., 31об [18, с. 21]) буква *ч* не передает рефлекса **tj*, а является русским субститутом церковнославянского *щ*. Маловероятно предположение А.А. Шахматова о сербском происхождении формы *изоскърена* [30, с. 129]: сербский рефлекс **strj* – не [ш'п'р'] или [ш'к'р'], а [штр'] (см. [29]), ср.: *izoštrenje, izoštrenjenje, izoštreno, izoštrena* [31].

⁹ Утверждение Б.А. Успенского, будто бы *шт* "закрепляется в северных рукописях", сохраняясь там даже после их освобождения от влияния южнославянских протографов [23, с. 109], не подтверждается фактами.

¹⁰ Форма *части* в конструкции: о(т) дѣи прозяблѣсть естъ. из горы хвальныя прѣснѣныя части Паракл 1386, 3 [18, с. 132], вопреки неуверенному предположению А.И. Соболевского [18, с. 149], относится не к существительному *чаща*, с которым она ассоциировалась в позднем церковнославянском (см. [32]), а к прилагательному *часть*, соответствующему греческой лексеме *δασύς* "лесистый" (*ἐξ βροῦς κατασίου δασύος* Ав. III, 3), ср.: пресенныя *часты* (Трефолой 1446 г., 50) [19, с. 173], изъ горы прѣснѣныя *часты* (Хронограф 1512 г., 164, Великие Минеи Четии, Сентябрь, Дни 1–13, 431) [сообщение А.Н. Шаламовой]. В Паракл 1386 написание *части* вм. *часты* отражает смешение *и* и *ы*, возможное как для самой псковской рукописи, так и для ее южнославянского оригинала.

я[ш'т']ик, [ш'т']ука встречаются, хотя и спорадически, именно в псковских, а также новгородских и белозерских говорах [28, карта 48].

На фоне специфических написаний с жг, обозначающих [ж'д'], не должна казаться особенно экстравагантной и передача [ш'т'] посредством *шк*. Но так же как последовательность жг могла служить и для выражения собственно [ж'г'] (в императиве *жги*), написание *шк* использовалось в псковско-новгородской письменности для передачи [ш'к']. Разумеется, данная функция обоих диграфов была вторичной и могла возникнуть только после падения редуцированных и изменения [ж'г'] > [ж'г'] и [ш'к'] > [ш'к']. Вместе с тем характерно, что уже со второй половины XII в. сочетание [ш'к'] начинает передаваться на письме буквой *щ*: *оу Тимощѣ* ГрБ № 78 [33, с. 116]. Эта новая функция графемы *щ*, усвоенная ею столь быстро, буквально в эпоху падения редуцированных, по-видимому, стала возможной потому, что уже до этого *щ* выражала консонантную группу, близкую к [ш'к'], – а такой группой, в силу особой фонетической близости [т'] и [к']¹¹, и была, как мы полагаем, [ш'т'].

Итак, к концу раннедревнерусского периода в псковско-новгородском диалекте имелись два близких консонантных сочетания – [ш'т'] < **skj*, **stj*, **sk'* и [ш'к'] < [ш'к']¹², выражавшиеся, помимо специальных обозначений – *шт* и *шк*, общей графемой *щ*, что, вероятно, способствовало установлению дублетности и между диграфами.

О дальнейшей судьбе [ш'т'] в псковском говоре позволяют судить некоторые примеры, содержащие рефлекс **skj*. Берестяные грамоты в данном аспекте, к сожалению, неинформативны, так как единственный отраженный в них рефлекс **skj* – суф. *-ищ-* – постоянно пишется через *щ*: *кльтище*, *веретища*, *Городищемь*, *городищяне*, *избоищанѣ*, *портище*, *посълищеньхо*, *трквьшище* (см. словоуказатель в [33]). Несколько более показателен материал псковских частных грамот, весьма безыскусно – видимо, в силу их глубокой "провинциальности" – передающих живую диалектную речь. Так, в позднем (1679 г.) списке с псковской пергаменной грамоты XIV–XV вв. отмечен следующий контекст: А завод той земли и воде от плава по Дубовизскую межу по мху около беревиц межъ беревец *игришке* да по мху в Визуи ручей ПГ № 19. Семантика слова *игришке* осталась непонятной издателю грамоты и не разъяснена в [35]¹²; можно, однако, а priori утверждать, что оно является обозначением места. Поскольку же для *nomina loci* суф. *-ище* был продуктивным [38], правомерно, думается, восстановить "словарную" форму данного существительного в виде *игрище*, отождествив его тем самым со словом, отмеченным в иркутских говорах в значениях "место, где играет рыба, мечущая икру; место, где скапливается много рыбы" [39] (сообщение А.А. Залцзяка).

Второй пример с рефлексом **skj* – локатив от топонима в *Жеремийских* ПГ № 25 (список ок. 1669 г. с грамоты 70–80-х гг. XV в.). На то, что это существительное изначально имело суф. *-ищ-* (*Жеремийши*), а не *-ишьк-*, указывает флексия *-ях*, возможная только после мягкой основы; правда, в древненовгородском диалекте МП от **Жеремийшки*, исконно выглядел бы как **Жеремийшкѣхъ*, что в условиях псковского заударного яканья дало бы *-кяхъ* (ср. со *Гургянь* ПК № 11), – однако в конце XV в., а тем более в конце XVII в. старое окончание МП мн.ч. в псковском говоре уже бесспорно было вытеснено инновационной флексией *-ах*, ср.: *оу Зряковичах* ПГ № 33, в *Овсицах* (2 раза) 34, в *Устьях* (2 раза) 35, на *Пропатищахъ*, въ *Овсицахъ* ППК, 156.

Близость псковских грамот к народно-разговорной речи дает основания предпо-

¹¹ Ср. взаимные переходы [г'] и [к'], д' и [т'] в памятниках и русских и украинских говорах [17, с. 132–133; 26, с. 164, 199], например, русск. [к'а]жело, [к'е]сто, поч[к'и], [к'е]льнь [34], [г'е]ль [24, с. 243].

¹² Как, впрочем, и форма *беревецъ*, которая, вопреки Л.М. Марасиновой (ПГ, 180), отмечена также А.А. Потебней (название урочища у *Бервецъ* [36]) и явно восходит к слову *бервь*, толкуемому В.И. Далем как "лава, кладка, мостки" [37].

ложить, что по крайней мере в XV в. первоначальный псковский рефлекс анализируемых йотовых сочетаний – [ш'т'] – уже совпал с [ш'к']. Дальнейшая эволюция взрывного привела к его отвердению, засвидетельствованному ярким примером из Погодинского списка (№ 1413) Псковской I летописи (вторая пол. XVI в.): а миръ *облеская* лживыми словесы 136 – т.е. *облещая* [19, с. 86] (мена *с* и *ш* перед *к* представлена также в формах *оускоуевъ*, *пусками*, *Масковича* [19, с. 84]). Этот пример, содержащий рефлекс **tj* в виде [шк], был сопоставлен Н.М. Каринским с *сустръкати* других списков Псковской I летописи. Таким образом, мы вновь возвращаемся к древнекривичским континуантам **tj* и **dj* в позиции после гласного.

Самым ранним известным науке отражением данных сочетаний является финское заимствование из псковско-новгородских говоров – *kaatio* "штаны", соответствующее пск. *gati* [14, с. 135], общерусск. (ныне диал.) *гачи*, сербохорв. *gaće*, словен. *gače*, чеш. *hace* < **gatj*- [40, с. 21]. Наиболее вероятный прототип финского -*ti* – не [č] (который, как сообщил нам Е.А. Хелимский, скорее дал бы *s*), а [t'] – и, следовательно, в эпоху заимствования кривичский рефлекс **tj* отличался от инодиалектного восточнославянского [ч']¹³. Вопрос в том, откуда возник кривичский [т']. Привыкнув к мысли о предельной архаичности древненовгородского диалекта, мы, пожалуй, могли бы предположить, что данный звук непосредственно отражает первую стадию изменения праславянского **tj* > **t'* (resp. **dj* > **d'*). В пользу этого положения говорит значительная древность формы *kaatio*, свидетельствующая о наличии [t'] в псковском рефлексе **gatj*- еще до начала кривичско-финских контактов (VII–VIII вв.) или, по крайней мере, до заимствования данной лексемы, также едва ли позднего. При такой трактовке древнекривичский рефлекс выступает как чрезвычайно архаичная форма. С другой стороны, не вызывает сомнения тот факт, что подобная эволюция (или, точнее, задержка в эволюции) не согласуется с псковско-новгородскими результатами йотовой палатализации других согласных, указывающими на отсутствие скольких-нибудь существенных различий между кривичским и инославянским развитием. Особенно показательны в данном аспекте псковско-новгородские рефлексы **vj* и **mj* – [л'] и [н'], возникшие не непосредственно из йотовых сочетаний, а из их общеславянских континуантов – биконсонантных групп **vl'* и **ml'* (с. 202–204). Аналогичные биконсонантные группы, по всей видимости, развивались у славян и на месте **tj* > **t'š* и **dj* > **d'ž*; именно эти сочетания послужили общим источником и для аффрикат [č], [ž], закрепившихся в сербохорватском, и их континуантов – словен. [č], [j] ¹⁴, и для западнославянских аффрикатизировавшихся и отвердевших **ts*, **dz* > [с], [з], и для южно- и восточнославянских **t'š*, **d'ž*, которые в дальнейшем претерпевали либо метатезу ([ш'т'], [ж'д'] в старославянском), либо аффрикатизацию (**t'š*' > [ч'], **d'ž*' > [д'ж']), либо элиминацию одного из элементов (**t'š*' > [т'], **d'ž*' > [д']/[ж'])¹⁵. Именно последний способ – устранение шипящего – допустимо реконструировать для севернокривичских а также для части сербских (и, возможно, македонских) говоров, впоследствии преобразовавших [д'] в [г'], а [т'] – в [к'] (**med'ž'a* > **med'a* > *мега*, **svět'š'a* > **svě't'a* > *свека*).

Восстановление ступени **t'š*/**d'ž* поддерживается и явным изоморфизмом изменений **tj*/**dj* в позиции после гласных (сонантов), с одной стороны, и после спирантов, с другой. В том случае, если бы мы признавали для прапсковского только первый этап

¹³ Соотнесение пск. *gati* со "вторичным переходом *k' > t'*" [14, с. 136] маловероятно, так как указанный переход, во-первых, характерен прежде всего для новгородских говоров, а не для псковских [28, карта 68], а во-вторых, датируется весьма поздним периодом после изменения [кы] > [к'и] (не ранее XIV в., см. [33, с. 119]).

¹⁴ Подробнее о различных южнославянских рефлексах см. [40, с. 233].

¹⁵ Ср. аналогичное изменение **vl'*, дающего в отдельных языках и диалектах либо [v'], либо [l'].

эволюции сочетаний зубных с *j (*stj > *st' и *zdj > *zd'), было бы трудно объяснить последующий переход *s и *z в шипящие, который, очевидно, обуславливается не ассимиляцией спиранта мягкому дентальному, а уподоблением его находящемуся после зубного шипящему: *st'š' > *š't'š', *zd'ž' > *ž'd'ž' – так же, как это происходило при первой палатализации в группах *sk' > *st'š' > *š't'š' и *zg' > *zd'ž' > *ž'd'ž' [41]¹⁶ (ср. позднейшее отсутствие ассимиляции [с] и [з] перед [т'] и [д'] на фоне изменений типа [сл']em > [ш'л']em). Следовательно, превращение *s и *z в *š и *ž определялось в сочетаниях с зубными тем, что эти зубные – как ранее и заднеязычные – в соединении с *j изменялись в биконсонантные группы, включавшие мягкий шипящий. Однако вопрос о качестве данного шипящего, выделившегося из сочетания дентального с *j, следует, вероятно, оставить открытым: в эпоху обособления праславянского диалекта это мог быть еще общий для всех славян звук типа *šf'ž либо, скорее, уже общий для большинства восточных и части южных славян звук *šf'ž; при первом решении изначальная севернокривичская рефлексияция *tj/*dj отражает общеславянскую архаику, при втором – представляет праславянский диалектизм. Но в обоих случаях упрощение биконсонантной группы в *t'/*d' должно быть отнесено к весьма раннему и краткому периоду между распадом праславянской общности (гипотетически V в.) и эпохой активных кривичско-финских контактов, тогда как фонетическое сближение мягких зубных с мягкими заднеязычными может датироваться, в свете отмеченного выше факта раннего использования щ для обозначения [ш'к'], временем не позднее XII в.

В рамках предложенной интерпретации декларируемое С.Л. Николаевым кривичское изменение *tj > [к'], *dj > [г'] предстает как обозначение завершающей стадии в процессе постепенного перехода от дентальных к гуттуральным, причем, что немаловажно, перехода не уникального, а исторически и типологически обоснованного, хорошо вписывающегося в общеславянский контекст¹⁷.

Необходимо подчеркнуть, вместе с тем, что указанные рефлексии *tj и *dj, судя по всему, не пользовались широким распространением в древненовгородском койне, которое определенно усвоило только одно сочетание – [ж'д'], передававшееся на письме с помощью жг. В целом же мягкие зубные и, позднее, мягкие заднеязычные сохранили узкую псковскую локализацию. Показателем их неупотребительности в древненовгородском диалекте – во всяком случае, после гласных – служит отсутствие написаний с т или к в таких чрезвычайно частотных позициях, как суффикс антропонимов -ич(ь) (< *-itj-) и формы настоящего времени глагола хотѣти (в ГрБ – только от основы хоч-/хоц-, см. [33, с. 303; 1, с. 342]). Все опубликованные до сих пор берестяные грамоты однозначно свидетельствуют и в пользу совпадения новгородского и общерусского рефлексов *dj; весьма симптоматичны в данном аспекте грамоты № 82 и 227 (конец XII в.), которые наряду с такими яркими новгородизмами, как *приедя, моего, 3-е л. выволоци, ВП мн.ч. доскъ (82) и моги, тога, хоце, дае, прашяе, енюци (227)*, демонстрируют resp. формы *со Давыжею и прихажяи*. Правда, новейшие находки берестяных грамот позволили выявить один пример с г на месте *dj – форму *ноугене* (т.е. <нужьнѣ>) в ГрБ № 717 (вторая половина XII в.), любезно сообщенной нам А.А. Зализняком, однако с учетом написания *пецалоуся*, видимо, передающего характерное псковское отвердение [л'] (см. [43]), эта грамота вполне

¹⁶ Ср. указание А. Лескина на "всеобщее правило, согласно которому первый из двух окружающих зубной неодинаковых сибилантов уподобляется второму" ("bei ungleichen einen Dental umgebenden Sibilanten der erste dem zweiten gleich wird") [15, с. 39-43].

¹⁷ Едва ли следует подробно обсуждать тезис Г.П. Пивторака [42], согласно которому *dj (а не группы с начальным *z) изменилось в кривичском з [ж'г']; привлекаемая для аргументации этого положения белорусская диалектная форма *джгадло* не имеет никакого отношения к *dj, так как, по-видимому, восходит к польскому *žgadło (совр. *zegadko*), где ž < *g.

может быть отнесена к числу псковских. Знаменателен и тот факт, что разобранные выше единичные примеры с диграфами *шт* и *шк* (*ск*): *сонмиште*, *изоскърена*, *игришке*, в *Жермишкях*, *облеская* – представлены только в псковских текстах.

Наконец, примеры из памятников конца XVI – начала XVII в., интерпретируемые как отражение перехода $*tj > [к]$ (*соустрѣкали*, *примекат(ь)*), тоже ограничиваются псковским ареалом. Следует, впрочем, заметить, что возведение $[к]$ в *соустрѣкали* к $*tj$ не кажется нам столь однозначным. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что инфинитив бесприставочного глагола, являющегося мотивирующим по отношению к префиксальному деривату с *су-*, дважды фигурирует в ПЛЛ, 95 в виде *стречати* (а не $*стрекати$). С другой стороны, в ПШЛ, 189 зафиксировано причастие *соустрѣкие*, в котором $[к]$ никак не может быть объяснено из $*tj$, поскольку соответствующий глагол (*сус[т]рѣсти*) принадлежал к I классу. Источником $[к]$ в этом случае могло быть *-л*-причастие (*соустрѣкли* ПШЛ, 220, $[кл] < [тл]$), под влиянием которого заднеязычный распространился и на второе причастие прошедшего времени. Не исключено и несколько иное направление развития: от *сустрѣкли* – к инфинитиву *сустрѣчи*¹⁸ и причастию *сустрѣкие* (по аналогии с *испекли* – *испечи* – *испекше*) и далее – к вторичному имперфективу *сустрѣкати* (по образцу *испѣкати*). Однако все эти объяснения, вполне вероятные для псковского ареала, уже едва ли применимы к смол. *устрекать*, *сустре(и, ю, я)кать*, зап.-брян. *стрэкать*, *сустрэкать* (Картотека Словаря русских народных говоров), белорус. *сустракаць* и под. [13, с. 545; 14, с. 133], для которых особая рефлексия $*tj$ столь же сомнительна, как и переход $[тл] > [кл]$ ¹⁹, и более правдоподобной представляется версия А. Вайана об образовании имперфективного глагола от вторичного инфинитива (*су*)*стречь* [45, с. 184], который, в свою очередь, возник, как можно предположить, в результате сокращения формы (*су*)*стретить*.

В целом же, на наш взгляд, *соустрѣкали*, *примекать* и сходные формы в современных говорах отражают не столько псковский архаизм, сколько гораздо более широкую по своей географической приуроченности инновацию – вторичное "выведение" заднеязычных альтернатив из форм с $[ч]$, $[ж]$ и $[ш]$, представленных на месте $*tj$, $*dj$, $*sj$, $*zj$, $*kj$, $*gj$, $*xj$, а также $*g$, $*k$ и $*x$ в позиции первой палатализации. Так, например, образования типа *намекать*, которые встречаются чуть ли не на большей части великорусской территории – от Новгорода до Рязани и Пензы и от Пскова до Владимира и Ярославля, произвольно включаемой в поистине безразмерный "кривичский пояс" [14, с. 137]²⁰, скорее всего передают общерусскую "этимологизацию" $[к]$ из $[ч]$ (см. [46, с. 74]): *намекать* < *намечу* от *наметить*, – инспирированную такими давними альтернативными парами, как *нарикати* – *наричу*, *поникати* – *поничу*, *кликати* – *кличу*, *рыкати* – *рычу*, *пискати* – *пищу*. Непосредственным источником инновации в подобных случаях служили формы 1-го л. ед.ч., которые содержат шипящий согласный, амбивалентный с точки зрения происхождения, т.е. чередующийся как с $[т]$ ($[ст]$), так и с $[к]$ ($[ск]$), ср. *рискати* < *рищу* от *ристати*. При этом отнюдь не исключается сохранение исконного итератива на *-ать* с предшествующим шипящим, закономерно возникшим по йотовой палатализации: *встрекать* и *встречать*, *намекать* и *намечать*; условия для такого

¹⁸ Допустимо предположить, что к вторичному инфинитиву *обрѣчи*, возникшему на месте *обрѣсти* под влиянием перфекта *обрѣк* < *обрѣкаль* < $*obrĕtĭ$ (ср. пск. *перецок* < *перечьтль* [44]), восходит приведенная А. Вайаном, к сожалению, без указания на локализацию русская диалектная форма *обряку* [45, с. 183–184].

¹⁹ Нам известен только один белорусский диалектный пример изменения $[дл] > [гл]$, однако он зафиксирован в польском заимствовании *влягина* > *władyna* [30, с. 176] и может отражать, ввиду наблюдаемого в польских говорах перехода $[dl] > [gl]$ (см. [19, с. 186–187]), консонантизм польского источника.

²⁰ Удивительно, что говоры, якобы относящиеся к этому "поясу", не усвоили никаких иных псковизмов, несравненно более употребительных, нежели особые рефлексии $*dj$ и $*tj$, – например, цоканья, соканья, отсутствия второй палатализации и т.д.

параллелизма сложились еще в древнерусском языке, где сосуществовали имперфективы типа *нарикати* – *наричати*, *поникати* – *поничати*, *кликати* – *кличати*, *рыкати* – *рычати*, *пискати* – *пищати*, *блискати* – *блыщати*, *трѣскати* – *трѣщати*. Для оппозиций типа *рогать* – *рожать* – *родить*, *встрекать* – *встречать* – *встретить*, *примекать* – *примечать* – *приметить*, *завекать* – *завечать* – *заветить*, первые члены которых столь эффектно вписываются в особую псковскую рефлексацию **tj*, весьма показательным в плане соотношения с общерусскими закономерностями представляется сравнение с давним, зафиксированным уже в древнерусских памятниках рядом: *пукати* – *пуцати* – *пустити*, в котором форма с [к] ошибочно и избыточно – невзирая на сохранение первоначального образования с [т] – была "выведена" из формы с шипящим (*пуцу*) и стала, в свою очередь, производящей для deverбатов типа *пуск*, *пропуск* и т.д. Подобным же образом должен интерпретироваться, видимо, и восточнославянский диалектный глагол *прохать* < *прошу* от *просить* [10, с. 13; 8, с. 14]. Отличное по истокам, но идентичное по результатам явление – выравнивание основы по образцу существительных, сохранивших исконный заднеязычный, – наблюдается в присущей многим диалектам русского, украинскому и белорусскому языкам форме *слухать* (из *слушать* под влиянием *слух*), а также в псковских итеративах с суф. -а- от глаголов на -ить: *приукать*, *разлукаться*, *прирукать*, *потехаться* [47, с. 116] (ср. *наука*, *разлука*, *рука*, *потеха*; впрочем, для псковских форм с [х] возможно и фонетическое объяснение, см. ниже).

В условиях, когда неэтимологические заднеязычные "доставляются" из шипящих даже при наличии форм с исконным зубным (*пукать* – *пустить*), вполне объяснимо "восстановление" [г], [к] и [х] в деэтимологизировавшихся корнях, потерявших чередование [ж], [ч] и [ш] с исконными [д], [к] и [с]: *пугать* < *пужать* в связи с утратой *пудить*; пск. *мехать* [47, с. 116] < *мешать* вследствие ослабления семантической связи с *месить* (ср. межславянскую изоглоссу **měxati* [вм. **měšati*] – **měšiti*, отраженную в древненовгородском глаголе *замѣхатися*, который реконструируется А.А. Зализняком на основе презенса *se zamѣшете* ГрБ № 318, сер. XIV в. [33, с. 163], словен. *měhati*, ст.-чеш. *miechati*, ст.-слвц. *miechat'* [46, с. 148–149]); *выпругать* < *выпружать* в пинежском и холмогорском говорах, утративших глагол *выпрудить* [48]; пск. *слукать*, *слукаться*, *полукать* < -*лучать* [47, с. 116]. История глагола *пужать*, вытесненного в литературном языке формой *пугать*, показывает, что образования со вторичными велярными могут занимать место первоначальных йотовых итеративов; именно это явление отражают, очевидно, пск. и твер. *впечатать* < **впечатать*, пск. *богать* < **божать*, вят. *надслегать* < **надслежать* [14, с. 134–135], а также только что рассмотренный архангельский глагол *выпругать*, который фиксируется в иных местностях, нежели *выпружать*.

Достаточно удовлетворительное истолкование и без обращения к специфическому рефлексу **dj* может получить диалектное существительное *надѣга* [14, с. 134], равно как и жаргонное *безнадѣга*, которые едва ли правомерно отрывать от укр. *одяг*, демонстрирующего все ту же ложную реституцию заднеязычного en pendant к шипящему по образцу давних чередований типа *тяжа* – *тяга* – (по)*тягъ*. Соотношение между словом *плечо* (*плечи*) и общерусским *подоплека*, диалектным *белоплекий* [14, с. 140], "восстановившими" неэтимологический [к], вполне укладывается, на наш взгляд, в корреляцию типа *очи* – *око* – *доброокуши*, *лице* (при цоканье *личе*) – *ликъ* – *бѣлоликуши*, *дичь* – *дикуши*, *прочи* – *прокуши*, *печа* – (о)*пека*, *сѣчь* – (на)*сѣка*. Маловероятно, чтобы кривичское развитие **tj* > [т'] > [к'] > [к] было отражено в существительном *удка* и наречии *наудаку/навдаку*, представленных не

только в псковском диалекте [47, с. 117; 14, с. 134]²¹, но также, как показывают материалы Картотеки Словаря русских народных говоров, в говорах московских, ярославских, владимирских, пензенских, саратовских, тамбовских; гораздо более правдоподобна соотнесенность формы *удака* vs. *удача* с вариантами типа *драка* – *драча*, (*про*)*тока* – (*водо*)*точа*, (*за*)*сѣка* – *сѣча* (см. [35, вып. 4, с. 349, 351; 49]), отражающими словообразовательную вариативность отглагольных существительных. Подтверждаемое данными Картотеки Архангельского областного словаря повсеместное употребление слова *ляга* в архангельских говорах, вряд ли столь уж массово связанных с кривичским наследием, ставит под вопрос преобладание [г] в этом существительном с постулируемой С.Л. Николаевым для псковского говора праформой **lędja* [14, с. 133].

Наконец, что касается "диалектного" происхождения литературных русских лексем *упрекать*, *попрекать*, *упрек*, *попрек* [14, с. 135], то, на наш взгляд, их связь с многочисленными и древними образованиями от корня *перек-/прек-* (см. [35, вып. 14, 18]) однозначно свидетельствует против отождествления с глаголом *прѣтити*, а следовательно, и с рефлексацией **tj*.

Проведенный в предшествующем изложении критический разбор диалектного материала, придававшего видимую убедительность оригинальной гипотезе о кривичском переходе **dj* > [г'], **tj* > [к'], преследовал своей целью показать, что появление твердых (но не мягких!) заднеязычных на месте шипящих представляет собой вторичный процесс, характерный не только для псковских говоров и даже не только для так называемого "кривичского пояса", но и для многих других территорий. Мнение о преобладающей роли псковского ареала в данном явлении обусловлено, как мы полагаем, относительно подробным описанием соответствующих эффектов в работах С.М. Глускиной и С.Л. Николаева, но игнорирует аналогичные процессы, например, в архангельских говорах и, тем более, в других диалектах, для которых современная наука не располагает столь же фундаментальными лексикографическими описаниями, каковыми являются Псковский и Архангельский областные словари. Очевидно, накопление диалектного материала позволит взглянуть на проблему "восстановления" веллярных альтернантов более широко.

В то же время неверно было бы отрицать, что в псковских говорах все же могли сохраняться некоторые следы древних диалектных рефлексов **dj* и **tj*. Наиболее бесспорным отражением [т'] из **tj* является, как уже говорилось, чрезвычайно архаичная форма *гати*, указывающая на то, что в позиции перед гласными переднего ряда мягкие зубные, исторически предшествующие мягким заднеязычным, могли сохраняться. Для позиции перед непередними гласными показательны формы *дождгоу* (vs. *одожд(д)ити* и *бездожде*) в Синодальном сборнике № 68/270 второй половины XV в., 119об [19, с. 106, 178] и упоминавшаяся выше *облеская* (< *обле[ш'к'а]я* < < *обль[ш'т'а]я*) в Псковской I летописи по Погодинскому списку № 1413. Эти примеры дают основания полагать, что не позднее середины XV в. в позиции перед [а] и [у] мягкие заднеязычные – континуанты [т'] < **tj* и [д'] < **dj* – в составе сложных консонантных групп [ш'к'] и [ж'г'] стали подвергаться отвердению – хотя, вероятно, не во всех псковских говорах одновременно, ср. сохранение [к'] и [г'] в формах *Жеремшиках* (грамота конца XV в.), *не доезжая, съезжаяся* (Строевский список ПШЛ, 184, 193, 60-е гг. XVI в.). По-видимому, именно в таких изолированных, лексикализованных образованиях, как единичные слова с **zd*, **zg* или диалектные лексемы типа *напуга* "пресыщение" и *молога* "молодые растения" [14, с. 133–134], специфические кривичские рефлексы йотовых сочетаний с зубными и заднеязычными могли удерживаться особенно долго. Не исключено, что реликт [жг] содержится и в отмеченной А.И. Соболевским пермской форме *вожгалса* [18, с. 153], которая, воз-

²¹ Ср., в то же время, в разговорнике Т. Фенне. *vdatze* "удача" ТФ, 251

можно, отражает говор потомков псковских переселенцев; однако неясное происхождение геминаты в глаголе *вожжаться*, как и в существительном *вожжа*, исконно имевшем лишь один [ж] (ср. *вожѣ* в ГрБ), не позволяет делать здесь сколько-нибудь уверенные выводы.

Итак, мягкие зубные, появившиеся в результате упрощения биконсонантных групп $*r's' < *tj$ и $*d'z' < *dj$ и позднее переходившие (в позиции перед гласными непреднего ряда) в мягкие заднеязычные, должны быть признаны периферийной инновацией псковских говоров, типологически совпадающей, однако, с аналогичной эволюцией в сербских диалектах. Дальнейшая история этих звуков, не получивших, за вычетом рефлексов $*zgj$, $*zdj$, $*zg'$, заметного отражения в письменности, связана с двумя тенденциями: в отдельных формах в позиции перед непредними гласными они подверглись отвердению, а в большинстве случаев были заменены общерусскими [ж] и [ч].

5. В продолжение данного сюжета представляется необходимым сказать несколько слов о псковских диалектных (изредко встречающихся и в памятниках) заменах [с/ш] и [з/ж] на [х] и [γ] (*смехно*, *пихьмо*, *выхла*, *пахол*, *кухнуть*, *спрахывал*, *принеху*, *мяхо*, *урать*, *вауывать*, *награуывать* и мн. др. [47, с. 115–119; 14, с. 128–132]²²). Думается, что всеобщность этого перехода, прежде всего для инляутной позиции, достаточно исчерпывающе объясняет, почему нам трудно согласиться с гипотезой о древнекривичском изменении $*sj$ и $*zj$ в [x'] и [γ'] (с. 200, ср. [14, с. 131]). Более вероятно, что здесь мы имеем дело с позднейшим фонетическим преобразованием [ш] > [х], [ж] > [γ], связанным, как можно полагать, с особой артикуляцией шипящих, которая была отмечена еще А.А. Потемной в детской речи: "...заставляешь произнести *пшеница*, выходят *пхеница*, *пахеница*, причем *х* может быть или звуком средним между *ш* и *х*, или чистым *х*" [10, с. 41]²³.

Тезису о происхождении новых веларных из $*sj$, $*zj$ противоречат примеры с итеративными глаголами на *-ивать*, праформы которых никогда не содержали суффикса $*-j-eva-$, постулируемого ad hoc С.Л. Николаевым (**vazjevati*, **prasjevati* и т.п. [14, с. 131–132]): во-первых, суф. *-ова-* вообще крайне редко использовался для образования отглагольных имперфективов [12, с. 275]; во-вторых, итеративы с суф. *-ова-* к глаголам IV класса исконно не образовывались от основы на *-и-* (ср. ст.-слав. *гобъзити* – *гобъзовати* [не **гобъжевати!*], *хоуанти* – *хоуовати*, *красити* – *красовати са* [не **красевати!*], *коупити* – *коуповати*, *зълобити* – *зълобовати*, *жалити* – *жаловати* [50]); в-третьих, сравнительно редкие в древнерусском и присущие главным образом церковно-книжным текстам [51] глаголы на *-евати* типа *утѣшевати*, *въпрашевати*, *свършевати*, *услышевати*, *поспѣшевати*, *сърѣшевати*, *раздрѣшевати* и т.п. [49] отражают отнюдь не первичные сочетания с $*j$, а замену древнейшего итеративного суффикса *-а-* (*-aj-*) на новый – *-ова-*, перед которым палатальный согласный, действительно возникший из сочетания с $*j$, сохраняется лишь как результат исторического чередования. Впрочем, как раз в псковском диалектном материале подобные глаголы присутствуют лишь в виде реконструкций С.Л. Николаева, который неправоммерно восстанавливает $*-jeva-$ на месте реального *-ыва-*, вытеснившего первоначальный суф. *-а-* (*нахивать* < *нашивать* < *нашати*).

6. Блестящее открытие А.А. Зализняка, установившего для древненовгородского диалекта, в дополнение к известному изменению [вл'] > [л'], переход [мл'] > [н'], требует, как мы полагаем, дополнительной фонетической расшифровки: видимо, следовало бы подчеркнуть, что указанный переход осуществился не непосредственно,

²² Показательно, что субститутами общерусских [ж] < $*zj$ и [ш] < $*sj$ в псковских текстах регулярно выступают не *г* и *х*, а обычные "сокающие" написания *з* и *с*: *утовраены*, *показать*, *связеть*, *превозносельми*, *козю*, *украшена*, *гласяеть*, *посякъть* [18, с. 125, 131–133, 139] и т.п.

²³ Ср. также произношение *мо[γ]т быть*.

а через стадию ассимиляции [л'] носовому [м] по способу образования ([мл'] > [мн'] > [н']). Именно такой промежуточный этап эволюции зафиксирован в типологически сходных украинских диалектных формах *ломн'у*, *кормн'у*, *скоромн'у* [52], а также в болгарском и сербскохорватском диалектном образовании *земня* [53] – между тем как в русских говорах наблюдается обратное явление – диссимиляция [м] и [н']: *помлю* вм. *помню* [24, с. 350]²⁴.

Трудно признать убедительным предположение о наличии "некоторой отдаленной связи" между изменением [вл'] > [л'] и [мл'] > [н'] и западнославянской утратой [l'] ерпентheticum (с. 204). Думается, что более уместно в данном случае было бы обратиться взгляд на юг и сопоставить новгородско-псковские формы типа *Ярослаль*, *напраливати* со старосербскими *Драгослаликь*, *Градислалю* и др., а также с современными сербскохорватскими *забальати*, *црљен* (< *чървлень*) [8, с. 21]. Любопытно, что А.И. Соболевский, кажется, впервые предпринявший такое сопоставление, в течение двух лет перешел от полной неопределенности в оценке соответствующих фактов к довольно решительному – на наш взгляд, излишне решительному – выводу. Так, в 1910 г. он писал: "Для нас остается вопросом, когда произошло опущение *в* перед *л* в русских говорах, с одной стороны, и в сербском языке, с другой, и насколько можно признать какую-либо зависимость между тождественными явлениями двух этих языков" [8, с. 21]. В 1912 г. он уже утверждал, что данное явление, как и номинатив ед.ч. мужского рода на *-е* (типа *Радое*, *Миливое*), "...ставят предка русских говоров кривичского происхождения также в связь с сербским яз(ыком) и предков позднейших кривичей в связь с предками сербов. Конечно, еще на доисторической территории славян" [55]. По нашему мнению, различные способы упрощения сочетаний губных с [l'] у южных, западных и восточных (не только кривичских) славян следует расценивать как проявление ранней (вероятно, дописьменной) и типологически общей тенденции отдельных славянских языков и диалектов, которая находилась в тесной связи с упрощением других консонантных групп, образовавшихся в результате йотовой палатализации.

7. Таким образом, особенности, обнаруживаемые древненовгородским диалектом в реализации славянских палатализаций, могут быть сведены к двум явлениям. С одной стороны, наблюдается сохранение праславянской архаики, выражающееся в неразвитости слогового сингармонизма и, как следствие, в неактуальности фонетического эффекта первой палатализации для тех позиций, где она не имела праславянской основы, в неосуществлении второй палатализации и ее фонологического продолжения – второго этапа так называемой третьей палатализации. С другой стороны, псковско-новгородские памятники и говоры демонстрируют специфическое развитие праславянских результатов йотовой палатализации, проявляющееся в упрощении биконсонантных групп: **l's'* и **d'ž'* из **lj*, **dj* утрачивают фрикативный элемент, а **ul'* и **ml'* из **uj*, **mj* – лабиальный элемент, причем в последнем случае место [л'], ассимилировавшегося носовому [м], занимает [н']. Все эти феномены, представляющие собой периферийные архаизмы и периферийные инновации, подтверждают своеобразие древних кривичских говоров в пределах восточнославянского

²⁴ Попутно заметим, что форма *доени* ГрБ № 437 < *доемли* является императивом не от *дояти*, как в результате досадного недосмотра указано на с. 167 и 329 (1-е л. ед.ч. наст. вр. от *дояти* будет, *разумеется, доиму*, повел. накл. – *доими*), а от *доимати*, *доемлю*, ср. совершенно правильную квалификацию формы *енюци* как образования от *имати* (с. 331) и *уемли* – от *уимати* [33, с. 302]. Упрек в "грубой ошибке", адресованный А.Б. Страховым А.А. Зализняку в связи с последней формой [54], приходится переадресовать самому критику, реконструировавшему фантастический инфинитив "уемлѣти", не просто образованный от основы настоящего времени, но еще и не отражающий перехода **ē* > **a* после **j*. Столь же неверен инфинитив "сыплѣти", восстанавливаемый американским славистом для императива *сытль* в противовес абсолютно корректной форме *сыпати*, указанной А.А. Зализняком [33, с. 300]: как и другие глаголы III класса типа *скакати*, *взати*, *дрѣмати*, глагол *сыпати* образовывал повелительное наклонение от презентной основы на *-j-*, перед которым конечный губной согласный основы изменялся в сочетании с *l'* ерпентheticum (а не "эпентетикум", как у А.Б. Страхова).

ареала и отражают некоторое типологическое сходство с состоянием, присущим иным славянским языкам, отчасти – западным, а отчасти – южным. Аналогичная ситуация выявляется и при обращении к другим фонетическим и морфологическим чертам, свойственным древненовгородскому диалекту. Но об этом – в следующей статье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
2. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I. М., 1988. С. 24–68.
3. Ильинский Г.А. Праславянская грамматика. Нежин, 1916.
4. Schmalstieg W.R. An introduction to Old Church Slavic. Columbus (Ohio), 1983. P. 82, 94, 96.
5. Aitzetmüller R. Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. Freiburg i. Br., 1978.
6. Погодин А.Л. Отзыв о сочинении Jalo Kalima: "Finnische Lehnwörter im Russischen" // Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых Императорскою Академиею наук. IV. Отчеты за 1909 год. СПб., 1912. С. 455.
7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. III. М., 1987. С. 595.
8. Соболевский А.И. Лингвистические и археологические наблюдения. Вып. I. Варшава, 1910.
9. Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.
10. Потемня А.А. К истории звуков русского языка. II. Варшава, 1880.
11. Селищев А.М. Старославянский язык. Ч. I: Введение. Фонетика. М., 1951. С. 207.
12. Diels P. Altkirchenslavische Grammatik. Heidelberg, 1932.
13. Ляпунов Б.М. Отзыв о сочинении Н.М. Каринского: "Язык Пскова и его области в XV веке" // Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых Императорскою Академиею наук. IV. Отчеты за 1909 год. СПб., 1912.
14. Николаев С.Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988.
15. Leskien A. Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Heidelberg, 1909.
16. Селищев А.М. Очерки по македонской диалектологии. Казань, 1918. С. 132, 138.
17. Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. М., 1907.
18. Соболевский А.И. Очерки из истории русского языка. Киев, 1884.
19. Каринский Н.М. Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909.
20. Псалтыри / Описал В. Погорелов. М., 1901. (Б-ка Моск. Синод. типографии. Ч. I: Рукописи. Вып. 3).
21. Комарович В.Л. Язык служебной Октябрьской Минеи 1096 года // Изв. ОРЯС. 1925. Т. 30. С. 38.
22. Schachmatow A. Beiträge zur russischen Grammatik // AfslPh. 1883. Bd. 7. Hf. 1. S. 70.
23. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Budapest, 1988.
24. Селищев А.М. Избранные труды. М., 1968.
25. Васильев Л.Л. С каким звуком могла ассоциироваться буква "нейотированный юс малый" (А) в сознании писцов некоторых древнейших русских памятников? // РФВ. 1913. № 1. С. 191.
26. Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. М., 1969.
27. Живов В.М. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI–XIII века // Rling. 1984. V. 8. P. 257.
28. Диалектологический атлас русского языка: (Центр Европейской части СССР). Вып. I: Фонетика. М., 1986.
29. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonétique. Lyon; Paris, 1950. P. 72.
30. Шахматов А.А. Несколько заметок об языке псковских памятников XIV–XV в. // ЖМНП. 1909. Июль.
31. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Sv. 13. Zagreb, 1892. S. 283–284.
32. Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 1899. С. 128.
33. Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.
34. Образование севернорусского наречия среднерусских говоров. М., 1970. С. 66.
35. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–18. М., 1975–1992.
36. Потемня А.А. К истории звуков русского языка. IV. Варшава, 1883. С. 33.
37. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955. С. 81.
38. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952. С. 232.
39. Словарь русских народных говоров. Вып. 12. Л., 1977. С. 72.
40. Popović I. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.
41. Ван-Вейк Н. История старославянского языка. М., 1957. С. 100, 111.
42. Півторак Г.П. Формування і діалектні диференціації давньоруської мови. Київ, 1988. С. 132–133.
43. Колесов В.В. К характеристике исходной палатальности согласных в древнепсковском говоре // Псковские говоры. III. Псков, 1973. С. 10.

44. Шахматов А.А. К вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры // РФВ. 1913. № 1. С. 5.
45. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. T. III. Le verbe. P., 1966.
46. Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Вып. 18. М., 1993.
47. Глушкина С.М. Морфонологические наблюдения над псковскими говорами (Смягченные и несмягченные согласные в исторических чередованиях) // Псковские говоры. Л., 1979.
48. Архангельский областной словарь. Вып. 8. М., 1993. С. 113–114.
49. Indeks a tergo do Materialów do słownika języka staroruskiego I.I. Srezniewskiego. Warszawa, 1968. S. 61.
50. Dostál A. Studie o vidovém systému v staroslověnině. Praha, 1954. S. 508–509.
51. Силина В.Б. История категории глагольного вида // Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982. С. 173, 266.
52. Марчук (Бовтрук) Н.И. Форми 1-ої особи однини дієслів теперішнього часу в українських говорах // Українська діалектологія і ономастика. І. Київ, 1964. С. 91.
53. Vasilev Ch. Verborgene Hinweise: Dativformen im Igorlied. Schwindendes *l*-epentheticum. 3. Sg. Imper. // Festschrift für Herbert Bräuer zum 65. Geburtstag am 14. April 1986. Köln; Wien, 1986. S. 690–692.
54. Страхов А.Б. Филологические наблюдения над берестяными грамотами: I–IV // Palaeoslavica. 1993. V. 1. P. 197.
55. Соболевский А.И. Лингвистические и археологические наблюдения. Вып. II. Варшава, 1912. С. 48.

© 1994 г. М.К. САБАНЕЕВА

О СУЩНОСТИ НАКЛОНЕНИЯ

Настоящая работа посвящена вопросам общего грамматического содержания наклонений, сущности противопоставления друг другу наклонений, характера связи между наклонениями и иными средствами выражения модальности глагольного действия.

Традиционно наклонение определяется как грамматический (а именно – морфологический) способ выражения отношения действия к действительности с точки зрения говорящего. При этом выделяются два типа наклонений: прямое, т.е. изъявительное (индикатив), представляющее действие как реальность, и косвенные, выражающие нереальность действия, т.е. его желательность, обусловленность и т.д. с позиций субъекта речи [1–5].

В развитии научной концепции наклонения принципиально важным является признание модальности индикатива, имеющего "собственное положительное категориальное значение" [6]. Тем самым подчеркивается субъективный интерпретирующий характер грамматической семантики индикатива, благодаря которому говорящий, пользуясь индикативом, может не только констатировать объективно реальные факты, но и лгать, сочинять сказки и небылицы. Реальность, выраженная индикативом, субъективна.

Вплоть до настоящего времени, однако, в научной литературе не ставился вопрос об основах противопоставления друг другу косвенных наклонений. Между тем постановка и решение этого вопроса позволяет раскрыть не только грамматическую сущность парадигмы косвенных наклонений, но и содержание категории наклонения в целом, а также своеобразие связей между наклонениями, с одной стороны, модальными глаголами и футурумом – с другой.

Как известно, в огромном количестве языков имеется несколько косвенных наклонений. Так, например, в древнегреческом существовали императив, оптатив и конъюнктив; в латинском – императив и конъюнктив; в романских и германских языках существуют императив, -кондиционал и конъюнктив, в русском языке – повелительное и сослагательное наклонения¹. Наличие ряда косвенных наклонений в одном языке свидетельствует о том, что их значение не сводится лишь к субъективному представлению действия как нереального. Ведь если бы противопоставление реальности/нереальности было единственным содержательным основанием оппозиции прямое/косвенное наклонения, то достаточно было бы одного косвенного наклонения вместо имеющихся обычно нескольких.

Термин "нереальность" не исчерпывает содержания косвенных наклонений еще и потому, что логически он означает отрицание реальности. Между тем ясно, что *Приходи* вовсе не тождественно отрицательным предложениям *Не приходишь* или *Не придешь*, *Не будешь приходить*; *Он пришел бы* не заменяет *Он не пришел*, *Он не приходит* или *Он не придет*. Значение косвенных наклонений богаче и сложнее, чем

¹ В отличие от других наклонений императив соотносится с коммуникативной установкой побудительности высказывания. При этом семантика, "прагматический ранг" и своеобразная формальная специфика императива свидетельствуют о том, что данный ряд форм представляет собой отдельное наклонение [7].

простое отрицание реальности действия в том или ином временном плане. Высказанные соображения позволяют заключить, что необходимо внести уточнения в понятие глагольного наклонения.

Кроме того, традиционное определение наклонений неприменимо в тех случаях, когда у косвенного наклонения преобладают функции, не связанные с представлением действия в качестве реального или нереального, т.е. не отражающие позиции говорящего относительно связи действия с действительностью. Например, большинство функций конъюнктива в придаточных предложениях современного французского языка безразличны к представлению о реальности/нереальности действия с точки зрения субъекта речи. Во французском языке унаследованный из латыни конъюнктив (=субжонктив) употребляется в основном в придаточных предложениях, где, как правило, связан с семантикой подчинительного союза или предиката главного предложения. При этом говорящий не обладает свободой выбора наклонения, он следует синтагматической модели, фиксированной нормой.

Французский конъюнктив употребляется регулярно в общеуступительных придаточных предложениях вопреки тому, что семантика уступки основана на presupпозиции реальности события, не приведшего к ожидаемому следствию: *Quoiqu'il soit venu, il ne participe pas à la conversation* "Хотя он и пришел, он не участвует в беседе". Точно так же в итальянском языке уступительные придаточные неизменно включают конъюнктив. Например: *Nessuno voleva andar a letto benché fosse già tardi* "Никто не хотел ложиться спать, несмотря на то, что было уже поздно". Во французских и итальянских придаточных времени, вводимых союзами со значением "прежде чем", "до того как", конъюнктив обязателен, независимо от реальности/нереальности действия придаточного. Например: франц. *Il viendra avant que vous partiez* "Он придет, прежде чем вы уедете"; *Il est venu avant que vous soyez parti* "Он пришел до того, как вы уехали"; итал. *Prima che arrivassero i miei amici io ero in campagna* "До того как приехали мои друзья, я жил в деревне". В сложноподчиненных предложениях с дополнительным придаточным, зависящим от волигивного глагола, только форма 1 л. настоящего времени передает позицию говорящего в момент речи относительно связи действия придаточного с действительностью. Например, франц. *Je veux qu'il vienne* = итал. *Voglio che venga* "Я хочу, чтобы он пришел". Между тем при другом лице волигивного глагола, а также в 1 л. ед.ч. прошедшего времени позиция говорящего в момент речи по отношению к действию придаточного не выражается. Например: франц. *Je voulais qu'il vînt (vienne)*, (итал. *Volevo che venisse*) "Я хотел, чтобы он пришел" вовсе не означает, что в акте речи говорящий сохраняет прежнее волигивное отношение к приходу данного человека. Предложения: франц. *Il veut que tu viennes*, итал. *Vuole che venga* "Он хочет, чтобы ты пришел" оставляют нас в неизвестности относительно точки зрения субъекта речи на действие придаточного. Следовательно, наряду с наклонениями, обладающими модальным содержанием, надлежит признать существование наклонений, не дающих информации о позиции говорящего², т.е. амодальных, немаркированных.

Высказанные соображения дают основание предпринять новую попытку истолкования грамматической семантики наклонений.

Рассмотрим сначала "полноценные" наклонения, свободно функционирующие в независимых предложениях и передающие позицию говорящего относительно связи действия с действительностью, т.е. модальность глагола-сказуемого.

Анализ содержания данных наклонений базируется на признании полифункциональности языковых единиц, т.е. на различении первичной функции,

² На материале французского языка Г. Гийом предложил трактовку наклонений как системы форм, противопоставленных друг другу по степени четкости отражения времени действия. Суть лингвистической концепции Г. Гийома, а также ее критический анализ и полемику с его пониманием наклонений см. в работах [8-13].

представляющей парадигматическое значение в "чистом" виде и не отмеченной каким-либо особым типом контекста, и вторичных функций, контекстуально маркированных, являющихся результатом взаимодействия разноуровневых языковых единиц [14–17].

Грамматическое значение модальных наклонений (изъявительного, повелительного, сослагательного) разложимо на дифференциальные семантические признаки, которые позволяют обнаружить содержательные основания противопоставления наклонений в их первичных функциях.

Первый дифференциальный семантический признак, лежащий в основе противопоставления прямого и косвенных наклонений, состоит в наличии/отсутствии представления действия как реального. Этот признак присутствует у индикатива и отсутствует у косвенных наклонений. Ведь ни *Приходи*, ни *Он пришел бы* не выражают констатацию процесса как реального. По отношению к указанному признаку данные наклонения (как повелительное, так и сослагательное) характеризуются негативно.

Второй дифференциальный признак заключается в наличии/отсутствии субъективного фактора сознания как способа связи нереального действия с действительностью. В связи с тем, что индикатив отображает представление действия как реального, грамматическое значение этого наклонения не включает в свой состав указание на фактор, способствующий связи нереального действия с действительностью. Зато в косвенных наклонениях этот признак неизменно присутствует, образуя важнейший, определяющий компонент их значения. Необходимо обратить внимание на то, что в разных косвенных наклонениях фактор связи нереального действия с действительностью оказывается различным: для императива – это волевое отношение говорящего, направленное на осуществление действия через призыв к его субъекту; для кондиционала – гипотетическое условие. Вполне возможны и другие семантические реализации субъективного фактора сознания внутри грамматического значения косвенных наклонений. Так, например, в азербайджанском языке имеется должностное наклонение, в котором связь нереального действия с действительностью осуществляется в сознании говорящего посредством представления о необходимости, обязательности этого действия [18]. Описание значений косвенных наклонений в различных языках, осуществленное Б.А. Серебренниковым [19], свидетельствует о широком диапазоне человеческих представлений относительно способа связи нереального действия с действительностью.

Семантическая структура наклонений, обладающих модальным содержанием, может быть представлена следующей таблицей.

Дифференциальные семантические признаки	Индикатив	Косвенные наклонения модального содержания
1) Представление действия как реального	+	-
2) Представления о факторе связи нереального действия с действительностью (волитивность, гипотетическая обусловленность и др.)	-	+

Как видно из приведенной таблицы, противопоставление наклонений с модальным содержанием представляет собой эквиополентную оппозицию³.

Однако эта оппозиция не является единственно возможной для наклонений. В языках, обладающих формами синтагматически связанных наклонений и безразличных к представлению о действии как о реальном или нереальном в сознании говорящего,

³ Предлагаемые в настоящей статье семантические дифференциальные признаки косвенных наклонений применимы к первичным функциям косвенных наклонений в латинском и романских языках, а также в русском. Представляется, что они релевантны и для германских языков

существует еще оппозиция по признаку выраженности/невыраженности модального содержания. Так, например, в романских языках индикативу, императиву и кондиционалу вместе взятым противостоит конъюнктив (во французском – сюбжонктив, в испанском – субхунтив и т.д.) как наклонение, в большинстве своих функций амодальное, особенно во французском языке. Противопоставление наклонений по признаку выраженности/невыраженности модального содержания образует привативную оппозицию.

Семантическая структура категории наклонения в языках, обладающих наклонениями не только синтагматически свободными и модального содержания, но также синтагматически связанными и преимущественно амодальными, предстает обобщенно в виде следующей оппозиции:

Наклонения, выражающие представление говорящего о связи действия с действительностью (индикатив, императив, кондиционал)

Наклонение, не выражающее представление говорящего о связи действия с действительностью (конъюнктив)

Общей чертой косвенных наклонений, противопоставленных индикативу внутри как эквиполентной, так и привативной оппозиций, является отсутствие специальной формы для выражения настоящего времени. Укоренившееся в грамматической традиции названия "презенс" кондиционала и "презенс" конъюнктива не соответствует грамматическому содержанию данных форм, потому что эти последние способны обозначать действие, соотносимое как с настоящим, так и с будущим. Так, во французском предложении *Je suis content que l'enfant dorme* "Я доволен, что ребенок спит" презенс конъюнктива обозначает действие в плане настоящего; между тем в предложении *Je veux qu'il parte* "Я хочу, чтобы он уехал" презенс конъюнктива обозначает действие в плане будущего. Простая форма кондиционала в предложении *Je voudrais l'espérer* "Я хотел бы на это надеяться" соотносит обозначаемый процесс с настоящим, в то время как в предложении *J'accepterais volontiers cette proposition* "Я охотно принял бы это предложение" – с будущим.

В связи с тем, что настоящее представляет собой временной план максимальной актуализации действия [20], отсутствие специализированной временной формы для выражения настоящего в косвенных наклонениях вполне закономерно.

Недостаточная отчетливость временной локализации действия в косвенных наклонениях производна от их модального/амодального противопоставления индикативу. Поскольку время является важнейшим признаком бытия, действие, представляемое как реальность, отчетливо соотносится с настоящим, прошлым и будущим. Действия же, представляемые как нереальные в момент речи (императив, кондиционал) или вне способа связи с действительностью (конъюнктив в большинстве своих функций), не получают признака бытия, т.е. точного указания на время по отношению к говорящему. Наличие/отсутствие указания на способ связи действия с действительностью образует ведущий признак содержания наклонений.

Среди двух наиболее распространенных видов косвенных наклонений (повелительного и условного) первое является наиболее древним и присутствует почти во всех языках мира, в то время как условные наклонения часто возникали на основе переосмысления волитивных форм [21–25]. Это естественно, ибо модальная семантика повелительного наклонения тесно связана с наиболее конкретной прагматической установкой говорящего в акте коммуникации. По сравнению с повелительным наклонением условное менее распространено [26], что связано, очевидно, с большей абстрактностью условного наклонения.

Итак, признак, лежащий в основе оппозиции косвенных наклонений друг другу, соответствует представлению о факторе, с которым связывается претворение нереального действия в действительность. В наклонениях данное представле-

ние воплощается в грамматическом значении и находит морфологическое выражение⁴.

Принципиально важно обратить внимание на то, что в сочетаниях модальных глаголов с инфинитивом представление говорящего о факторе связи нереального действия с действительностью воплощено в лексическом значении модального глагола: возможность, долженствование, волеитивность⁵.

В логико-понятийном отношении модальные глаголы и косвенные наклонения не тождественны друг другу. Французский императив и глаголы долженствования сближаются по смыслу только в строго определенных речевых ситуациях. Они прагматически эквивалентны для адресата речи при условиях 1) совпадения адресата речи с адресатом волеизъявления и 2) социальной и возрастной дистанции, определяющей его зависимость от субъекта речи. В подобной коммуникативной ситуации франц. *Partez* "Отправляйтесь" равноценно *Vous devez partir* "Вы должны отправиться". При этом чужая речь воспринимается адресатом как принуждение к действию, необходимому в силу внешних факторов. В русском языке одной из вторичных функций сослагательного наклонения, маркированной интонацией и инвертированным порядком слов, является передача волеитивного отношения к действию; при этом высказывание приобретает характер совета, суждения говорящего о том, как надлежит или надлежало поступить. Например, *Ответил бы ты ему* близко к высказыванию *Тебе следует (следовало) ему ответить*.

Гипотетическое обусловленное действие и объективная возможность также представляют собой разные единицы смысла. Как во французском, так и в русском языке предложения *Il viendrait* "Он пришел бы" и *Il peut venir* "Он может придти" отнюдь не эквивалентны. Французский кондционал и русское сослагательное наклонение имплицитно указывают на наличие условия, при котором реализуется действие глагола-сказуемого. Если в предшествующем контексте не указано условие и если оно не подразумевается ситуативно, предложения с кондционалом и сослагательным наклонением синсемантически. Между тем сочетание модального глагола возможности с инфинитивом передает значение потенциальности вне зависимости от какого-либо условия.

Только ограниченные типы контекста могут способствовать меньшей смысловой зависимости действия в кондционале от выражения условия. В таких случаях кондционал обозначает потенциальное действие, а все предложение автосеманлично без смысловой опоры на условие. Лексическое значение глагола в кондционале в сочетании с лексическим значением заглагольных компонентов предложения может указывать на то, что подлежащему приписывается признак в качестве постоянной способности к тому или иному действию. Например: франц. *Il se jeterait à la flotte pour toi* "Он бросился бы в воду за тебя"; *Elle charmerait n'importe qui* "Она очаровала бы кого угодно". Стабильная способность субъекта к определенному действию характеризует индивидуальность лица, выявляя постоянно присущие ему свойства. Важнейшим условием действия являются в таком случае качества самого субъекта; непосредственные же импульсы к реализации действия могут быть настолько разнообразны, что указание на них не существенно для смысла предложения. Особенно способствует реализации потенциальности как одной из функций кондционала семантика неопределенности одного из актантов или сирконстантов действия, подобно тому, как это имеет место во втором из примеров. Семантическая

⁴ Поскольку личная форма глагола-сказуемого играет важнейшую роль в акте предцирования и в организации высказывания, в целом ряде языков форма глагольного наклонения может служить для передачи категорий высказывания в целом, в частности, степени достоверности высказывания и вопросительной коммуникативной установки [27]. В современных романских и германских языках форма кондционала обладает в качестве вторичной функции способностью выражать модальность высказывания.

⁵ В своих вторичных функциях модальные глаголы возможности и долженствования отражают критическую оценку модальности высказывания, которая передается также модальными словами, глаголами модуса и рядом личных глагольных форм. На материале французского языка подробнее об этом см. [28].

неопределенность актанта или сирконстанта предполагает возможность совершения действия при самых разнообразных условиях, указание на которые не обязательно для автосемантии предложения. Поэтому в приведенных примерах кондиционал и сослагательное наклонение могут быть заменены сочетанием модального глагола возможности с инфинитивом без существенного ущерба для общего смысла [29–30].

В зависимости от логико-понятийной совместимости формы косвенных наклонений могут включать в себя модальные глаголы. Если кондиционал совместим со всеми модальными глаголами, то императив, напротив, их "отторгает". Дело в том, что возможность, долженствование и желание представляют собой неконтролируемые состояния, между тем как императив обозначает призыв к совершению целенаправленного действия. Имеет место закономерная смысловая несовместимость, легко обнаруживаемая и в других языках.

По отношению к модальным глаголам близко родственной является форма футурума. Она занимает особое место внутри временных форм изъявительного наклонения (индикатива). Своеобразие футурума состоит в том, что данная форма фиксирует в языке мыслительный процесс опережающего отражения. Форма футурума, представляя не существующий в действительности процесс в качестве факта будущего, отражает сложнейшую интерпретирующую работу мысли. В психологии представление о событиях будущего является вероятностным прогнозированием на основании сведений, имеющихся в момент речи и связанных с личным опытом или с общим фондом знаний [31–32]. Процесс прогнозирования будущего на базе данных, присутствующих в сознании говорящего в момент речи, отчетливо отражается в основных моделях генезиса футурума.

Так, например, формы футурума в современных романских языках представляют собой результат утраты модальным глаголом своего лексического значения и превращения его в грамматический элемент синтетической или аналитической формы. Как известно, во французском, итальянском, испанском, каталанском и португальском языках флексии футурума восходят к личной форме глагола латинского *habēre* в значении долженствования; в балкано-романских языках вспомогательный глагол внутри аналитического футурума восходит к позднелатинскому воливному глаголу *volēre* (класс. *velle*); в сардинском языке вспомогательный глагол для футурума восходит к глаголам долженствования: либо *debere*, либо *habere*. В одном из диалектов ретороманского языка аналитическая форма футурума включает в качестве строевого элемента глагол, выражающий конечную точку движения, сопровождаемый предлогом *à* перед инфинитивом. Во всех случаях лексическая семантика глагола в личной форме (волидность, долженствование, достижение конечной точки движения) изначально указывала на способ осуществления действия, обозначенного инфинитивом, т.е. на фактор, способствующий связи нереализованного в момент речи действия (инфинитив) с действительностью.

При переходе от свободной синтаксической конструкции к грамматизованной (синтетической или аналитической) форме футурума, т.е. по мере утраты глаголом в личной форме своего лексического значения, стиралось представление о факторе, способствующем претворению нереализованного действия, обозначенного инфинитивом, в действительность. Таким путем происходило становление романского футурума, представляющего действие будущего как констатируемый, реальный элемент, в сущности, воображаемой действительности.

Как известно, статус футурума в ряде германских языков является предметом дискуссий. Так, например, многие склонны видеть в английских сочетаниях *shall* и *will* с инфинитивом не столько форму футурума, сколько модальную конструкцию. При этом указывается, в частности, что представление о будущем вообще неопределенно; что формально сочетания инфинитива с *shall* и *will* в значении будущего не отличаются ничем от сочетаний с другими модальными глаголами; что глаголы *shall* и *will* не сочетаются с инфинитивами модальных глаголов, т.е. не грамматикализировались

окончательно [33]. Не имея возможности ввиду ограниченного объема статьи обстоятельно анализировать эту концепцию, приведем убедительную аргументацию И.П. Ивановой в пользу трактовки *shall* и *will* как форматов чисто временной формы футурума.

Во-первых, в современном английском языке широко используется безударная форма *-ll*, обобщающая *shall* и *will* независимо от лица, что снимает вопрос о дистрибуции модальных глаголов. Во вторых, форма *-ll* не несет модального содержания, форма же *will* выражает модальность желания только если находится под ударением. Кроме того, сочетаемость данных глаголов с инфинитивами, обозначающими действия, несовместимые в определенной ситуации с желанием или долженствованием, доказывают десемантизацию *shall* и *will*. Например, *He will be murdered* или *It will rain* [34].

Поэтому представляется целесообразным признать существование омонимичных сочетаний *shall* и *will* с инфинитивом: конструкции косвенной модальности и аналитической формы футурума, входящей в состав прямой модальности индикатива.

Обращает на себя внимание тот факт, что в романских и германских языках модальные глаголы возможности не были использованы для образования футурума. В качестве гипотезы, нуждающейся в проверке на большом фактическом материале, предположим следующее объяснение. Глаголы возможности в меньшей мере предрасположены к образованию форм будущего времени, чем глаголы воли и долженствования, потому что наличие объективной возможности осуществления действия дает меньше гарантий его реализации, чем долженствование или воля. Это не исключает вероятности построения форм будущего на базе глаголов возможности, но, по-видимому, не способствует большой распространенности подобной модели футурума. Напротив того, в качестве средства выражения косвенной модальности, т.е. образования аналитических форм косвенных наклонений, в романских и германских языках используются глаголы возможности. Так, например, в латинском языке глагол *posse* "мочь", а в романских языках его непосредственные потомки, употребляясь в форме презенса конъюнктива и управляя инфинитивом, образуют аналитическую конструкцию оптатива-экстрасоциального пожелания [35]. Аналогичная картина наблюдается в германских языках [36].

Грамматизованным средством выражения будущего могут быть сочетания глагола становления или глагола пространственного перемещения с инфинитивом [37]. Ср., нем. *Ich werde sprechen*, англ. *I am going to speak*, франц. *Je vais parler*. В этих случаях фактором осуществления нереализованного в момент речи действия изначально являлось либо становление нового признака, либо целенаправленное перемещение субъекта в пространстве.

Показательны генетические связи латинского конъюнктива со средствами выражения будущего. Значение волесизъявления (первичная функция конъюнктива) в форме презенса конъюнктива имело различные оттенки в разных лицах. В зависимости от категории лица модифицировалась связь между субъектом речи, т.е. носителем эмоционально-волевого отношения к действию, и субъектом-исполнителем глагольного действия. Особенно важной в плане перехода от представления о будущем как о нереальном, желаемом событии к представлению о будущем как о реальности была категория 1 л. ед.ч. Ведь если говорящий намерен совершить действие, осуществление которого зависит только от него, то форма 1 л. ед.ч. презенса конъюнктива смыкается с представлением о будущем действии, реализация которого гарантирована, т.е. с грамматическим содержанием футурума. Вероятно, именно форма 1 л. ед.ч. способствовала "отпочкованию" от конъюнктива парадигмы футурума III и IV спряжений. Сохранившаяся формальное тождество для форм 1 л. ед.ч. III и IV спряжений презенса конъюнктива и футурума (лат. *legam, audiam*) вряд ли случайно⁶.

⁶ Генетическую связь индоевропейских конъюнктива и оптатива с формами будущего отмечают исследователи, по-разному оценивая ее [38-39].

Итак, в огромном большинстве случаев возникновение формы футурума сопряжено с переходом от иконического изображения будущего как вероятного и производного от некоторого фактора в настоящем (*должен, хочу, иду* и т.д.) к неиконическому отображению будущего как действия вне каких-либо зависимостей. Таким образом, форма футурума, генетически связанная с косвенной модальностью, по завершении процесса своего семантического и формального становления, переходит к "прямой" модальности, т.е. к индикативу, представляющему действие как непосредственно констатируемую реальность. Семантический компонент "способ связи нереального действия с действительностью" (воля, долженствование, целенаправленное движение, обусловленность) при этом полностью затухает. С помощью футурума говорящий представляет действие не как результат вероятностного прогнозирования, а как данность. ореол сомнения, который может окружать высказывания типа *Я завтра приду* или *Скоро будет дождь*, происходит от возможного варианта осмысления с позиций адресата речи, а не от мысли говорящего, выраженной грамматическим значением языковой формы. Именно потому, что форма футурума представляет действие как данность, распоряжение в футуруме более безапелляционно и бесцеремонно, чем приказ в императиве: ведь императив представляет зависимость реализации действия от побуждения исполнителя со стороны говорящего; между тем футурум отображает действие как реальность, при которой роль и инициатива исполнителя не учитываются.

На основании изложенного можно заключить следующее.

1. Принимая во внимание существование среди наклонений особой разновидности форм, превратившихся в синтагматически связанное языковое средство, в большинстве своих функций не выражающее отношения говорящего к характеру связи действия с действительностью, целесообразно расширить и вместе с тем уточнить дефиницию наклонений. По-видимому, адекватно отразить сущность категории наклонения, способной не только эксплицировать, но и завуалировать представление субъекта речи, могло бы следующее определение: наклонение – это система личных форм глагола, противопоставленных по принципу выраженности/невыраженности представления говорящего о способе связи действия с действительностью. Это первая крупнейшая оппозиция наклонений, наличествующая не во всех языках. Данная оппозиция, привативная по своему типу, возникает в результате длительного исторического развития и разветвленного функционирования косвенного наклонения в составе придаточных предложений. Косвенное наклонение может сохранить в ограниченном объеме некоторые из модальных функций. Есть основания полагать, что из всех романских языков французский в наибольшей степени развил амодальные функции конъюнктива; однако эта проблема заслуживает специального исследования.

2. Внутри системы личных форм, выражающих представление говорящего о характере связи действия с действительностью, вычленяются обычно два ряда форм. С одной стороны, формы, представляющие действие как нереальное, воображаемое и вместе с тем указывающие на фактор, способствующий воплощению этого действия в реальность. С другой стороны, это формы, представляющие действие как реальность и поэтому не указывающие на какие-либо иные факторы его осуществления. Противопоставление этих двух типов наклонений представляет собой более частное членение рассматриваемой категории.

3. Последнее членение наклонений представляет собой противопоставление косвенных наклонений друг другу. Оно основано на факторе связи нереального действия с действительностью, т.е. на положительном семантическом компоненте, которым отличаются косвенные наклонения, объединенные негативным семантическим компонентом нереальности. Чаще всего этим положительным семантическим компонентом являются волеитивность и гипотетическая обусловленность.

4. Категория наклонения включает иерархическую систему оппозиций, которая может быть трехступенчатой или двухступенчатой в зависимости от того, имеется ли в том или ином языке преимущественно связанное синтагматически наклонение.

5. Связь грамматического содержания косвенных наклонений с лексической семантикой модальных глаголов реализуется в синхронии, в то время как связь между семантикой модальных глаголов и косвенных наклонений, с одной стороны, и содержанием футурума, – с другой, относится к числу возможных диахронических взаимодействий.

6. Образование форм футурума в результате грамматизации конструкции "модальный глагол + инфинитив" или переосмысления формы косвенного наклонения свидетельствует о развитии и усложнении интерпретационного потенциала языковых средств, о движении в направлении неиконического отображения действительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грамматика современного русского литературного языка / Отв. ред. Н.Ю. Шведова. М., 1970. С. 355.
2. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского языка. Морфология и синтаксис частей речи. М., 1980. С. 177.
3. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. М., 1986. С. 200.
4. Реферовская Е.А. Наклонение // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 321.
5. Виноградов В.В. Русский язык. М., 1986. С. 472.
6. Бондарко В.А. Реальность/ирреальность и потенциальность // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / Отв. ред. А.В. Бондарко. Л., 1990. С. 73–74.
7. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988. С. 204–207.
8. Guillaume G. Temps et verbe. Paris, 1929.
9. Schogt H. Temps et verbe de Gustave Guillaume trente-cinq ans après sa parution // La Linguistique. 1965. N 1. P. 55–74.
10. Сабанеева М.К. К проблеме наклонения в связи с лингвистической концепцией Г. Гийома // ФН. 1979. № 2.
11. Сабанеева М.К. Проблемы развития наклонений: от латинского языка к современному французскому: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1981. С. 2, 17–21.
12. Сабанеева М.К. Функциональный анализ наклонений в современном французском языке. Л., 1984. С. 17–20, 58–59, 96.
13. Сильницкий Г.Г. Функционально-коммуникативные типы наклонений и их темпоральные характеристики // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / Отв. ред. А.В. Бондарко. Л., 1990. С. 98–100, 109–110.
14. Koschmieder E. Primäre und Sekundäre Funktionen // Die Welt der Slaven, 1962. Jg. 7. Hf. 4.
15. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972. С. 32.
16. Бондарко А.В. О некоторых аспектах анализа грамматических явлений // Функциональный анализ грамматических категорий. Л., 1973. С. 21–22.
17. Гак В.Г. О функциональном подходе к изучению грамматических явлений // Ин. яз. в высшей школе. М., 1974. Вып. 8.
18. Гаджиева Н.Э. Азербайджанский язык // Языки народов СССР. Т.2. Тюркские языки / Отв. ред. Н. А. Баскаков. М., 1966. С. 78–79.
19. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора. Язык и мышление. М., 1988. С. 23–33.
20. Бондарко А.В. Реальность/ирреальность и потенциальность // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990. С. 72.
21. Brugmann K., Delbrück B. Vergleichende Syntax der Indogermanischen Sprachen, Bd. 4, Fl. 2, Strassburg, 1897. S. 401.
22. Bréal M. Essai de sémantique. Paris, 1924. P. 208–209.
23. Meillet A., Vendryes J. Traité de grammaire comparée des langues classiques. Paris, 1948. P. 654–656.
24. Серебренников Б.А. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974. С. 203.
25. Щербак А.М. О происхождении форм условного наклонения в тюркских языках // СТ. 1976. № 2.
26. Андронов М.С. Дравидийские языки. И., 1965. С. 68.
27. Меццианов И.И. Глагол. Л., 1982. С. 38–89.
28. Сабанеева М.К. Модальность высказывания // Французский язык в свете теории речевого общения / Отв. ред. Т.А. Репина. С.-Петербург, 1992.
29. Сабанеева М.К. "Скрытая" грамматика глагольного наклонения // Исследования по романской филологии. Серия "Древняя и Новая Романия". Вып. 2. Л., 1978. С. 79–88.
30. Сабанеева М.К. Генезис косвенных наклонений французского глагола. Л., 1981.
31. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Временная организация нервно-психической деятельности человека // Фактор времени в функциональной организации деятельности живых систем. Л., 1980.

32. *Отмахова Н.А.* Функциональная асимметрия мозга человека и проблема возникновения нового знания. Пуцдино, 1984. С. 11.
33. *Слюсарева Н.А.* Проблемы функциональной морфологии современного английского языка. М., 1986. С. 70–74.
34. *Иванова И.П., Бурлакова В.В., Поченцов Г.Г.* Теоретическая грамматика английского языка. М., 1981. С. 56.
35. *Sechehaye A.* Essai de classement des espèces de phrases et quelques observations sur les trois cas hypothétiques en latin // BSLP, 1933–1934. V. XXXV. N 104. P. 69.
36. *Ермолаева Л.С.* Типология развития системы наклонений// Историко-типологическая морфология германских языков. Категория глагола / Отв. ред. В.Н. Ярцева. М., 1977. С. 278.
37. *Серебрянников Б.А.* Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
38. *Gonda J.* The character of the Indo-European moods. With especial regard to Greek and Sanskrit. Wiesbaden, 1956. P. 51–52.
39. *Hahn E.A.* Subjunctive and optative; their origin as futures. New York. 1964. P. 152.

© 1994 г. Р.И. РОЗИНА

**ОБЪЕКТ, СРЕДСТВО И ЦЕЛЬ В СЕМАНТИКЕ ГЛАГОЛОВ
ПОЛНОГО ОХВАТА**

Данная статья – вторая, посвященная семантическому классу глаголов полного охвата (*наполнять, покрывать, увешивать, усыпать* и др.)¹, замысел которой возник в ходе работы над их описанием в рамках экспертной системы "Лексикограф"². В первой статье [1] мы показали, как из лексической семантики этих глаголов могут быть выведены такие особенности их языкового поведения, как характерная для них регулярная многозначность "действие – процесс – состояние" и определенные синонимические трансформации. В предлагаемой читателю статье речь пойдет о том, как лексическая семантика этих глаголов позволяет обосновать некоторые особенности их поверхностного поведения – в частности, о том, как актанты Объект и Средство влияют на их синтаксическую сочетаемость, а такие компоненты значения, как Цель и Оценка – на значение их аспектуальных форм.

1. ОБЪЕКТ

**Представление актантов в поверхностно-синтаксической структуре.
Метонимические отношения между актантами**

Хотя глаголы полного охвата всегда представляют Объект как "полностью охваченный действием" (ср. *закрывать кастрюлю крышкой, покрывать стол скатертью*) [1], реально физическому воздействию подвергается не весь предмет, а какая-то его часть (соответственно, отверстие кастрюли и крышка стола). В связи с этим возникает интересная задача. Дело в том, что в поверхностной структуре предложения иногда указывается и имя части (детали) предмета, к которой непосредственно приложено действие (на которой разворачивается процесс и которая "полностью охвачена" состоянием), и имя предмета (целого), частью которого она является [см. пример (1)], а иногда, несмотря на то, что в роли семантического Объекта глагола выступает имя части, прямым дополнением глагола является имя целого предмета, причем имя части не упоминается [см. пример (2)]:

- (1) Матрос закрыл *отверстие* [часть] *люка* [целое] *крышкой* (действие);
Снег постепенно залепляет *стекла* [часть] *вагона* [целое] (процесс);
Золотой шнур увивает *древко* [часть] *копья* [целое] (состояние).
- (2) Пуаро заткнул *бутылку пробкой* (=горлышко бутылки);

¹ Термин "полный охват" в русистике иногда употребляется по отношению к глаголам другого семантического класса (*перестирать все белье, перебрать всю посуду, обзвонить всех знакомых* и т.п.). Обоснование названия глаголов типа *наполнить* глаголами полного охвата см. в [1].

² В разработке проекта, которым руководит Е.В. Падучева, автор принимает участие наряду с Г.И. Кустовой, Е.В. Рахилиной, М.В. Фитипенко, Н.М. Якубовой и Т.Е. Янко. В 1993 г. работа получала финансовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. Вся проблематика, материал и текст данной статьи были в деталях обсуждены с Е.В. Падучевой, которой автор глубоко признателен. Автор выражает благодарность также Г.И. Кустовой за шодотворную критику, существенные замечания и поправки.

Крышка плотно закрывает *кастрюлю* (=отверстие кастрюли).

Возникает вопрос, чем определяется выбор способа "отражения" семантических актантов в поверхностной структуре.

а) **Возможность метонимического преобразования.**

Деталь и предмет связаны отношением смежности, как *горлышко* и *бутылка*, *крышка* и *шкатулка* и т.п. Поэтому может быть сказано:

заткнуть горлышко бутылки пробкой! заткнуть бутылку пробкой;
залить крышку шкатулки чернилами! залить шкатулку чернилами.

Здесь замена части на целое является обычным случаем метонимического переноса.

Но метонимическое преобразование такого рода возможно не всегда, ср.:

закрывать дверь дома = закрыть дом, но

закрывать окно дома ≠ закрыть дом;

залить щель в лодке смолой = залить лодку смолой, но

*заткнуть щель в лодке тряпкой! *заткнуть лодку тряпкой.*

Возможность метонимической замены целого на часть при поверхностном "отражении" семантического Объекта определяется тремя противопоставлениями:

1) "органическая" vs "случайная" часть (деталь) Объекта;

2) "центральная" vs "периферийная" часть;

3) "локализованное" vs "нелокализованное" воздействие.

Если речь идет о детали, которая присуща предмету изначально, т.е. является "по природе" его неотъемлемой частью (*дверь, окно, ножки, крышка*), замена имени части на имя целого предмета возможна тогда, когда эта деталь является существенной – главной или, во всяком случае, не периферийной частью предмета, ср.:

покрыть крышку стола лаком = покрыть стол лаком, но

покрыть ножки стола лаком ≠ покрыть стол лаком.

Если же речь идет о случайно приобретенной, неингерентной детали, т.е. о дефекте (*щель, дырка, трещина, пробоина* и под.), метонимический перенос возможен только в том случае, если воздействие не ограничено строго данной деталью (*заткнуть*), но распространяется за ее пределы (*залить*).

Различная "трактовка" частей целого имеет, как кажется, естественное семантическое объяснение. Строго локализованное воздействие на случайно возникшую, обычно нежелательную деталь, нарушающую нормальное функционирование предмета, воспринимается как воздействие, направленное только на эту деталь и не затрагивающее предмета в целом. Как правило, цель и результат действия в этом случае – ликвидация этой детали, сопровождающаяся восстановлением нормального функционирования самого предмета. Внимание говорящего при этом направлено на деталь, имя которой в результате помещается в фокус предложения, получая роль одного из центральных актантов, а именно объектного. Имя целого, вытесненное на периферию "кадра" или вообще за его пределы, получает роль нецентрального актанга – сирконстанта и, если оно уже известно из предыдущего контекста, может быть опущено по общему правилу вычеркивания повторов в тексте, ср.:

Я поднял глаза и увидел огромную щель в стене. К вечеру мне удалось заткнуть щель по всей длине паклей. Так же воспринимается воздействие на органически присущую предмету, но периферийную деталь: оно тоже трактуется как затрагивающее только эту деталь, но не весь предмет в целом; результат воздействия – изменение этой детали (*покрыть ножки стола лаком*) или прекращение ее функционирования (временное) (*закрывать окно*).

Воздействие же на органически присущую предмету существенную деталь трактуется как воздействие на весь предмет в целом. Его результатом может быть прекращение функционирования предмета (*заткнуть горлышко бутылки – заткнуть бутылку; закрыть дверь дома – закрыть дом*). В поле внимания говорящего при этом – весь предмет в целом, на фоне которого деталь "теряется"; имя предмета

помещается в фокус и становится Объектом глагола, а имя части опускается³. Так же трактуется языком воздействие на случайную деталь, которое выходит за ее границы: его результат воспринимается как обработка предмета, его изменение в целом, что тоже заставляет поместить в фокус сам предмет и опустить имя детали⁴.

б) Лексические ограничения.

Замена части или детали на целое в поверхностно-синтаксическом оформлении семантического Объекта может быть вызвана тем, что имя имеет только предмет, но не деталь, к которой прилагается действие. Например, не имеет названия отверстие кастрюли, и поэтому говорится *закрывать кастрюлю*; отверстие уха имеет только терминологическое название "*слуховой проход*", и поэтому говорится *заткнуть ухо ватой*, хотя точкой приложения является 'проход'. Нет названия у горизонтальной поверхности дивана и у 'прохода' трубы, и поэтому можно сказать только *накрыть диван пледом*; *забить трубу тряпками*.

Типы семантических Объектов

Объектом глаголов полного охвата могут быть следующие типы частей/деталей:

– внешняя поверхность, которая при этом может быть выделенной, как *крышка стола*, или невыделенной, как поверхности цилиндрических или шарообразных предметов, например, как внешние стенки кастрюли, поверхность тела человека и под;

– внутренняя поверхность, например, внутренняя поверхность купе, ср. *обтянуть стены и потолок купе/купе кожей* или гнезда, ср. *устелить гнездо пухом*;

– отверстие, ср. *закрывать дверь комнаты/комнату*;

– проход, ср. *заткнуть дымоход*, т.е. "проход дымохода", *подушкой*;

– внутренний объем, ср. *наполнить чашу*, т.е. 'полость' чаши *вином* (как правило, такая деталь, как 'внутренний объем' выступает в сочетании с 'внутренней поверхностью');

– ближайшее к объекту пространство, т.е. окрестность Объекта (которая трактуется языком как неотделимая от Объекта, принадлежащая ему, ср. *Войска окружают крепость* – располагаются по периметру пространства, прилегающего к крепости⁵; *загородить здание* – поместить преграду на участке пространства, примыкающего к зданию и под.).

В качестве целых, которым принадлежат эти детали, могут выступать:

– цельный физический предмет,

– вместитель, т.е. физический предмет, имеющий внутренний объем (или полость) и отверстие, служащее либо входом, либо выходом;

– масса (целое, не имеющее частей, хотя между отдельными частицами массы есть проходы, что оказывается существенным для интерпретации некоторых ситуаций).

Помимо перечисленных, в качестве целых могут выступать и части (детали) из приведенного выше перечня, если они достаточно значимы или велики, чтобы восприниматься как независимые сущности (или, наоборот, если 'целое' так велико, что не может быть охвачено взором человека. Так, такая 'поверхность', как *поле* рассматривается не как часть целого – *земли*, а как независимый объект, либо потому, что *поле*

³ Это, по-видимому, лишь один из способов выражения существенного для языка противопоставления центральных частей – периферийным. Ср. с указанием А. Вежибицкой о том, что воздействие на "периферийные" органы человека описывается конструкцией с дательным Субъекта (*сломав себе палец*), чего не допускает описание воздействия на "основные" органы (*сломав ногу*) [2].

⁴ Представляется, что именно таким образом можно интерпретировать метонимическую замену имени части на целое для ряда, приведенного в [3], включающего глаголы различных семантических классов с регулярной полисемией "обрабатывать определенным способом – ликвидировать этим способом": *латать (рубашу – дыру)*, *штопать (носки – дырки)*, *залить (калоши – дыру)*, *запаять (чайник – дыру)* и под. с имплицативным преобразованием *запаять дырку (щель) в чайнике* – *запаять чайник*; *защитить прореху в мешке* – *защитить мешок*.

⁵ Ср. также трактовку участка, на котором находится X, как части X-а в толковании слова *забор* [4].

достаточно велико и значимо, либо потому, что *земля* чрезмерно велика, чтобы соотноситься с *полем* как целое с частью; как целое может рассматриваться *люк* – достаточно большое ‘отверстие’ с крышкой, например, на палубе корабля, имеющее функцию входа; в качестве целых могут рассматриваться полости – такие, как *ямы*, *овраги* или *котлованы* – и проходы – такие, как *туннели*, *коридоры*, *ущелья*. Таким образом, ‘части’ и ‘целые’ образуют пересекающиеся классы.

В то же время, при достаточной сложности ‘частей’, у них могут, в свою очередь, выделяться детали (части), на которые оказывается воздействие. Так, у отверстия есть край и проем, что существенно для толкования значений ряда глаголов полного охвата, ср.:

закрывать кастрюлю крышкой: создать контакт Средства (*крышки*) с краями и проемом отверстия Объекта (*кастрюли*).

У внутренней поверхности вместилища может быть дно и стенки, у прохода – стенки, внутренний объем, два отверстия⁶, попеременно служащие входом и выходом, поперечник.

При этом воздействие может распространяться на весь Объект, т.е. быть сплошным (например, покрытие поверхности, ср. *залить улицу асфальтом*, или заполнение промежутков массы другой массой, ср. *пропитать корж сиропом*), затрагивать отдельный участок или точку Объекта (*украсить платье бантом*; *приколоть бабочку булавкой*) или проходить по линии (*стянуть талию поясом*).

Возможность различных сочетаний области воздействия, деталей первого и второго порядка (т.е. деталей деталей, там, где они есть) и ‘целых’ создает множество Объектов глаголов полного охвата. Так, Объектом могут быть линия краев отверстия, его проем, стенки и часть внутреннего объема прохода сплошь (*заткнуть ухо ватой*); стенки прохода по линии сечения и часть поперечника (*перегородить улицу грузовиками*); внутренняя поверхность и объем вместилища сплошь (*наполнить ванну водой*); внешняя выделенная поверхность физического предмета по линии краев (*обрамить зеркало фотографиями*) и под.

Разнообразие Объектов возникает при этом не только за счет возможности сочетаний разных составляющих их сущностей, но и за счет возможности умножения одинаковых сущностей. Так, Объектом глагола полного охвата может быть не одна, а множество точек поверхности физического предмета (*утыкать подушечку иголками*; *усыпать сцену цветами*); множество участков внутренней поверхности и части объема вместилища (*установить комнату книжными шкапами*); не одна, а две внешних выделенных поверхности (*прослоить коржи кремом*); две точки на внутренней поверхности (*распереть крышу балкой*); воздействие может проходить по множеству линий (*увить колонну цветами*) и т.д.

Приводить полный список Объектов глаголов рассматриваемого класса мы не будем, так как он может быть исчислен, исходя из возможных сочетаний всех перечисленных выше “примитивных” компонентов, из которых складывается каждый Объект.

Попытаемся теперь понять, что это за Объекты – в частности составляют ли они какой-то особый класс по сравнению с Объектами других глаголов физического действия⁷.

⁶ Правомерность выделения такой детали, как края отверстия, подтверждается тем, что она используется Э.М. Малиной при толковании существительного *пробка* [5].

⁷ Интересно, что ряд Объектов этого класса совпадает с именами, перечисленными А.К. Жолковским в связи с анализом категории контакта в поэзии Бориса Пастернака. Области приложения контакта у Пастернака – “окно”, “оконный проем”, “форточка” – отверстия, через которые (изнутри наружу и снаружи внутрь) проникают “воздух”, “звуки”, “люди”; “окно”, “оконное стекло” – просвет, через который проникают “зрительные впечатления” и “лучи света”; “оконные стекла” и “рамы” – поверхности, обращенные наружу и допускающие “приникание”, “озарение”, “оставление следа” [6].

Особенность Объектов данного списка – в том, что все они осмысляются не как цельные, а как сложные, обязательно состоящие из частей, в число которых в большинстве случаев входят "пустоты", охватываемые действиями: внутренние объемы, 'проемы' отверстий, 'поперечники' (сечения) проходов, расстояния между точками и плоскостями, окрестности предметов. Даже массы, если они становятся Объектами глаголов полного охвата, осмысляются как совокупности однородных частиц, между которыми есть проходы; и именно проходы "охватываются" такими действиями, процессами и состояниями, как *пропитать (вату спиртом)*, *насытить (Клевер насыщает почву азотом)*, *засорять (Мелкие камушки засоряют пшено)* – вещество или масса, проникающие в массу, заполняют промежутки между ее частицами. Этим Объекты глаголов полного охвата отличаются от Объектов других глаголов физического воздействия (например, глаголов деформации), осмысляемых как цельные тела или массы, независимо от того, включают ли они "пустоты" с точки зрения геометрии физического мира (ср. *согнуть гвоздь/трубу; расплющить пулю/чашу; разрушить холм/здание, мешать кашу* и под.). В то же время такой семантический признак, как наличие "пустот" в качестве частей, характерен для другого класса глаголов физического действия – для глаголов движения и положения в пространстве, ср.:

перепрыгнуть яму (актантом является 'проем отверстия вместилища');
обойти овраг ('края отверстия вместилища');
вбежать в комнату ('внутренний объем вместилища');
идти по стене ('верхний край физического предмета');
обогнуть лужу ('окрестность внешней выделенной поверхности предмета');
лежать в яме ('внутренняя поверхность и объем вместилища').

При этом охват актантов движением аналогичен области воздействия, описываемого глаголами полного охвата: так, *перепрыгнуть* предполагает перемещение по линии между двумя точками; *обойти* – по линии периметра окрестности предмета и под. (нет аналогии лишь сплошному воздействию)⁸.

Но аналогия между актантами глаголов полного охвата и глаголов перемещения и положения в пространстве неполная.

1. Первое различие состоит в том, что не совпадают их синтаксические и семантические роли. Существительные, имеющие указанные семантические признаки и способные выполнять семантическую роль Объекта глагола полного охвата (и синтаксическую роль его прямого дополнения), при глаголах перемещения и положения в пространстве могут быть прямыми дополнениями (*обойти пруд*), косвенными дополнениями (*обойти вокруг пруда*) и обстоятельствами места (*упасть в яму, лежать в канаве*). Синтаксической роли косвенного дополнения и обстоятельства соответствует семантическая роль сирконстанта 'место'. Семантическая роль, которой соответствует прямое дополнение, может быть определена исходя из семантики его падежа – "винительного примыкающего" согласно А.М. Пешковскому, не имеющего значения объекта действия [8]; "слабо управляемого винительного" по Р. Якобсону [9], обозначающего "отрезок времени или пространства, который полностью охвачен действием (*жить год, идти версту*)"; по В.В. Виноградову – винительного места, несущего в своей семантике, как отмечает он вслед за А.В. Поповым, следы так называемого "винительного независимого", употреблявшегося в предшествующие периоды истории русского языка "для обозначения времени, места и их протяжений, меры вообще, образа" [10]. Само дополнение при этом имеет значение, близкое к адвербиальному. Можно было бы определить семантическую роль прямого дополнения глагола перемещения как Место; но в отличие от Места, роль которого выполняет косвенное дополнение, это не маршрут движения и не конечный его пункт, находящийся вне перспективы, а Место, охваченное действием, что находит выражение в употреблении

⁸ О концептуализации перемещения и положения в пространстве см. в работе Л. Талми [7].

винительного падежа и втянутости актанта, благодаря ему, в перспективу предложения, – т.е. Место, которое язык представляет как Объект (Место-Объект)⁹.

В статье [1] мы указывали, что Объект глаголов полного охвата по сути является конечным пунктом перемещения Средства, и поэтому правильнее считать роль прямого дополнения в таких конструкциях, как *покрыть диван пледом, снег покрывает землю* и под. Объектом-Местом. Таким образом, роли сходных по своим семантическим признакам актантов глаголов полного охвата и глаголов перемещения близки, но не тождественны: Объекты-Места глаголов полного охвата соответствуют Местам-Объектам и Местам глаголов перемещения.

2. Второе различие связано с неполным совпадением типов существительных, являющихся Объектами глаголов полного контакта, и существительных, являющихся Местами-Объектами и Местами глаголов перемещения и положения в пространстве. Все Объекты глаголов полного охвата могут быть Местами-Объектами и Местами глаголов перемещения и положения в пространстве. Но не все Места могут быть Объектами глаголов полного охвата. Так, Объектом глагола полного охвата не может быть нижняя поверхность предмета: *покрыть дно шкафа лаком* можно только перевернув его, т.е. сделав нижнюю поверхность верхней. В то же время нижняя поверхность физического предмета может быть Местом глагола перемещения ср. *положить книгу под газету, лечь под одеяло*, или положения в пространстве, ср. *Ключ лежит под ковриком; лежать под одеялом* и под. Этому можно дать естественное семантическое объяснение: все действия (процессы, состояния), описываемые глаголами полного охвата обязательно наблюдаемы, а нижняя поверхность предметов, при нормальном положении вещей, недоступна для взора наблюдателя. Вторая "естественная причина" – в том, что многие глаголы рассматриваемого класса описывают естественные процессы полного охвата (*Туман заволакивает горы; Внешние воды заливают луга* и т.п.), а поскольку многие естественные процессы происходят под действием или, по крайней мере, с участием силы тяжести, они способны затрагивать предметы только сверху (эта идея была высказана Е.В. Падучевой).

Теперь можно сделать вывод о том, какой именно список может быть получен исчислением возможных сочетаний указанных признаков: это список Объектов, которые могут быть Местами, и список Мест, которые могут быть Объектами.

Сами глаголы полного охвата при этом предстают в качестве класса, переходного между глаголами перемещения и глаголами физического действия. Так же, как глаголы перемещения, глаголы полного охвата описывают действие 'охвата Объекта' движением (и, соответственно, глаголы полного охвата включают перемещение в качестве компонента толкования). Но в то время, как глаголы перемещения описывают движение Субъекта (*пройти лес*) или перемещение Субъектом Объекта (*передвинуть шкаф из одного конца комнаты в другой*), после завершения которых Место остается неизменным, глаголы полного охвата описывают перемещение Субъектом Средства (*Дети украшают елку игрушками*), сопровождающееся приобретением Средства контакта с Объектом. В результате, после завершения действия Средство остается на поверхности Объекта (в Объекте), а сам Объект меняется. В то же время эти изменения лишь поверхностные, легко устранимые, в отличие от необратимых изменений, возникающих в результате действий, описываемых многими глаголами физического воздействия.

⁹ А. Вежица указывает, что при некоторых условиях (заинтересованность говорящего, существенное изменение состояния Места или психологическая значимость) локативная группа повышается до статуса Объекта и, соответственно, имеет форму винительного падежа [11].

2. СРЕДСТВО

Для охвата каждого Объекта "подходит" свое Средство, как для *бутылки пробка*. Средствами глаголов полного охвата могут быть цельные физические предметы, в том числе артефакты, специально предназначенные для выполнения функций охвата Объектов определенного типа; совокупности однородных физических предметов; и вещества – недискретные субстанции, сыпучие, жидкие и вязкие. В некоторых случаях Средства создаются в процессе действия (в результате чего также возникают артефакты, предназначенные для охвата Объектов определенного типа), ср. *окружить крепость рвом* (и одновременно прорыть его), *загородить подступы к зданию баррикадами* (одновременно создав их из чего-либо), *отделить комнату от кухни перегородкой* (одновременно построив ее) и под.

Можно выделить следующие группы Средств:

1. 'Покрытия' – охватывают предмет по внешней верхней горизонтальной (+/- по боковым поверхностям): предметы из ткани (*плед, скатерть*) или пластичные, способные затвердевать массы (*асфальт, смола, сургуч* и под.)¹⁰.

2. 'Пояса' – охватывают предмет (или множество однородных предметов) по линии периметра внешней поверхности (+/- создают давление): длинные пластичные предметы – *пояс, шнурок, веревка, жгут* и под.

3. 'Крышки' – охватывают линии краев и заполняют поперечник отверстия вместилища: любые плоские твердые предметы – *крышка, доска, щит* и под.

4. 'Затычки' – охватывают края отверстия и внутреннюю поверхность стенок прохода и частично заполняют его объем (+/- создают давление на стенки): пластичные цельные предметы или кванты вещества – *пробка, вата, тряпка, пакля*.

5. 'Содержимые' – охватывают внутреннюю поверхность вместилища и заполняют его внутренний объем (+/- создают давление на стенки); любые вещества или массы однородных предметов.

6. 'Перегородки' – охватывают внутреннюю поверхность стенок прохода по периметру и заполняют его поперечник: твердые плоские предметы, в том числе созданные в процессе действия (*доска, стена*) или масса таких однородных предметов (*кирпичи, мешки с песком*).

7. 'Наполнители' – заполняют промежутки между частицами массы: любые массы или вещества, способные проникать в другие массы.

8. 'Ограды' – охватывают окрестность Объекта по периметру, создаются в процессе действия: *баррикады, забор, изгородь, ров*.

9. 'Кайма' – охватывает Объект по линии его края, создается в процессе действия: *зубцы стены, бахрома* шали или скатерти.

10. 'Перемычки' – заполняют пространство между противоположными точками на поверхностях двух Объектов (+/- создают давление): *мост, дорога, распорка, балка*.

11. 'Прослойки' – заполняют пространство между обращенными друг к другу поверхностями двух Объектов: любые массы или вещества (*крем, вата*).

12. 'Скрепы' – охватывают множество соприкасающихся Объектов, находясь на участках двух крайних поверхностей и создают давление: *прищепка, скрепка*.

Правомерность такой классификации Средств косвенно подтверждается тем, что она согласуется с классификацией предметных имен, разработанной Е.В. Рахилиной на других основаниях. Ср. у Е.В. Рахилиной класс имен, близких инструментам, но одновременно противопоставленный им по способности сочетаться со стативными предикатами – т.е. класс 'Средства', а в рамках этого класса такие подклассы, как 'скрепы', 'опоры', 'завязки' [12].

¹⁰ Каждый класс включает как специально созданные для выполнения определенной свойственной ему функции артефакты, так и "подручные средства", которые при необходимости могут использоваться в этой же функции.

3. ЦЕЛЬ

Субъект "охватывает" Объект Средством с определенной целью – иначе его действие было бы бессмысленным. Как у большинства глаголов физического действия, у глаголов полного охвата могут быть цели двух типов – "физические" и "идеальные" (ср. [13]).

Физическая цель глаголов этого класса – создать контакт Средства с Объектом. Эта цель достигнута, когда действие достигает своего пространственного предела, т.е. непосредственно в момент завершения действия.

Идеальная цель может быть достигнута одновременно с достижением физической цели и вследствие него. Данные глаголы могут выражать ряд различных идеальных целей:

1) Создать различные типы преград:

а) преграда для проникновения к Объекту: *забить*² (*окно досками*); *загородить*¹ (*подступы к зданию баррикадами/дверь шкафом*); *загородить*² (*лицо газетой*); *загородить*³ (*кого-либо собой*), *закамуфлировать* (*землянку зелеными ветками*); *закрыть*² (*лицо руками*); *закрыть*³ (*Каренин Анну собой*); *заслонить* (*глаза от света руками*); *огородить* (*дачу забором*); *окружить* (*крепость рвом*); *укрыть* (*ребенка одеялом*).

Предпосылкой создания преграды может быть (потенциальная) опасность, источник которой – живые существа, природные явления, которые могут оказывать вредные влияния на Объект (свет, ветер, жар), и взор человека, ср.: "Алексей Александрович видел, что она плакала и не могла удержать не только слез, но и рыданий, которые поднимали ее грудь. Алексей Александрович *загородил* ее собою, давая ей возможность оправиться." (Л. Толстой);

б) преграда для проникновения в Объект (вместилище) или выхода из него: *завалить* (вход в пещеру камнем); *закрыть* (*кастрюлю крышкой/дверь дома/дом*); *закупорить* (*бутылку пробкой*); *залить* (*горлышко бутылки сургучом*); *запереть* (*квартиру*); *заткнуть* (*бутылку пробкой*); *затянуть* (*кусек шнурком*); *стянуть* (*отверстие мешка веревкой*), ср.:

"Я выстроил из кирпичей халабудку для котенка. Притащил еду, а на ночь *закрывал* вход кирпичом" (В. Сидур);

в) преграда для продвижения из одной части объекта в другую: *отделить* (*часть комнаты перегородкой*); *перегородить* (*проезд машинами*); *перекрывать* (*улицу грузовиками*) [преграда для живых существ и транспорта]; *перетянуть* (*вену жгутом*); *преградить* (*дорогу*); *разделить* (*участок забором*); *стянуть* (*ногу раненого ремнем*) [преграда для крови]¹¹.

2) Улучшить внешний вид ("украсить") Объект: *закончить* (*шаль бахромой*); *обвить* (*древко копья золотым шнуром*); *обметать* (*платок красным шелком*); *обрамить* (*зеркало фотографиями*); *обтянуть* (*футляр тисненой кожей*); *оживить* (*платье белым воротничком*); *окаймить* (*вышивку орнаментом, белым воротничком*); *расцветить* (*ткань яркими узорами*); *украсить* (*елку игрушками/волосы красным цветком*); *унизать* (*елку бусами*).

3) Привести Объект в нормальное функциональное состояние: *залить* (*бак бензином*); *набить* (*подушку сеном*); *наполнить* (*бассейн водой*); *начинить* (*бомбу порохом*); *подпереть* (*изгородь жердью*).

4) Прекратить нормальное функционирование Объекта: *заткнуть* (*трубу*); *залить* (*костер водой*).

У ряда глаголов (*закрепить*, *заполнить*, *застелить*, *набить*, *наводнить*, *накрыть*,

¹¹ Глаголы преграды и глаголы украшения (см. ниже) составляют отдельные подклассы глаголов полного охвата. В частности многие глаголы преграды предполагают наличие движущегося Субъекта или периферийного участника ситуации, а глаголы украшения – наблюдателя, интерпретирующего ситуацию. Рамки данной статьи не позволяют нам рассмотреть толкования этих глаголов подробно.

обленить, окутать, опоясать, перетянуть, перехватить, покрыть, присоединить, связать, смазать, соединить, увешать, устелить, усыпать и др.) идеальная цель не встроена в значения, как в приводившихся выше примерах, но выводится только из контекста употребления. В этом случае можно говорить о прагматических целях действий. Как правило, для каждого такого глагола можно вывести несколько прагматических целей; но интересно, что перечень прагматических целей, которые потенциально может выражать глагол в соответствующем контексте, не выходит за рамки приведенного выше перечня идеальных целей, входящих в значения глаголов рассматриваемой группы. Так, прагматической целью действия, описываемого глаголом *накрыть* может быть создание препятствия для проникновения к Объекту живых существ, ср.: "Наряду с туманом над Курилами вьются вороны. Крупные, черные, остроклювые. Разом консервную жесть прошивают. И через маленькую дырочку вычищают банку лучше всякого моечного автомата. Не *накроешь* штабеля из ящиков с консервами брезентом – пищи пронало." ("НГ" 2.09.92); или создание препятствия для взора, ср. следующий отрывок из рассказа Ю. Карабчиевского о том, как его привозили для беседы в КГБ: «... У него на столе стопка журналов с моими публикациями, как я догадался. Причем, лежат именно "Грани", хотя я много публиковался и в других изданиях. Журналы были накрыты листочком бумаги, и я подумал... Может быть, я подумал потом, когда прошел страх: а зачем он их бумагой-то *накрыл*? Я все равно вижу, что это такое. Но понимаете, таков их стиль работы: нужна была какая-то полутайна, какая-то напряженка.» (Ю. Карабчиевский. Когда пришли новые времена... "НГ" 8.09.92).

Кроме того, у действия, описываемого этим глаголом может быть прагматическая цель 'украсить Объект', как в контексте *Мать накрыла стол праздничной скатертью*.

Эти прагматические цели могут сочетаться: стол накрывают скатертью (клеенкой) для того, чтобы создать преграду для вредных воздействий влаги и жара, для взора и одновременно чтобы украсить его.

Перечень прагматических целей из того же круга выводится для глаголов *залить* и *усыпать*: дорожку усыпают гравием/улицу заливают асфальтом для того, чтобы создать преграду для вредного воздействия дождя или давления, которое оказывают шаги пешеходов и движение транспорта; чтобы обеспечить нормальное функционирование дорожки или улицы; и, возможно, чтобы украсить их.

Сочетание прагматических целей 'создать преграду' и 'украсить', т.е. концептуализация защитного слоя на поверхности объекта одновременно как украшения, возможно и в семантике других глаголов за пределами рассматриваемого класса:

*одеть*¹²

1. "Физическая" цель: поместить одежду на поверхность тела человека;
2. Прагматические цели: создать преграду для вредных воздействий на тело человека жара, холода, ветра и под. и для взора и украсить тело человека.

покрасить

1. "Физическая" цель: поместить массу на поверхность [краску] (жидкую, способную твердеть);
2. Прагматические цели: создать преграду для вредных воздействий на Объект и для взора и украсить Объект.

Такое сочетание целей в семантике глаголов отражает, по-видимому, универсалию деятельности человека – преграду одновременно используют как украшение: (ковер, скатерть, одежда; узорные ограды и решетки и т.д.) или сочетают с украшением (щит, защищающий человека, так же, как ножны, защищающие меч или кинжал, покрывают узором).

¹² Глагол *одеть*, так же, как *покрасить*, содержит, в отличие от *покрыть* и под., точное указание на характер средства и поэтому не относится к глаголам полного охвата (см. [1, с. 9]).

4. ОЦЕНКА

На любой из актантов глаголов контакта может навешиваться оценка [отрицательная]. Оценка оказывает на семантику глагола воздействие, которое определяется тем, какова ее сфера действия.

1. "Плохой" объект. В качестве "плохого" обычно выступает нечто неуместное для данной ситуации, "неподходящее" (огонь, когда он ненужен и представляет собой опасность), несвойственное предмету по его природе – как например, приобретенная в результате разрушения деталь (дырка, щель, пробойна в борту корабля), нарушающая функционирование предмета).

Если действие – ликвидация "плохого" объекта (*залить огонь*) или "плохой" детали объекта с одновременным восстановлением нормального функционирования предмета (*заткнуть дыру/щель/пробойну; закрыть пролом в стене щипцом* и т.п.), то результат действия "хороший".

2. "Плохое" средство. В качестве "плохого" выступает средство, не подходящее к данному объекту (вода – на полу ванной; чернила или вино – на скатерти; пепел – на одежде), или в данной ситуации (опилки на полу, если их туда не собирались поместить намеренно). "Плохое" средство предопределяет "плохой" результат действия: контакт такого средства с объектом наносит ущерб объекту (*залить скатерть вином/стол чернилами/пол зеленкой; усыпать пиджак пеплом* и т.п.) и автоматически вычеркивает компоненты "цель" и "контроль" в значении лексемы: действие превращается в происшествие. С точки зрения языка, действовать плохим средством намеренно нельзя: такое действие может произойти только помимо воли субъекта. Этот семантический сдвиг имеет аспектуальное последствие: глаголы действия превращаются в глаголы происшествия, а у глаголов происшествия НСВ не имеют актуально-длительной интерпретации, ср.:

*Что ты делаешь? – *Я заливаю стол вином.*

Актуально-длительная интерпретация НСВ требует в этом случае особого контекста речевого акта, например, она возможна в контексте речевого акта упрека (см. [13]), ср.:

Смотри, что ты делаешь, ты же усыпаешь стол крошками!

В качестве "плохого" выступает также средство, которого – объективно или с точки зрения говорящего – "слишком много"; в этом случае также невозможна актуально-длительная интерпретация НСВ, ср. *загромоздить комнату шкапами, запрудить улицу, заставить все полки книгами, захламить квартиру своими вещами, усеять тротуар окурками*. Появление длительного вида в интерпретации действия наблюдателем – в вопросе или в упреке – как бы переводит его из плоскости неконтролируемых в плоскость контролируемых там, где это возможно, — т.е. там, где неконтролируемое действие имеет какую-то временную протяженность: нельзя сказать "Ты заливаешь скатерть вином" человеку, который уже залил ее, т.е. о моментальном неконтролируемом действии; в то же время можно сказать "Смотри, ты усыпаешь себя пеплом", если неконтролируемое действие сопровождается другим, контролируемым действием субъекта, описываемое длительным видом глагола "Курит и усыпает всего себя пеплом" (ср. [14]).

*

Глаголы контакта – одна из групп слов, функция которых, помимо прочих, – передача культурного знания. Эти глаголы хранят информацию о структурировании мира данной культурой (например, существенное для русского языка разграничение поверхностей и отверстий с краями, проявляющееся в существовании глаголов *покрыть* и *накрыть* в отличие от английского *cover*, для которого это противопоставление несущественно); моделируют действия, указывая их универсальные цели, и передают этические нормы культуры, запрещая оформление как целенаправленных тех действий, которые оцениваются как опасные или вредные.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Падучева Е.В., Розина Р.И.* Семантический класс глаголов полного охвата: толкование и лексико-синтаксические свойства // ВЯ. 1993. № 6.
2. *Wierzbicka A.* Semantics of grammar. Amsterdam, 1988. С. 171.
3. *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. М., 1976. С. 206.
4. *Рахилина Е.В.* Словарная статья существительного ЗАБОР // Семиотика и информатика. Вып. 132. М., 1991. С. 154.
5. *Малина З.М.* Словарная статья существительного ПРОБКА // Семиотика и информатика. Вып. 132. С. 146.
6. *Жолковский А.К.* О трех важных принципах семиотического описания // Семиотика и информатика. М., 1978. С. 11–12.
7. *Talmy L.* How language structures space // Spatial orientation: theory, research and application. Berkeley, 1983.
8. *Пешиковский А.М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1914. С. 161.
9. *Якобсон Р.* К общему учению о падеже // Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985. С. 140.
10. *Виноградов В.В.* Русский язык. Изд. 3-е. М., 1986. С. 146.
11. *Wierzbicka A.* The case for surface case. Ann Arbor, 1980. P. 73, 75, 80.
12. *Красильщик С.И., Рахилина Е.В.* Предметные имена в системе "Лексикограф" // НТИ/ВИНИТИ. Сер. 2. М., 1992. № 9. С. 27.
13. *Апресян Ю.Д.* Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке // Русистика сегодня. М., 1988. С. 69–70.
14. *Падучева Е.В.* Таксономическая категория глаголов imperfectiva tantum в русском языке // НТИ/ВИНИТИ. Сер. 2. М., 1993. № 3.

© 1994 г. В.Г. ГУЗЕВ

К ВОПРОСУ О СЛОГОВОМ ХАРАКТЕРЕ ТЮРКСКОГО РУНИЧЕСКОГО ПИСЬМА

В публикациях о древнетюркской руноподобной письменности (ДТРП), появившихся в последние десятилетия, с растущей уверенностью отстаивается гипотеза о её иноязычном происхождении [1–8]. Общее впечатление от этих публикаций: отдельные загадки тюркской руники пока остаются нерешенными, и ряд фактов может быть интерпретирован иначе; исследователи отдают предпочтение анализу внешней формы письма, которая, как известно, в большей мере, чем внутренняя форма, подвержена воздействию разного рода факторов (начиная от характера письменных средств, кончая контактами с инородными культурами) и потому более изменчива; практически не используются возможности фонологической и грамматологической теорий.

Автор настоящей заметки абсолютно солидарен с О. Прицаком в том, что более точно должен быть определен характер ДТРП [6, с. 83], т.е., иными словами, необходимо уточнить представление о её внутренней форме. Однако утверждение этого автора, что В. Томсен, как и все исследователи, полагал, будто он имеет дело с буквенным письмом, представляется излишне категоричным. Напомним слова самого В. Томсена: "Обилие отдельных знаков сразу делает вероятным предположение, что загадочное письмо это не есть обыкновенный алфавит с определенным знаком для каждого отдельного звука, а что оно должно быть или письмом слоговым, или по крайней мере таким, в котором знаки для одного и того же звука в известных пределах разнообразятся, смотря по различным условиям, в которых этот звук находится" (перевод В.Р. Розена) [9, с. 327].

Одна из загадок тюркского рунического письма связана с той, пожалуй, самой броской его особенностью, которую Е.Д. Поливанов назвал "консонантным дуализмом" [10]. Одиннадцать пар знаков для десяти с о г л а с н ы х фонем (девять – для фонем: /b/, /d/, /g/, /j/, /l/, /n/, /r/, /s/, /t/ и две пары – для согласной /k/) отчетливо отражают действие нёбной гармонии г л а с н ы х в языке, которым написаны памятники, поскольку одни члены пар используются в начертаниях исключительно заднерядных, другие – переднерядных слов, словоформ и формантов.

Если вспомнить, что согласная /k/ иногда передается в надписях еще одним (пятым) знаком ("uk"), встречающимся в заднерядных графических словах, а один из двух знаков для /č/ ("ič") используется в начертаниях переднерядных слов, то придется признать, что в количественном отношении такой полноты консонантной репрезентации функционирования нёбной гармонии гласных, как в ДТРП, не обеспечивала ни одна из письменностей, которыми когда-либо пользовались тюрки, а письменность современных турок (созданная, подчеркнем, самими носителями одного из тюркских языков) вообще никак не отражает гармонию гласных посредством согласных.

Именно консонантный дуализм стал одним из факторов, которые привели Е.Д. Поливанова к мнению, что древнетюркский рунический алфавит был создан т ю р к а м и. Он писал: "Помимо "этимологий букв" за это решающим образом говорит положенный в основу алфавита сингармонистический принцип" [10, с. 179].

Древнетюркский консонантный дуализм представляет большой интерес с фонологической точки зрения. Лингвальными дифференциальными признаками в тюркских языках, как правило, обладают г л а с н ы е. Именно гласная начального слога (при этом она нередко оказывается анлаутной) обуславливает сингармонистический ряд всех единиц (фонем), составляющих слово или словоформу. Н.С. Трубецкой писал: "Так как согласный *j* не имеет палатализованных или веляризованных разновидностей, а многие слова состоят только из гласного и *j* (*aj* "месяц", *aji* "медведь" и т.д.), то гласные могут иметь определенный тембровый признак и независимо от окружающих согласных, тогда как согласные палатализируются или веляризируются лишь в сочетании с гласными ... Таким образом, противоположения по тембровому признаку у гласных являются фонематическими, тогда как палатализованные и веляризованные разновидности согласных являются лишь комбинационными вариантами ..." [11].

Вместе с тем, именно Н.С. Трубецким было впервые сформулировано положение, согласно которому носитель языка нормально стремится к отражению на письме ф о н е м, а варианты фонем, т.е. единицы субфонемного уровня, индивидом не осознаются [12]. Это положение находится в полном соответствии с идущим от И.А. Бодуэна де Куртенэ пониманием фонемы как "фонетического представления" [13], т.е. как абстракции, складывающейся в индивидуальной языковой системе носителя на базе какого-либо конкретного класса действующих в речи функционально эквивалентных минимальных звуковых сегментов (фонем) [См.: 14].

В свете изложенного приходится констатировать, что с фонологической точки зрения явление консонантного дуализма содержит в себе два очевидных противоречия:

1. Если создатели письма были тюрками, то для манифестации палатальной гармонии гласных они и должны были опираться на г л а с н ы е своего языка. Однако в надписях налицо типичная консонантная гиперграфия (отражение на письме единиц субфонемного уровня, т.е. аллофонов согласных), имеющая следствием громоздкую аллографию (использование более одного знака для передачи одной фонемы [15]). И это явление имеет место вопреки тому, что для согласных фонем признаки палатализованности // веляризованности не могли быть фонологически релевантными.

2. А если допускать, что письмо создавалось н е т ю р к а м и (ибо только иноязычный человек мог воспринимать различие между велярными и палатальными аллофонами согласных), то вызывает недоумение наличие парных знаков для // (которая, как явствует из приведенных слов Н.С. Трубецкого, не может иметь соответствующих аллофонов).

Решение загадки, как представляется, подсказывается, с одной стороны, тем, что В. Томсен, как уже было сказано выше, исходя из большого количества (38) знаков, допускал, что он имеет дело не с обыкновенным алфавитным письмом (нормальное количество знаков около 30), а с с л о г о в ы м, с другой, — тем, что мы знаем о вокалических знаках в ДТРИ.

Напомним, что первыми знаками, которые В. Томсену удалось выделить в первую очередь, были буквы для гласных: } (*ju*, *lo*), † (*ju*, *li*), N (*jöl*, *lül*); позже была установлена буква √ (*ja*, *äl*) [9, с. 332–334]. Помимо этого енисейский вариант руники, который, как теперь признается, ничуть не старше орхонского, имел еще один вокалический знак — ѧ для *ä*/ или *é*/ [16]¹. При этом только вокалические знаки могли "то писаться, то опускаться" (В. Томсен), а знак √ употреблялся почти исключительно в конце слов.

¹ Доводы В. Томсена в пользу того, что знак ѧ в енисейских надписях был средством передачи узкой гласной *é*/, представляются вполне корректными в рамках приводимого им материала. В его статье фигурируют только примеры, в которых этот знак передает гласную начального слога (принято считать, что узкая *é*/ возможна только в первом слоге). Однако зарегистрированный исследователями случай употребления этого знака во втором слоге в словоформе *tübäm* (E-46) "мой верблюд" (см.: [17]) позволяет допускать, что он был способен передавать как *é*/, так и *ä*/.

Во-первых, само наличие "вокалических" знаков и их количество (4 + 1) вполне согласуется с предположением о слоговом характере рунического письма (поскольку именно гласные являются слогаобразующими элементами). Во-вторых, состав этих знаков, точнее, их фонематическое содержание: *o/u*, *ö/ü*, *y/i*, *a/ä*, *l/ä*, *l/é* – свидетельствует о том, что они в некоторой мере отражали лингвальные признаки передававшихся ими гласных фонем или слогов.

Если разрабатывать дальше гипотезу о слоговом характере ДТРП, то естественно допускать, что не только знаки для гласных, но и упомянутые знаки для десяти согласных фонем тоже могли быть (по крайней мере, когда-либо в прошлом) силлабограммами. "Консонантные" знаки в таком случае должны истолковываться как (может быть, бывшие) репрезентанты 22-х слогов какого-либо собственно тюркского типа. Тот факт, что "вокалический" знак для *a/ä* в абсолютном начале графического слова почти всегда отсутствует и обязательно наличествует в конце начертания слова, привел О. Прицака, как представляется, к совершенно правильному выводу: это должен был быть тип ГС (гласный плюс согласный) [6, с. 85–86]².

В силу большой морфонологической значимости нёбной гармонии гласных каждая силлабограмма, конечно же, должна была передавать лингвальные признаки гласных, но только в составе слога в целом (отдельные вокалические знаки сначала могли попросту отсутствовать). Значит, 22 знака, о которых идет речь, на одном из этапов эволюции ДТРП вполне могли иметь следующие значения: *ab* (ʒ), *äb* (q), *ad* (ʒ), *äd* (X), *aγ* (ʃ), *äg* (ε), *aj* (ʃ), *äj* (ʃ), *aq* (ʃ), *äk* (ʃ), *oqluq* (↓), *ök/ük* (ʃ), *al* (ʃ), *äl* (ʃ), *an* (ʃ), *än* (ʃ), *ar* (ʃ), *är* (ʃ), *as* (ʃ), *äs* (ʃ), *at* (ʃ), *ät* (ʃ). К этому перечню необходимо добавить еще слоги: *yq* (ʃ) и *ič* (ʃ) [6, с. 86, 95].

Гипотеза о слоговом характере ДТРП, впервые высказанная самим В. Томсенем и вторично предложенная О. Прицаком, совершенно снимает те сформулированные выше противоречия, которые вскрывает фонологический анализ явления консонантного дуализма: если консонантные знаки на каком-то этапе развития письменности репрезентировали слоги, в составе которых, естественно, находились гласные, то проявление лингвальных признаков последних в самом наборе и в функциональных особенностях этих гласных должно восприниматься как совершенно нормальное.

Отметим, что морфонологические свойства тюркских языков как будто бы благоприятны для формирования слогового письма. В них имеет место регулярное чередование согласных и гласных фонем в составе слов и словоформ, преобладают короткие односложные слова и морфемы (что, кстати, благоприятно и для словесно-слоговой системы письма), редки и весьма ограничены стечения согласных фонем, почти не бывает стечения гласных [Ср.: 20, с. 10–11]. Множество корней действительно имеет структуру ГС (наряду с корнями типа Г, ГСС, СГ, СГС и СГСС), которая могла лечь в основу первоначальной структуры значений (означаемых) большинства силлабограмм.

Еще одна загадка древнетюркской руники заключается в омографии, наблюдающейся при передаче переднерядной гласной */ä/* (или */é/* – В. Томсен), с одной стороны, и палатализованного аллофона согласной */b/*, с другой. В таблицах № 1 (продолжение) и № 6 Д.Д. Васильева легко обнаруживаются общие аллографы: *ǰ, ǰ, ǰ* [21], которые, согласно распространенному мнению, восходят к одному знаку – *ǰ(äb)*. Эта омография может объясняться следующим образом: если ДТРП проходила как слоговой, так и фонемный (буквенный) этапы эволюции, то при фонемизации знака со значением "äb", т.е. при расщеплении передававшегося им слога "äb" на два более

² По мнению О. Прицака, фрагмент, найденный в Тойоке (Турфан) в 1905 г. и изданный А. фон Ле Коком [18] свидетельствует в пользу этого вывода: в нем средствами манихейского алфавита передается фонетическое значение 19-ти тюркских рунических знаков. Тот же вывод на основе этого же документа был сделан – по-видимому, совершенно самостоятельно – Талатом Текином. Точка зрения последнего вызвала возражения О.Ф. Серткая [19].

коротких звуковых сегмента – фонему /ä/ и фонему /b/, бывшая силлабограмма неизбежно должна была оказаться пригодной для репрезентации каждой из этих фонем и, следовательно, переродиться сначала в две омонимичные фонемограммы (т.е. буквы), затем за счет имевшихся в наличии аллографов – в разные графемы.

Допустимо, что в данном случае рунология имеет дело с одним из путей возникновения рунических знаков: с превращением аллографов в графемы со своим фонематическим значением как с одним из составляющих процесса перехода от словового письма к буквенному.

Третья загадка тюркской руники – наличие в ней пяти знаков для передачи согласной фонемы /k/. О. Прицак и А. Рона–Таш солидарны в том, что столь большой набор аллографов следует объяснять повышенной частотностью употребления передаваемой ими согласной фонемы в тюркской речи [6, с. 91; 7, с. 12]. Однако такое объяснение едва ли имеет под собой какое-либо теоретическое основание. Знает ли грамматология подобную закономерную связь между частотностью реализаций фонемы и количеством знаков, которые передают ее на письме?

Более убедительным представляется то объяснение, которое дает аналогичному явлению в этрусском письме И.М. Дьяконов: "Особенно показательно при этом наличие тройки *c, k, q*; назывались эти буквы соответственно "*ke*", "*ka*", "*ky*" и различались в зависимости от того, какой гласный следовал за ними в тексте – *e, a* или *i* соответственно. Понятно, о чем может свидетельствовать это обстоятельство: о наличии древнего слогового письма, в котором *c* значило "*ke*", *k* значило "*ka*", а *q* значило "*ky*", так что не было необходимости писать еще и гласный: данный знак сам по себе передавал следование "согласный + гласный" [20, с. 13].

Приложение такого хода рассуждения к древнетюркскому руническому письму приводит к предположению, что пять знаков, о которых идет речь, на этапе слогового состояния письменности передавали слоги: 1) *ak*, 2) *äk*, 3) *okluk*, 4) *öklük*, 5) *yk*.

Четвертая загадка ДТРП – использование так называемых лигатур, т.е. знаков для консонантных кластеров (сочетаний согласных), о которых высказывались различные предположения, но чаще всего их объясняли как результат сращения двух графем (особенно в публикациях Османа Недима Туны) [6, с. 87; 7, с. 10, 12; 22].

Объяснение существования знаков для консонантных кластеров также может находиться в полном соответствии с гипотезой о слоговом характере ДТРП на одном из этапов ее эволюции. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что первым компонентом каждого из общепризнанных или предполагаемых кластеров, передаваемых якобы лигатурами, выступает сонант – *nt, lt, nč, rt*(?). Если вспомнить, что среди перечисленных выше типов тюркских слогов имеется модель со структурой ГСС и что первым в составе тюркского консонантного кластера может быть только спираント или сонант, то оказывается вполне допустимым, что и "лигатуры" являются не чем иным, как бывшими силлабограммами, передававшими слоги: *ant, alt, anč, art*(?).

Все, что было изложено в настоящей заметке, укрепляет идею о слоговом характере ДТРП. Правда, эта идея должна, как представляется, получить следующую более конкретную формулировку: в текстах тюркских рунических памятников обнаруживаются свидетельства того, что ДТРП в процессе эволюции проходила этап слогового состояния. К числу этих свидетельств относятся:

1. Явление консонантного дуэлизма, которое поддается объяснению как следствие того, что затронутые им 22 знака некогда были и в какой-то мере продолжали оставаться силлабограммами.

2. Наличие еще двух "консонантных" знаков ("yk", "ič"), функционирование которых

зависит от действия нёбной гармонии гласных и которые также допускают истолкование их в качестве настоящих или бывших силлабограмм.

3. Наличие пяти "вокалических" знаков, которые тоже могут трактоваться как силлабограммы.

4. Омографичность, наблюдаемая при передаче переднерядной гласной /ä/ и палатализованного аллофона согласной /b/, как возможное следствие перерождения силлабограммы, передававшей слог "äb", в две омонимичные фонемограммы.

5. Функционирование в надписях пяти знаков для согласной фонемы /k/, легко объяснимое в свете слоговой гипотезы.

6. Наличие знаков для 3-х или 4-х консонантных кластеров – вероятнее всего, последствие существования на этапе слогового состояния силлабограмм, репрезентировавших слоги типа ГСС.

7. Существование не только графем, представляющих слоги с широкими негубными гласными, но и таких, которые передают слоги с губными, а также с узкими негубными гласными.

8. Соответствие предполагаемых силлабограмм типологии тюркских слогов (ГС, ГСС).

9. Благоприятный характер морфонологических свойств тюркских языков для возможного формирования слоговой письменности.

В заключение необходимо отметить, что укрепление гипотезы о силлабичности тюркской руники на одном из этапов ее эволюции, наряду с наличием признаков перехода слогового состояния этой письменности в фонемное (буквенное), влечет за собой и упрочение гипотезы о ее автохтонности, в пользу которой автор настоящих строк имел возможность высказаться совместно с С.Г. Кляшторным в публикации, посвященной грамматологической и исторической проблематике происхождения ДТРП [23].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шербак А.М. Енисейские рунические надписи. К истории открытия и изучения // Тюркологический сборник 1970. М., 1970.
2. Clauson G. The origin of the Turkish "runic" alphabet // Acta Orientalia (Havniae) 1970. XXXII.
3. Аманжолов А.С. К генезису тюркских рун // ВЯ. 1978. № 2.
4. Ливищ В.А. Происхождение древнетюркской рунической письменности // СТ. 1978. № 4.
5. Сулейменов О. Грамматика буквы (К истории древнетюркского алфавита) // Изв. АН Каз. ССР. Сер. Филол. наук. 1978. № 2.
6. Pritsak O. Turkology and the comparative study of Altaic languages: the system of the Old Turkic runic script // Journal of Turkish Studies. Türklük Bilgisi Araştırmaları. 1980. V. 4.
7. Róna-Tas A. On the Development and Origin of the East Turkic "Runic" Script // Acta Orientalia Hungarica. 1987. T. 41(1).
8. Иванов Вяч.Вс. Тохары // Восточный Туркестан в древнем и раннем средневековьи. М., 1992. С. 29.
9. Томсен В. Дешифровка орхонских и енисейских надписей (перевод В. Розена) // ЗВО РАО. VIII. СПб., 1894.
10. Поливанов Е.Д. Идеографический мотив в формации орхонского алфавита // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. № 9. Ташкент, 1925. С. 179.
11. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М., 1960. С. 312, прим. 3.
12. Trubetzkoy N.S. Les systèmes phonologiques envisagés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec la structure générale de la langue // Actes du deuxième Congrès international de linguistes. Genève, 25–29 août 1931. P. 121–122.
13. Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963. С. 352.
14. Касевич В.Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.
15. Shorto H.L. The Interpretation of Archaic Writing Systems // Lingua. 1965. V. 14.
16. Thomsen V. Une lettre méconnue des inscriptions de l'énéssé // Samlede Afhandlinger. Tredje Bind. KØbenhavn, MCMXXII. P. 83–91.
17. Шербак А.М. Памятники рунического письма енисейских тюрков // НАА. 1964. № 4.

18. *Le Coq A.V.* Köktürkisches aus Turfan // Sitzungsberichte d. Königl. Preuss. Akademie d. Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. V. 41. B., 1909.
19. *Sertkaya O.F.* Kağıda Yazılı Göktürk Metinleri // III. Sovyet-Türk Kollokyumu "Göktürk Anıtları (Dil, Edebiyat, Sanat, Arkeoloji, Tarih, Kültür)". 8-15 Haziran 1990. Alma-Ata. Kazakistan SSR. İstanbul, 1990.
20. *Дьяконов И.М.* Предисловие // Фридрих И. История письма. М., 1979.
21. *Васильев Д.Д.* Графический фонд памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала. (Опыт систематизации). М., 1983. С. 96, 102-103.
22. *Tuna O.N.* Eski Doğ Türk Yazısında Kullanılan Ligatürler ve Bunlarla ilgili Bazı Meseleler hakkında // III. Sovjet-Türk Kollokyumu "Göktürk Yazıtları". Tebliğler. Malatya, 1990. S. 1-15.
23. *Гузев В.Г., Кляиторный С.Г.* Проблемы происхождения древнетюркской руники в свете общей теории письма. (К столетию дешифровки) // Вестн. СПбГУ. Сер. 2. 1993. Вып. 4 (№ 23). С. 57-62.

© 1994 г. Е.С. ЯКОВЛЕВА

ФРАГМЕНТ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ ВРЕМЕНИ

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Во всем многообразии исследований, посвященных изучению языковой картины мира, доминирующим можно считать противопоставление двух систем понятий – научных (используемых в физике, геометрии, логике, психологии и пр.), в совокупности образующих научную картину мира, и, так сказать, "наивных" (наивная физика, геометрия, логика), используемых человеком независимо от его знаний тех или других научных дисциплин и владения научной картиной мира (обзоры по этому вопросу см., например, в [1] и [2]). Идея о том, что "реконструкция наивной модели мира позволяет изменить стратегию описания языковых значений, сделать ее более общей и пронизательной" [1, с. 6] нашла свое практическое воплощение во многих работах.

Наряду с этой существует и другая, достаточно устойчивая, тенденция – трактовать значения языковых единиц (выражающих такие категории, как "время", "пространство"), опираясь на систему соответствующих научных понятий. И это объяснимо, ведь современный человек даже в повседневной практике оперирует научным понятием пространства ("трехмерная пустота"), времени (последовательность точек на временной оси) и под. Можно даже сказать, что в модели мира современного человека граница между наивной и научной картинами мира стала менее отчетливой.

Поскольку в настоящей статье речь пойдет о некоторых моделях времени, свойственных русскому языковому сознанию, вопрос о большей/меньшей значимости той или другой картины мира решается в аспекте языковой релевантности, а именно: что влияет на наше языковое поведение, что определяет выбор языковых единиц, обозначающих время, – естественно-научные знания или "наивные", обиходные представления и понятия?

Материалом для анализа нам послужит группа близких по смыслу слов – *минута, секунда, миг, мгновение, момент*.

Согласно словарям (БАС; МАС; ДАЛЬ; Ожегов), *минута* и *секунда* во 2-ом значении, а также слова *момент, миг, мгновение* описывают короткий промежуток времени (по В.И. Далю, *миг* и *мгновение* – это время однократного мигания, *секунда* [3]). Именно в этом типе употребления, когда рассматриваемые слова как будто бы синонимичны, целесообразно провести сравнение между ними.

В самом деле, большинство из перечисленных слов могут употребляться в тождественных ситуациях. Ср.: *И мысли в голове волнуются в отваге, // И рифмы легкие навстречу им бегут, // И пальцы гремят к перу, перо к бумаге, // Минута – и стихи свободно потекут* (А. Пушкин) и *Переходят радужные краски, // Раздражая око светом ложным; // Миг еще... и нет волшебной сказки // И душа опять полна возможным* (А. Фет).

На первый взгляд, лишь слово *момент* существенно выделяется из рассматриваемой группы. У него словари усматривают два значения: "1. *Миг, мгновение*, короткое время, в которое что-то происходит". Это значение иллюстрируется примерами: *Сделать в один момент; Благоприятный момент; Данный момент*. "2. *Обстоятельство, отдельная сторона какого-нибудь явления. Отрицательный момент*" [4].

Как видим, второе значение не является собственно временным. Однако и в первом, временном, значении "короткого промежутка времени" *момент* существенно отличается по возможностям употребления от своих словарных синонимов. Так, можно сказать: *(на) краткий миг* и нельзя: **(на) краткий момент*; можно: *за миг* и нельзя: ** за момент*; можно: *Еще бы мгновение – и мы пропали бы* и нельзя: **Еще бы момент и ...*

В ряду же оставшихся слов – *миг, мгновение, минута, секунда* – разница в употреблении обнаруживается при рассмотрении текстов разной функционально-стилистической принадлежности. Так, для газетного интервью странно употребление слова *миг* или *мгновение* вместо *минуты*, в таком, скажем, контексте: *Чтобы пояснить это утверждение, вернемся на минуту к самым истокам* (Ю. Афанасьев). В повседневной речи кратковременность некоторых действий описывается, как правило, с помощью слов *минута* и *секунда*. Например: *зашел/вышел на минуту; подожди секунду* и под. Между тем поэтический контекст может при соответствующем описании пересиливать и "семантический здравый смысл", т.е. оправдывать заведомо некорректное употребление, ср.: *С любимыми не расставайтесь! // Всей кровью прорастайте в них. // И каждый раз навек прощайтесь, // Когда ух о д и т е н а м и г* (А. Кочетков).

В поэтическом языке (и шире – языке художественного, образного описания) можно наблюдать некий "пересчет времени" – *минуты* и *секунды* (конвенциональные показатели кратковременности) перекодируются в *миги* и *мгновения* (присущие индивидуальному стилю авторской речи). Ср.: *Не нужно портить ему последние минуты и Отравлены его последние мгновенья // Коварным шепотом насмешили всех невежд...* (М. Лермонтов); *Я думаю, что сочтены не только его часы, но и минуты и Что изменнику блаженства звуки? // Миги жизни сочтены...* (А. Блок); *С каждой минутой ему становилось все хуже и Неумолимые слова... // Окаменела Иудея, // И с каждым мигом тяжелая, // Его поникла голова* (О. Мандельштам).

Как кажется, тяготение рассматриваемых слов к тому или иному функциональному стилю определяется их семантикой: каждый из показателей кратковременности по-своему передает восприятие и переживание времени субъектом речи.

З а м е ч а н и е. "Переживание времени" подразумевает не простую констатацию длительности каких-либо временных единиц (*минут, секунд, мгновений*), но оценку – эмоциональную, рациональную и пр. – событий, заполняющих соответствующие временные промежутки. Иными словами, мы исходим из предположения, что временные интервалы мыслятся носителями языка не в виде безликого отрезка числовой оси той или иной длительности, а как нечто семантизированное: время проходит под знаком тех или иных событий, и движение времени – это череда событий. Соответственно, и точки отсчета ("фиксаторы времени") с этого момента, в это мгновение определяются через значимые для говорящего события.

Здесь уместно вспомнить о бергсоновском противопоставлении времени, с которым имеют дело точные науки, и "которое сводится к числу", психологическому времени (реальной длительности, "видимый количественный характер которой есть в действительности качество и которую нельзя сократить ни на одну минуту, не изменяя природы фактов, заполняющих эту длительность") [5].

Наблюдение за употреблением показывает, что каждое слово подразумевает свой круг кратковременных явлений: мы говорим *минута* (но не *момент*) *тоски; поворотный момент*, но не **поворотная минута*; о *минутах* и *секундах* можно сказать, что они *свободны* или *заняты* (ср. некорректность сочетаний **свободный миг; *свободное мгновение*). Иными словами, в реальном употреблении показатели кратковременности заметно идиоматизировались, обросли дополнительными смысловыми коннотациями (в меньшей степени этот процесс затронул слово *секунда*).

Проведенный анализ позволил предположить, что специфика употребления каждого из показателей кратковременности и возможность "вычитать" из соответствующих контекстов какие-то дополнительные смыслы связаны с тем, что в интуиции носителей русского языка содержится представление о разных системах (моделях) времени и рассматриваемые нами показатели кратковременности представляют собой атомарные (далее неделимые) единицы соответствующих временных систем. (Даже *минута*, как

будет видно из дальнейшего изложения, является целостной единицей особого времени; *секунда* же лишь отчасти передает специфику этого времени и поэтому к анализу привлекается эпизодически). Таким образом, выбор конкретного слова для описания той или иной ситуации определяется тем, с какой моделью времени говорящий соотносит то, что он описывает. *Миги* и *мгновения* передают особое, эмоционально насыщенное мироощущение говорящего. Сверхкраткость в семантике этих слов как бы сгущает и уплотняет само время, повышая ценность каждой его "частицы". Как следствие, в сферу описания данных слов попадают значимые для говорящего, раритетные события. *Минуты* и *секунды* связаны с бытовым временем. *Минуты* также тяготеют к описанию эмоциональной сферы, внутреннего мира субъекта, но это, так сказать, повседневные эмоции и настроения. *Момент* является показателем рационального, аналитического восприятия времени. В отличие от *минуты*, *момент* концентрирует внимание не на эмоциях человека, его внутреннем мире, а на внешних атрибутах – тех обстоятельствах, в которых субъект находится.

Нашу задачу мы видим в том, чтобы через выявление механизма употребления показателей кратковременности описать модели восприятия времени, содержащиеся в интуиции носителей русского языка и определяющие их языковую стратегию.

Языковой моделью времени мы будем называть зафиксированную в языке (в значении временных показателей) общую интерпретацию событий на выделенном (и базовом для модели) временном интервале. Во всех трех моделях базовым является элементарный ("атомарный") временной интервал, формирующийся смыслом "кратковременность"; интерпретации же событий на нем различны. Совокупность моделей, по-разному интерпретирующих содержание кратчайшего временного интервала, образует законченный фрагмент русской языковой картины времени.

Выявление языковых моделей времени осуществлялось нами поэтапно – через последовательное сопоставление слов *минута/момент* (см. п. 2) и *минута/мгновение, миг* (см. п. 3). В заключение приводится итоговая картина восприятия и описания времени в терминах трех различных систем (моделей времени).

2. МИНУТА VS МОМЕНТ

1. Конкретность *минуты* и "условность" *момента*.

Как известно, помимо субъективного значения "короткого промежутка времени", *минута* имеет и вполне объективное значение 1/60 часа. *Момент* же допускает только субъективную интерпретацию: короткого/очень короткого промежутка времени (см. МАС; БАС; Ожегов). Это обстоятельство существенно влияет на употребление рассматриваемых слов.

Поскольку *минута* – в 1-ом, исконном, значении – является некоей единицей часа, в сознании носителей языка "минута наступления события" в любом случае может связываться с конкретным суточным временем, т.е. *минута* так или иначе апеллирует к каким-то человеческим "срокам". *Момент* же, не принадлежа к общепринятым единицам измерения времени, является неким условным квантом времени вообще, как такового. В частности, поэтому *момент* свободен от ассоциаций с какими-либо "сроками". Так, в следующих высказываниях мы не употребим "конкретных" *минут*, поскольку время наступления события никак не фиксировано: *К моменту его возвращения все должно быть готово; Иванушка совершенно изменился за то время, что прошло с момента гибели Берлиоза* (М. Булгаков). В сознании человека ассоциация с "часами" неминуемо проецирует описываемое на какую-то конкретную плоскость. Ср. разный смысловой потенциал сочетаний *момент признания* и *минута признания*: первое описывает некую условную, умоглядную ситуацию (*Момент признания всегда очень труден; Нужно дождаться момента признания*); второе соотносится с конкретной, реальной ситуацией (*Эта минута признания мне запомнится надолго*).

"Условность" *момента* позволяет ему описывать время, абстрагированное от конкретных физических единиц измерения, например, аспектологическое, историческое, ср.: *Начало действия* = 'момент времени, в который началось (действие...)' (М. Гловинская).

Конкретность *минуты* и абстрактность *момента* ставят их выбор в зависимость от масштаба описываемых событий.

2. Фактор продолжительности, конкретной локализованности временного промежутка.

Сравним два примера: *В минуты духовного подъема человек способен на многое и Национализм и мессианизм соприкасаются и смешиваются. Национализм в своем положительном утверждении, в моменты исключительного духовного подъема, переливается в мессианизм* (Н. Бердяев). Очевидно, что во втором случае время не поддается описанию в терминах "минут". Это объясняется тем, что здесь нет проекции на какую-либо временную ось того, что описывается. Такой "временной осью" для *минуты* может быть жизнь человека. В самом деле, в жизни человека возможны как *трудные минуты*, так и *трудные моменты*, а в жизни социума – только *трудные моменты*.

Минуты не могут выйти за пределы "частного существования" в силу априорной заданности своей величины. *Момент* же, не имея конкретной величины, обладает соотносительным масштабом, поэтому он приложим к самому широкому кругу явлений. При отсутствии указаний на конкретную временную локализацию события выбор показателя "условного" кванта времени закономерен, так как всякий раз осмысление конкретной величины описываемого временного промежутка осуществляется в соответствии с масштабом событий, о которых идет речь¹, ср.: *Резкие изменения в системе научных и технических представлений общества происходят в истории человеческой культуры часто. Однако наступают моменты, когда эти перемены получают столь всеохватывающий характер, что следствием их становится перемена всей общественной жизни людей* (Ю. Лотман).

Расплывчатость *момента* и конкретность *минуты* обуславливают и разницу в смысловом потенциале фраз *в данный момент/в данную минуту*, ср.: *В данный момент Иван сидит в тюрьме/находится во Франции/болен/гастролирует по стране* (здесь некорректно использование слова *минута*, поскольку промежуток времени достаточно длителен и описываемое положение дел не поддается быстрому изменению), и *В данную минуту Иван спит/сидит в библиотеке/готовит обед*. Можно сказать, что *минута* в подобных контекстах конкретно-референтна – она вовлекает в сферу описания и самого говорящего с его "временем произнесения высказывания"; *момент* же позволяет абстрагироваться от конкретного говорящего, его пространственно-временных координат, списывая некое "условное настоящее". В подтверждение приведем пример из доклада А.Ф. Лосева, опубликованного позже в качестве статьи [7]: [Сейчас пока еще трудно выполнить эту задачу] *Но в настоящую минуту этого и не нужно делать...* Использование *минуты* в данном случае свидетельствует об исходном у с т н о м характере текста. В статье же нивелировка конкретных пространственно-временных координат автора требует употребления слова *момент* при соответствующем описании.

Таким образом, *момент* может обладать сколь угодно большой временной протяженностью. Употребление этого слова оправдано в том случае, когда описываемая ситуация мыслится говорящим как э п и з о д (т.е. в сознании говорящего временной

¹ М.В. Всеволодова относит *момент* к словам, "конкретное значение которых выявляется в контексте" [6]. По этому признаку *момент* противопоставляется ею словам *миг* и *мгновение* (описывающим заведомо короткие промежутки времени) и *эре*, *эпосе* (обозначающим продолжительные временные интервалы) (там же)

промежуток *момента* существует на глобальном временном фоне). Например: *Мы переживаем своеобразный критический момент. Но затяжным он не будет. Все решится в течение месяца* (Ю. Афанасьев).

Связь *минуты* с человеком, его "временной осью", и независимость от этого фактора *момента* позволяет с помощью данных слов выразить целый спектр дополнительных значений.

3. Время душевных переживаний (*минута*)/время стечения обстоятельств (*момент*).

Анализ материала позволяет заметить, что часто *момент* делает акцент на событиях, которые имеют место в описываемый отрезок времени, а *минута* относится, скорее, к настроениям субъекта, его душевным состояниям, переживаемым в указанное время. Ср. два примера из "Второй книги" Н.Я. Мандельштам: *Видно, и он... не выдержал и в минуту тоски проболтался любимой женщине, что не верит газетам и Восстание было первым лучом в карьере Вышинского – он готовил восстание, а в нужный момент предал.*

Употребляясь в сходных контекстных условиях, *минута* и *момент* будут описывать отнюдь не одно и то же, ср.: *В такие минуты (≠ моменты) я зову его на помощь. Минуты* подразумевают здесь скорее какие-то эмоциональные состояния (тоска, одиночество и под.); *моменты* же указывают на ситуативные трудности и конфликты, например, "я" не могу решить задачу, "мне" не с кем оставить ребенка, у "меня" нет денег и т.д.²

Соотнесенность *момента* с внешним миром событий и ситуаций, а *минуты* – с внутренним миром эмоций и настроений определяет и потенциальный набор эпитетов у каждого из слов: *поворотный, любопытный, важный... момент/скорбная, светлая, чудная... минута* [8].

Вследствие этой соотнесенности у каждого из слов и свои предикаты: *минута* может *накатывать, налетать, захватывать, приходить, проходить*, т.е. действовать как нечто самостоятельное, не зависящее от воли субъекта; *момент* – как знак стечения обстоятельств – не *проходит* и не *приходит*, поскольку он описывает не планируемые (контролируемые, "режиссируемые") события, а естественный (спонтанный) ход вещей. Для *момента* наиболее подходящим является нейтральный глагол *наступать*, например: *Но вот наступает момент: необходимо появиться в печати* (А. Твардовский). Несмотря на свою "спонтанность", аналитичный *момент* не может *случаться*, как это бывает с *минутами* эмоций и переживаний, ср.: *Случались минуты (темные минуты), когда выйти на балкон боялся* (Р. Киреев).

Интересно, что семантику *минут* унаследовал и квантификатор *минутами*, описывающий непродолжительные, спорадически возникающие внутренние состояния субъекта, не зависящие от его воли. Проиллюстрируем релевантность перечисленных нами условий.

Можно сказать: *Минутами меня тянуло туда* и нельзя: **Минутами я собирался туда пойти*, так как речь идет о контролируемом положении дел. Нельзя сказать: **Минутами я падал/присаживался отдохнуть/поскальзывался*, поскольку это не внутренние состояния. Фразы типа *Минутами выглядывало солнце* сомнительны, поскольку речь не о субъекте. (В подобных случаях более естественно употребление другого квантификатора – *временами*, – либо форм типа *на минуту, ненадолго*).

Обращенность *момента* вовне и "интровертность" *минуты* предопределяют их различное смысловое содержание в контексте предиката *помнить*, ср.: *Сицилия – место*

² Если эмоциональные состояния имеют место на неопределенном отрезке времени, то предпочтение для их описания отдается *моменту*, ср.: *В какой-то момент мне было очень одиноко, но потом я привык.*

моего сближения с Асей; помнятся лишь моменты его; душная декабрьская ночь; Ася протянута из окошка в теплые порывы ветра; за лапами расхлестанной зелени – вспыхли молнии... (А. Белый) ... И далее перечисляется еще ряд в н е ш н и х впечатлений-картин. Минута же в сфере действия предиката *помнить* будет сообщать не о запомнившихся событиях, а о пережитых эмоциях, ср.: *Скандалов я не переносила, но забыть этой минуты не могу и сейчас* (Н. Мандельштам). Это – об ощущениях оскорбленной, задетой женщины.

Становится понятным, почему *момент* можно *забыть*, о нем можно *напомнить*, а *минута* (переживания) существует, куда помнится. Странно сказать: *Я забыл эту минуту, напомни мне о ней*.

В каких-то случаях *минуте* может свидетельствовать о верности субъекта самому себе, а *моменту* – говорит, скорее, о зависимости субъекта от внешних обстоятельств. Ср. два примера (первый не нуждается в комментариях): *Примеры – к тому, чтобы стало ясно, до чего я был тенденциозен: "Все для момента"*. А "*момент*" – нанести больнее удар "врагу", подрывавшему символизм (А. Белый). Замечателен в указанном смысле второй пример – из В. Розанова о Ф.М. Достоевском, где описывается настроенность "душевных часов" писателя, которая определяется не внешними условиями, а собственным "эмоциональным попаданием" в ситуацию: *Религиозный вопрос затем [после "Преступления и наказания"] уже не исчезает в произведениях Достоевского: в каждом романе он касается его, но так, что мы живо чувствуем, как он только откладывает его до м и н у т ы, к о г д а в с и л а х б у д е т сделать это без внешних помех, неторопливо и свободно. Наконец, м и н у т а эта настала, и появились "Братья Карамазовы"*.

Акцентирующий внимание на стечении обстоятельств, *момент* может быть удобным, удачным, неподходящим, благоприятным. Например: *Телеграмма потрясла Максимилиана Андреевича. Это был момент, который упустить было бы грешно. Деловые люди знают, что такие моменты не повторяются* (М. Булгаков). По-видимому, именно способность к описанию событийных рядов обуславливает появление у *момента* 2-го – не временного – значения "обстоятельства", "аспекта" (его отмечают все толковые словари). Приведем несколько примеров, в которых *момент* практически лишен временной семантики: *Острое ощущение победы над страхом – очень существенный момент средневекового смеха* (М. Бахтин); *Я записывал на бумажку основные моменты его рассказа, которые и передаю здесь* (С. Голицын); *Осложняющим моментом в украинском вопросе явилось развитие украинского движения за пределами России – в Галиции* (В. Вернадский).

До сих пор при сравнении слов *минута* и *момент* мы апеллировали к качественному аспекту времени – как вместилища событий, разной значимости и масштаба. Именно в этом случае смысловые эффекты, сопровождающие выбор того или иного слова, позволяют выявить конституенты разных моделей времени. Поскольку различия смысловых потенциалов рассматриваемых слов в данном случае являются следствием их идиоматизации, из анализа выпал такой показатель кратковременности, как *секунда*: она не сопоставима с *минутой* по тем параметрам, которые проанализированы. Если же речь заходит о количественном аспекте времени, *секунда* становится полноценным членом в ряду показателей кратковременности.

4. *Минута, секунда, момент* в применении к считаему времени.

В отличие от всех слов рассматриваемой группы, *момент* не способен быть единицей счета, измерения времени. Покажем это на примерах: *Дональд на секунду повернул голову и посмотрел Андрею в лицо* (Стругацкие); *Я смеялась над ней... Она иногда на минуту обижалась, а потом смеялась вместе со мной* (Н. Мандельштам). Ср. некорректность выражения *на *момент*. Еще примеры: *Чрез секунду на улице*

выскочил Николай Аполлонович... (А. Белый) (при невозможности *через момент); Если бы бригадир встретился с Колчерукиим минутой позже... он бы не стал с ним так долго разговаривать (Ф. Искандер) (плохо: *моментом позже); Ни на минуту я не придавала ни малейшего значения тому, что происходило со мной (Н. Мандельштам) (нельзя: *ни на момент); Куда ни поеду, а к ней заверну, // Чтоб вместе побыть хоть минутку (Л. Трефолев) (плохо: *хоть момент).

Указанные особенности характеризуют слово *момент* именно в русском языке. Возможности, скажем, английского *moment* несколько шире, ср.: *It was all over in a few moments. Please wait a moment* (примеры из [9, с. 41]). Употребление слова *момент* как единицы счета времени в русском языке возможно, пожалуй, лишь в устойчивом сочетании *сделать (что-либо) в (один) момент (to do smth. in a moment)*³.

Минуты и *секунды* легко передают динамику времени: *Секунды ползли, как часы; бегут минуты...* *Моменты* же описывают промежутки времени безотносительно к характеру их протекания, акцент в данном случае делается на событийном содержании этих, как бы статичных, фрагментов. Ср. выражения: *схвачен/запечатлен момент*.

То, что течение времени не воспринимается нами в *моментах*, может иметь двоякое объяснение. С одной стороны, длительность *момента* носителями русского языка определяется весьма произвольно, она субъективна и всецело зависит от масштаба того, что описывается. По-видимому, можно сделать и более сильное утверждение: в русском языке *момент* обладает слабой семантикой "количества". С другой стороны, в отличие от остальных рассматриваемых нами слов, *момент* не является собственно временным показателем⁴ (по-видимому, поэтому можно сказать *момент времени* и плохо *'минута/секунда времени*). В сознании носителей русского языка *момент* неразрывно связан с событийным содержанием описываемого временного промежутка, он как бы "фиксирует" то или иное положение дел.

Поскольку *момент* способен описывать и реально весьма продолжительные временные интервалы (так, Н.А. Бердяев назвал время крушения античного мира и падения Рима "одним из катастрофических м о м е н т о в всемирной истории"), то один и тот же отрезок времени может трактоваться и как *момент*, и как *период*. Если мы определяем его как *момент*, то акцент делается на кратковременности (по сравнению с глобальным временным фоном) и, что не менее важно, на некоей целостности, однородности, неизменности ситуации. *Момент* проходит под знаком какого-то одного сочетания обстоятельств, он высвечивает какую-то одну характерную черту описываемого временного отрезка. *Период* же может быть вмещателем самых разнообразных событий, ситуаций, обстоятельств.

Поэтому можно сказать: *В этот период ситуация несколько раз менялась* и нельзя: **В этот момент ситуация несколько раз менялась*; можно: *Этот период отличается большим разнообразием событий* и плохо: **Этот момент...* По аналогичным причинам выражение *переходный период* корректно, а выражение **переходный момент* – нет. В отличие от *момента*, *период* может мыслиться как нечто "протекающее", обладающее внутренней динамикой, ср.: *в течение этого периода* при невозможности **в течение этого момента*; *весь этот период* / **весь этот момент*; *в продолжение этого периода* / **в продолжение этого момента...*

³ Из сказанного, в частности, следует, что широта использования слова *момент* может служить речевой характеристикой говорящего. Так, в "Записках Д'Арشناка" Л. Гроссмана *момент* обладает большими возможностями по сравнению с русской нормой, т.е. используется на французский манер, что отличает идиостиль рассказчика, ср.: *момент приближался, через момент и под*.

⁴ Лат. *momentum* (движущая сила, толчок) восходит к *movere* – двигаться (ср. *момент количества движения* в физике).

Итак, *момент* характеризуется:

- 1) неразрывной связью с событиями внешнего мира;
- 2) элизодичностью (реализация семантики "кратковременность");
- 3) соотносительным с описываемыми событиями временным масштабом (т.е. *момент* приложим к самому широкому кругу явлений: жизнь человека /общества/ природы; описание артефактов и пр.);
- 4) "фиксированностью", неизменностью описываемых обстоятельств (отсутствием внутренней динамики);
- 5) относительной свободой от идеи количественного (физического) времени: неспособностью быть единицей счета/измерения времени.

В сопоставлении с *моментом минута* характеризуется следующими особенностями:

- 1) принадлежность к единицам количественного (физического) времени определяет возможность счета, измерения, описания динамики времени в *минутах*;
- 2) связь с идеей "часов" проецирует описываемые *минутой* "сроки" на конкретную временную ось;
- 3) как правило, *минута* локализована на "оси" жизни отдельного человека; она "интровертна" – тяготеет к описанию внутренней жизни человека, его эмоций и настроений.

Перечисленные особенности слов *минута* и *момент* не охватывают их "союзного" употребления (оно выделяется, например, в [9, с. 42]) типа: *В тот момент/в ту минуту, когда я его увидел, раздался выстрел*. В подобных случаях временные показатели фиксируют некую точку на оси событий, и смысловые эффекты, связанные с выбором того или иного из них, минимальны.

3. МИНУТА, СЕКУНДА VS МГНОВЕНИЕ, МИГ⁵

1. Семантика "минутного" и "мгновенного".

Для прилагательного *мгновенный* словаря иногда выделяют такое значение, как "быстро проходящий" (см., например, [10]). В качестве иллюстрации дается пример из А.С. Пушкина: *Все мгновенно, все пройдет, // Что пройдет, то будет мило*. То есть *мгновенное* понимается как "преходящее". Как кажется, в этом значении данное слово теперь используется редко. Хотя отголоски такого понимания *мгновенного* слышны, в частности, и у О. Мандельштама, и у А. Блока. Например: *Немногие для вечности живут, // Но если ты мгновенным озабочен – // Твой жребий страшен и твой дом непрочен!* (О. Мандельштам).

Значение "быстро проходящего" (в частном случае, "преходящего") передает прилагательное *минутный*. Так, один из переводов этого слова в Русско-английском словаре – *transient* [11, с. 290]. А за *мгновенным* закрепилось значение "быстро протекающего", "быстро осуществляющегося". Ср. невозможность взаимной мены прилагательных *минутный* и *мгновенный* в следующих примерах: *Киев гражданской войны с его минутным карнавалом, трупами, которые вывозятся телегами, и трехдневным ограблением города...* (Н. Мандельштам) и *Аполлон Александрович Аблеухов бросил мгновенный растерянный взгляд на квартального надзирателя, на карету, на кучера* (А. Белый).

Из того, что *минутное* быстро проходит, а *мгновенное* быстро осуществляется, следует, в частности, то, что *мгновенное* может быть результа-

⁵ В рамках данной работы не рассматривался вопрос о семантических факторах, определяющих различие в употреблении слов *миг* и *мгновение* (ср. *миг кровавый*; *миг победы* при невозможности: **кровавое мгновение/мгновение победы*). Лишь отчасти эти различия связаны с дефектностью словоизменительной парадигмы у слова *миг* – определенной напряженностью при образовании некоторых падежных форм множественного числа.

тивным, а *минутное*, как правило, – нет, ср.: *мгновенный успех* и *минутный успех*. Можно сказать, что быстро проходящее не обязательно подразумевает быстроту осуществления, равно как и быстрота осуществления не означает того, что осуществившееся быстро пройдет, т.е. аннулируется его результат.

Здесь нужно оговориться. Во-первых, не всякое *минутное* преходяще (т.е. нерезультативно), ср.: *Минутная встреча /минутный разговор/ минутное дело*. В данных примерах речь идет о том, что события, которые определяются прилагательными, занимали мало времени, т.е. на первый план выступает собственно временная семантика *минуты*. С некоторой долей осторожности можно предположить, что нерезультативное (преходящее) *минутное* связано с эмоциональной сферой – *минутная радость /грусть/ усталость*, а нейтральное в смысле результата *минутное* описывает акциональную сферу кратковременных действий. Нужно сказать, что Русско-английский словарь реагирует на это различие, рекомендуя в одних случаях переводить прилагательное *минутный* как *transient* (*transient success*), а в других – как *brief* (*brief meeting*) [11].

Во-вторых, не всякое преходящее *минутно*. Для описания в терминах *минут* не безразличен фактор масштаба событий. Приведем два примера. И если в первом из них (Н. Мандельштам) соответствующая оценка возможна (хотя и носит печать авторского словоупотребления), то во втором (Е. Баратынский) она сомнительна: *Она тихонько рассказала мне подробности своего минутного романа с Мандельштамом* (Н. Мандельштам); *Вы улетели, сны золотые, // Минутной юности моей* (Е. Баратынский).

2. *Мгновение* и *миг* как показатели повышенной эмоциональной напряженности.

В 1 разделе уже говорилось, что для поэтической речи характерно описание времени в *мгновениях* и *мигах*, а не *секундах* и *минутах*. Примеры: *Бегут мгновенья дорогие. // Не возвращается Мария* (А. Пушкин); *Погасло небо осеннее // И розовый небосклон. // А я считаю мгновения // И думаю: где же сон?* (А. Блок); *Там холодной Скифии свирепые сыны, // За Истрой утаясь, добычи ожидают // И селам каждый миг набегом угрожают* (А. Пушкин).

Сверхкраткость *мгновений* и *мигов* придает им особую ценность (*Нет на земле ничтожного мгновенья*, по слову поэта). Уплотнение времени и счет его на "миги" и "мгновения" может определяться важностью для говорящего предмета описания. Например: *Гамлет медлит. И этот миг // Удивителен и велик. // Миг молчания, страсти и опыта, // Водопада застывшего миг. // Миг всего, что отринуто, проклято, // И всего, что познал и постиг* (Д. Самойлов). Переход на язык *мгновений* всегда свидетельствует о повышении "эмоционального градуса" повествования. Так, в следующем отрывке из "Мастера и Маргариты" *мгновения* передают истинный драматизм происходящего: [Левий Матвей мучительно ищет способ спасения Иешуа от страданий на кресте] *Одного мгновения достаточно, чтобы ударить Иешуа ножом в спину, крикнув ему: "Иешуа! Я спасаю тебя и уйду вместе с тобой! Я, Матвей, твой верный и единственный ученик!" Мгновение* здесь символизирует особое время – повышенной напряженности и значимости: в одно *мгновение* вмещается последний и самый важный в жизни поступок. Поскольку *миги* и *мгновения* не обладают какой-либо объективной мерой длительности, с их помощью легко описывается субъективное эмоциональное время, где *мигу* или *мгновению* может соответствовать целый фрагмент жизни (ср. *миг Гамлета* у Д. Самойлова).

Мгновение и *миг* – это частицы качественного, эмоционального, времени. Используя введенную бл. Августином дихотомию мыслимого и переживаемого времени, можно сказать, что *мгновения* и *миги* описывают время переживаемое (внутреннее психологическое состояние человека) – "растяжение... самой души" [12].

Последний пример из М. Булгакова (сцена на Лысой Горе) показателен и в том

отношении, что писатель здесь как бы "обнажает прием", подчеркивает выбор именно такого временного показателя. В подтверждение приведем продолжение мыслей Левия Матвея: *...А если бы Бог благословил еще одним свободным мгновением, можно было бы заколоться и самому, избежав смерти на столбе.* Нарушение стандартной сочетаемости (может быть *свободная минута*, но не **свободное мгновение*) акцентирует внимание на временном показателе, поднимая событие на должный уровень значимости.

3. "... между временем и Вечностью..." (К. Бальмонт).

Как уже говорилось, одни из показателей кратковременности потенциально обладают объективными характеристиками длительности (*минута, секунда*), а другие – нет (*момент, миг, мгновение*). Отсутствие конкретных временных рамок, так сказать, семантика "вневременности", существенно повышает эффективность и разнообразие возможных описаний с помощью данных слов. Так, для *момента* "вневременность" открывает дорогу к относительной свободе от идеи времени вообще; *мгновениям* же и *мигам* "вневременность" позволяет оторваться от повседневности. Если *минуты* так или иначе "повязаны" своими объективными характеристиками с суточным кругом, земными "сроками", то *мгновения* и *миги* свободны от каких-либо "бытовых" ассоциаций. В интуиции носителей языка содержится представление о двух системах отсчета времени: *минуты* и *секунды* являются мерой повседневного времени (мерой обыденного), а *мгновения* и *миги*, практически лишённые какой-либо меры, ассоциируются с надбытовым временем, они описывают нечто, стоящее над повседневностью, способное соотноситься с вечностью.

Ассоциация с вечностью может идти по качественным характеристикам (вечность = "истинность", "духовность", "высота") – ср. у В. Соловьёва: *... И медленно плетутся за миготом вечности тяжёлые года* – и по параметру "количество" (вечность = бесконечность времени), ср. пер. С. Маршака из В. Блейка: *В одном мгновенье видеть вечность...*

Рассмотрим первый круг ассоциаций: описание надбытового времени.

Мгновения и миги неповторимы: нет подобных/любых мгновений. Ср.: *В любую минуту он может войти; Каждую секунду может произойти взрыв; В подобные минуты я стараюсь уединяться.*

Минуты и секунды могут мыслиться как время, нам принадлежащее: *Я и секунды не могу вам уделить; Есть еще несколько секунд/минут.* Можно поэтому дорожить каждой минутой/секундой. *Мгновения* же и *миги*, скорее, *п о с е щ а ю т* нас, они не принадлежат нам, не зависят от нашей воли, не могут быть запланированы, осуществляться по часам, в соответствии с какими-либо "сроками". По слову поэта: *Мгновенье мне принадлежит, // Как я принадлежу мгновенью.* Ср. закономерность использования в следующих примерах именно показателя "срочного" времени – *минуты* – и невозможность появления в соответствующих контекстах *мгновения* или *мига*: *П о д о ш л а* минута прощанья; *К минуте мщенья п р и б л и ж а я с ь, // Онегин, тайне усмехаясь, // Подходит к Ольге...* (А. Пушкин).

Если *минута* "ожидается", "планируется", то *миг* "предвкушается" как нечто ни-спосылаемое, происходящее по сценарию свыше: *Но близок миг рукоплесканий* (А. Блок); *миг "пророчится": Воспоминанье слишком давит плечи, // Настанет миг – я слез не утаю... // Ни здесь, ни там, – нигде не надо встречей, // И не для встречи мы в раю* (М. Цветаева).

Чтобы почувствовать разницу между повседневным временем и вневременностью (надбытовым временем), сравним два примера, в которых с необходимостью используются знаки разных временных систем – *ни на секунду/ни на миг*: *Так не прекращавшимся ни на секунду следствием и ознаменовалось утро субботнего дня* (М. Булгаков). Странно было бы в описываемой ситуации использовать показатели

надбытового времени, ср.: *?Следствие ни на миг не прекращалось! Завод ни на мгновение не останавливал свою работу.* В подобных случаях естественнее использовать показатели обыденного времени. И другой пример: [*Зато мой вечный дух, свободный и могучий // К груди ее невидимо прильнет...*] *И ни на миг ее он не оставит, // Любовью вечною ее он озарит* (В. Соловьев). Здесь неуместно использование повседневного *ни на секунду/ни на минуту*.

Анализ языкового сознания, для которого ощущение времени является фактом мировоззрения, подтверждает предположение о "вневременности" *мгновений* и *мигов*, их соотносительности с "качественной" вечностью (модусом истинного бытия). Так, для Поэта единицей краткости служит *надбытовой миг*, а не *секунда* или *минута*, ср. у М. Цветаевой: *Между любовью и любовью распят // Мой миг, мой час, мой день, мой век. С минутой же связаны совсем другие ассоциации.* У М. Цветаевой же в стихотворении "Минута" она – *минушая..., мерящая..., маяющая..., нас мелящая*. Поэт остро чувствует противоречие, непримиримость двух временных систем: *О как я рвушь тот мир оставить, // Где маятники души рвут, // Где вечностью моею правит // Разминовение минут.* Для Проповедника же "примирение" между временем и вечностью возможно: время дополняет вечность, в е д е т к вечности, если жизнь мыслить как "школу вечности" (слова А. Меня). Примеры из проповедей отца Александра являются языковым свидетельством того, что "атомами времени" этой жизни являются *минуты*; *мгновения* же и *миги* служат "окнами" в вечность, в иной модус существования. Ср. два ряда примеров, в которых употребление временных показателей строго предопределено: 1) *Каждую минуту (нельзя *мгновение) приближает нас время к вечности, каждую минуту оно нас спрашивает: "Что ты сделал для нее?";* 2) *Каждый день и каждый час совершается для нас суд Божий. Каждый миг (нельзя: *секунду/минуту!) на нас смотрит Господь и всегда взвешивает наши поступки, видит до глубины нашу душу и нашу совесть.* Понятно, что как и для Поэта, так и для Проповедника мерилом истинного существования являются *мгновения*, а не *секунды*, ср.: [все должно находиться перед лицом Христовым] *И тогда каждый день, каждый час, каждое мгновение (плохо: секунда) заполнится Его священным присутствием.* Таким образом, наблюдение за словоупотреблением Поэта и Проповедника позволяет заметить языковые отражения духовной ипостаси времени.

Сказанное заставляет вспомнить строки из Н.А. Бердяева "... существует как бы два времени – время дурное и время хорошее, время истинное и время не истинное. Есть испорченное время и есть глубинное время, сопричастное самой вечности, в котором этой порчи нет" [13].

Истинность *мгновения* и "лояльность" *минуты* определяют потенциал их событийного заполнения: *мгновения* не могут быть вместилищем суетного, недоброго, обычного. Ср.: *На секунду (?на мгновение), когда и не видел никто, лицо матери стало жестоким* (А. Битов). И с другой стороны: *На одно мгновение (?на минуту/секунду) смысл существования опять открывался Ларе* (Б. Пастернак).

Минуты и *секунды* могут символизировать погруженность субъекта в жизненный круговорот, говорить о сугубой "посюсторонности", приземленности его существования. Например: ... *пока мы были вдвоем, у нас не было ни секунды, чтобы остановиться и подумать, что мы делаем и каковы последствия нашего идиотизма* (Н. Мандельштам).

Мгновения же в применении к событиям жизни человека описывают время, свободное от бытовой, исторической и под. конкретики, время, выведенное из круга повседневности – соотносящееся с вечностью в "качественном" ее понимании. Отсюда – оценочность *мгновений*: их уникальность, неповторимость и пр. Но *мгновения* и *миги* выполняют в русском языке не только функции показателей экспрессивности, "стимулов к сопереживанию", они не только повышают ценность предмета описания

(Я помню чудное мгновенье...); эти слова являются обозначением кратчайших единиц онтологического, "первозданного" времени, ср. у блаженного Августина: *Продолжительность времени составляется из преемственной последовательности различных мгновений, которые не могут проявиться совместно* [12].

4. Мгновение как элементарная частица онтологического (надсобытийного, "вне-срочного") времени.

Рассмотрим пример: *Советскому человеку свойственна островная психология. Живя с сознанием своей "особости", он никак не решится признать, что все мы на этой планете – современники. Что все мы живем в одно историческое мгновение, что все мы рождаемся и умираем* (А. Генис).

В контексте данного примера исключен любой другой показатель кратковременности: *минута* и *секунда* слишком конкретны, а слово *момент* не годится потому, что оно неявно "намекает" на некоторую комбинацию обстоятельств (т.е. также апеллирует к внешнему миру). Обстоятельства же – *исторические моменты* – у разных народов разные. (По аналогичным причинам в данном контексте были бы сомнительны и такие слова, как *период*, *эпоха*). Таким образом, именно *мгновению* поддается задача синхронизации всего разнообразия планетарной жизни. И это понятно, ведь *мгновение* способно описывать время и вне какого-либо событийного заполнения.

Мгновение – это показатель непосредственного восприятия времени в его, так сказать, "первозданности", онтологическом существе. Понятно, что областью чувственного восприятия времени является настоящее (ср. у Н.А. Бердяева: *Мы замкнуты в мгновении сомнительного настоящего*); и *мгновение* наследует эту семантику "настоящего": оно описывает нечто, как бы уже прожитое, прочувствованное (*Моя душа мгновений след* (М. Цветаева)). Отсюда и различные предпочтения в выборе временных показателей для описания событий в том или другом модальном ключе, ср.: *В это мгновение я почувствовал острую боль* и *В о з м о ж н о, в э т о т м о м е н т* (плохо: **в это мгновение*) *вы почувствуете острую боль*. Мгновение не может быть простым фиксатором бессобытийного времени, констатацией отсутствия событий, поэтому можно сказать: *В этот момент я еще не чувствовал боли* и плохо **В это мгновение я еще не чувствовал боли*.

Итак, именно *мгновения* способны передавать движение времени как такового, ср.: *Происходит страшное ускорение времени, быстрота, за которой человек не может узнать. Ни одно мгновение не самоценно, оно есть лишь средство для последующего мгновения* (Н. Бердяев). Интересно, что как только философ переходит к описанию времени человеческих дел, он меняет "терминологию" – использует показатель другой временной системы; продолжим цитату: ... *От человека требуется невероятная активность, от которой он не может опомниться. Но эти а к т и в н ы е м и н у т ы* делают человека пассивным. *Минуты* "заземляют" время на конкретную "ось" человеческих состояний.

Являясь единицами онтологического времени, *мгновения* не применимы ни к каким иным, искусственно выделенным, временным системам. Такой системой, в частности, является время романа: единицей этого времени будет *момент*; и это понятно, ведь романное время – это время событий, сплетения обстоятельств, интриг и сюжетных поворотов. Ср.: *Все моменты бесконечного авантюрного времени управляются одной силой – случаем. Ведь это время складывается из случайных одновременностей и случайных разновременностей* [и дальше] *Моменты авантюрного времени лежат в точках разрыва нормального хода событий, нормального жизненного, причинного или целевого ряда...* (М. Бахтин).

Тот факт, что "первозданное", онтологическое время поддается описанию только в терминах *мгновений*, наводит на мысль, что для естественного носителя языка (native speaker) характерно понимание времени в духе блаженного Августина, который, как

пишет А.Я. Гуревич, "не разделяет точки зрения Аристотеля, признававшего объективность времени как меры движения. Человеческое время радикально отличается от последовательности моментов, образующих время физическое. Антропологическое время, по Августину, это внутренняя реальность, и один лишь дух воспринимает ее. Охватывая предчувствием будущее и памятью прошлое и включая и то, и другое в нынешнюю жизнь человека, душа "расширяется". Но это не количественное расширение, *distentio*, а жизненная активность человеческого духа" [14].

В том случае, когда *мгновения* выполняют роль элементарных частиц онтологического времени, они не связаны условием априорного оценочного содержания: такие *мгновения* могут быть и *данными*, и *текущими*, и *настоящими*, ср.: *Футуристическое чувство жизни ... построено на культе каждого данного мгновения* (Н. Бердяев).

Свобода "онтологических" *мгновений* от идеи количества (измерения, свойственного физическому времени; датировки и сроков, определяющих время повседневных человеческих дел); отсутствие связи с событийным заполнением и оценочная нейтральность являются теми предпосылками, которые позволяют предположить наличие у этих *мгновений* ассоциативных связей с вечностью-бесконечностью. Чтобы проверить это предположение, обратимся к новому корпусу языкового материала.

5. *Мгновения, миги/секунды, минуты* как показатели смещения по ряду интенсивности.

Согласно Ж. Дюбуа [15], "смещение по ряду интенсивности" охватывает такие языкотворческие операции, как гипербола и литота. Для показателей кратковременности естественным является "смещение" в сторону преуменьшения. Однако соответствующие возможности у *мгновений, мигов* и *минут* с *секундами* – разные. Ср.: *Любовь есть сон, а сон – одно мгновенье...* (Ф. Тютчев) и *Читателей ... было [много] ... и книги расходились в одну минуту* (Н. Мандельштам). И в том, и в другом случае явная неадекватность описания (наличие "смещения"), но в первом некорректно было бы использование *минуты*, а во втором – *мгновения*.

Анализ материала показывает, что выбор конкретного временного показателя определяется не только обязательностью согласования по типу времени: надбытовое (*мгновение*)/повседневное (*минута*), но и тем, что *миги (мгновения)* и *секунды (минуты)* обладают разной потенциальной "вместимостью". Так, жизнь человека/государства/цивилизации может быть сопоставлена с *мигом/мгновением*, но не с *минутой/секундой*. Например: *Я разве только я? Я только краткий миг чужих существований* (Н. Заболоцкий); *Для осуществления замыслов Божиих две тысячи лет не более чем миг* (А. Мень). В приведенных случаях "смещение по ряду интенсивности" не может быть описано с помощью *секунд* или *минут*.

Глобальность масштаба у *мгновений* и *мигов* определяется отсутствием в их семантике ассоциаций с какими-либо конкретными мерами длительности: *мгновения* и *миги* в сознании человека связываются с бесконечностью вечности, а *минуты, секунды* – с конечным временем суточного/жизненного круга. Поэтому можно сказать, подобно Марку Аврелию: *Время человеческой жизни миг* (сопоставляя эту жизнь с бесконечностью вечности) и нельзя: **Время человеческой жизни минута/секунда*. *Минуты* и *секунды*, как правило, преуменьшают продолжительность каких-либо дел, вовлеченных в круг повседневности и составляющих его часть: *Я к вам на минуту/секунду; Подождите секунду; Заказать авиабилет – одна минута*. При этом преуменьшение во времени может придавать незначительность и самому предмету описания, подчеркивая его преходящий характер, например: *Все художники с итальянскими и русскими фамилиями... все авангардисты и молодые ученые... занимали меня ровно минуту* (Н. Мандельштам). *Мгновения* же и *миги* не снижают значимости описываемого, они лишь свидетельствуют о быстроте и пролетности времени,

а не о преходящем характере заполнивших это время событий (вспомним оппозицию "минутного" и "мгновенного"!)). Например: *Наш союз длился один миг – каких-то десятка два лет...* (Н. Мандельштам); [*Последние*] *полстолетия – это просто один растянутый и страшный миг* (она же).

6. Счет на секунды, минуты/мгновения, миги.

В отличие от момента, лишённого идеи количества, мгновения могут выступать в качестве единиц счета времени. При этом возможность употребления мгновений существенно определяется субъективностью выражаемой ими временной характеристики. Так, можно сказать: *в один миг/одно мгновение; на один миг/мгновение; на несколько мгновений* и нельзя: **за/через три мгновения* (ср. корректность выражения *за три секунды*).

Необходимым условием корректного употребления мгновений в подобных контекстах является неточность количественной оценки. Например: *В наш век стихи живут два-три мгновенья, // Родились утром, к вечеру умрут...* (Ф. Тютчев). Ср. с этим примером строки из А.С. Пушкина, в которых точность количественных указаний добавляет тексту иронии: *И очутился в два мгновенья // В долине, где Руслан лежал или Они летят и в три мига // Среди разубранной светлицы // Увидели певца Фелицы.*

Длительность секунд, минут и других точных единиц может восприниматься поразному: *всего/целая секунда. О мгновениях же и мигах можно сказать всего (лишь) и нельзя: *целый миг/*целое мгновение.* Этот запрет связан с априорной субъективной оценкой сверхкраткости, содержащейся в семантике данных слов.

Точные единицы времени употребляемы в инвертированных конструкциях: *секунды три, минут десять.* Количественная оценка в *минутах* или *секундах* может сопровождаться показателями "точности". *Полиция подоспела ровно пять секунд спустя после того, как скрылись последние действующие лица* (Ф. Достоевский); *Ровно через минуту грянул пушечный выстрел* (М. Булгаков); *Молчание продолжалось с минуту* (Ф. Достоевский); *Мечтал я не более минуты* (М. Булгаков). Мгновения в подобных случаях не могут быть использованы в силу неопределенности заложенной в них количественной оценки.

О мгновениях нельзя спросить: "Сколько?"; нельзя указать "В какое именно мгновение"; нельзя сказать: **мгновение назад.* В отличие от мигов, мгновения могут служить показателями точки отсчета событий – например: *С этого мгновения ее мерцающее сознание обратилось на Колю* (Ф. Искандер), – но при этом "событие" не может быть любым. Ср.: *С этой минуты (?с этого мгновения) Ивану все опостылело/Иван ее возненавидел.*

4. ИТОГИ

Итак, мы видим, что слова с семантикой "кратковременность" характеризуют разные аспекты восприятия и "переживания" времени человеком. При этом "время" в данном случае понимается не как количественная, а как качественная категория. "Качественность" времени задается событиями, его заполняющими. Именно в этом понимании о "времени" можно говорить как о "другом названии для жизни" [16].

"Кратковременность" в семантике слов *минута, миг, мгновение, момент* не имеет прямой соотносительной связи с какими-либо объективными характеристиками "количественного" времени (= физической протяженности): мы видели, что *мигам* и *моментам* могут соответствовать целые фрагменты жизни человека (общества). "Кратковременность" в данном случае значит элементарность: *минуты, миги, мгновения, моменты* объединяются как элементарные единицы взаимосвязанных и

взаимнопротивопоставленных (в соответствии с различной интерпретацией) моделей, времени.

Модели задают три различные интерпретации событий на базовом интервале времени: "бытовое", "повседневное" (*минута, секунда*); "исключительное", "надбытовое" (*миг, мгновение*); "рациональное", "аналитическое" (*момент*).

I. Бытовым является время частного человеческого существования. Сфера описания этого времени – повседневность. Это время принадлежит человеку, поддается счету, измерению. Локализованное на "оси" отдельной человеческой жизни, оно планируется, ожидается ("срочное" время), помнится и переживается (время эмоций и настроений). При этом "сроки" соотносятся с суточным кругом, а эмоции – с конкретным человеком.

II. Интерпретация в терминах надбытового времени подразумевает исключительность описываемого. События этого времени выведены из круга повседневности: они "внеочередны" (не могут быть запланированы, осуществляться "по часам"), уникальны, незабываемы, особо значимы (соотносятся с духовной сферой человека). Повышенная эмоциональность этого времени подразумевает личную причастность субъекта речи к предмету описания. Сам же этот предмет не ограничен масштабами частного человеческого существования.

III. Аналитическим является время стечения обстоятельств и сплетения событий, самой разной природы и масштаба. Этому времени соответствуют оценки "рациональное", "внеположенное" (взгляд со стороны на предмет описания).

Таким образом, у каждого из временных показателей свои ситуации употребления, а будучи использованы в аналогичных контекстных условиях, они описывают далеко не одно и то же, поскольку каждый соотносит описываемое со своей временной системой (моделью времени).

Так, выбор временного показателя во фразах: *Я помню этот момент/эту минуту/это мгновение* заставляет представить различные ситуации. *Момент* подсказывает нам, что речь идет о некоем эпизоде, к которому говорящий может быть и не причастен лично (фильм, прочитанный роман, политическая хроника...). Не предполагается также и эмоциональное сопереживание описываемым событиям. Картина меняется при использовании слова *минута*: говорящий скорее всего был участником событий или уж во всяком случае соучаствовал в них эмоционально, получая информацию как бы из первых рук (т.е. по каналу визуального восприятия, а не через, скажем, газеты или рассказы очевидцев). В первом случае (*момент*) говорящему запомнились сами события, а во втором (*минута*) – пережитые чувства. При этом к "событиям" в первом случае могут относиться и такие, как доказательство теоремы, анализ шахматной партии и под. *Мгновение* придает описанию глубоко личный характер, заведомо указывая на причастность говорящего к предмету речи. *Мгновение* выводит предмет описания за пределы обыденного, наделяя его такими оценками, как "важность", "редкость", "значимость", "забываемость".

Перечисленные модели образуют законченный фрагмент русской языковой картины времени и в этом смысле они инвариантны относительно отдельных "языковых сознаний". Однако их представленность, реализация в словоупотреблении конкретных носителей языка может быть разной в зависимости от большей или меньшей разработанности соответствующей концептуальной базы. К примеру, *мгновение* как частица Вечности может отсутствовать в лексиконе конкретного носителя языка, но это определяется отсутствием самой темы Вечности в его сознании. Употребление в данном случае и является отражением картины мира говорящего. Показательно, что разговорная речь в большей степени эксплуатирует семантику быстроты и экспрессивности – в *мгновение ока, мигом, вмиг, в момент*, – апеллируя к количественному аспекту времени. Для того же, чтобы в полной мере ощутить различия между рассматриваемыми словами как показателями разных по "качеству" временных систем, нам понадобились примеры из языка, в котором соответствующая спецификация вре-

мени нашла свое наиболее полное воплощение – к рассмотрению привлекались примеры из классиков художественной литературы, философской мысли⁶. Сказанное не значит, что семантические особенности показателей кратковременности выявлялись на основе анализа идиостилей отдельных языковых личностей (Бердяева, Блока, Н. Мандельштам). Оставаясь в рамках общелитературной нормы, мы лишь расширили понятийную сферу описания – активизируя тем самым весь семантический потенциал рассматриваемой ЛСГ. Специфически авторские примеры экзотического словоупотребления – а их немало (см., например, использование слова *миг* как своего рода идеологического маркера в языке символистов) – сознательно не принимались нами во внимание.

Языковой материал, проанализированный в работе, представляет интерес и потому, что соответствующие временные показатели, системно сгруппированные в рамках одного синонимического ряда, столь чутки к "качественным" нюансам времени именно в русском языке. Английские или, скажем, французские *moment*, *instant*, *minute* не образуют подобного семантического спектра: первые два, свободные от идеи конкретного физического времени, описывают различные аспекты быстроты совершения действия, т.е. собственно "кратковременность"; последнее же слово сходно с русской *минутой* лишь по линии конкретности обозначения временных сроков (идея "часов"), ср.: *The minute that the bell rings he gets up*. Употребление слов *moment*, *minute*, *instant* куда в меньшей степени мотивируется фактором событийного заполнения соответствующих временных интервалов. Так, *moment* указывает на краткость временного интервала, "пролетность" времени без какой-либо его концептуализации по линии "бытовое"/"надбытовое". Приведем два примера (из Вольтера), где *moment* описывает и то, что по-русски передается с помощью *минут*, и то, что может быть переведено только с помощью мгновений: *La satire un moment parlait // Des ridicules de sa vie – Сатира колким языком // О них минуты две судила* (пер. А. Полежаева); *Nous ne vivons que deux moments... – Живем мы в мире два мгновенья...* (пер. А. Пушкина). Переводы, которые мы привели, достаточно свободны, но в интересующем нас плане весьма точны.

Можно сказать, что выбор конкретного слова из данной ЛСГ в русском языке в первую очередь мотивируется "качеством" времени (принадлежностью слова к той или иной модели времени) и лишь во вторую очередь – количественными характеристиками времени. Тема частного человеческого существования у *минуты*, "одухотворенность" *мгновения* являются фактами русского языкового сознания.

То, что *minute* и *instant* не мыслятся, в отличие от русских *минут* и *мгновений*, как вместилища событий, объясняет слабую разработанность синтаксической сферы определений у этих слов, а также их неспособность выступать в роли "воспоминаний" той или иной значимости (ср. русские примеры, приведенные выше): буквальный перевод на английский пушкинских строк *Я помню чудное мгновенье* невозможен вдвойне. *Moment* в указанном плане ближе к русским показателям кратковременности (*I remember the moment*; *critical/crucial moment*), но это определяется исконной связью данного слова с идеей "развития", т.е. каким-то обстоятельством наполнением (ср. выделенность 2-го значения – *occasione* – у итальянского *momento*: *cogliere il momento favorevole – воспользоваться благоприятным моментом*).

В целом же система русских показателей кратковременности не сопоставима по своим возможностям с аналогичной по составу группой в английском, французском или итальянском. И связано это не с какими-либо отдельными расхождениями в объеме значений, но с самой "концепцией времени", представленной в семантике данных слов.

⁶ Мы солидарны с мыслью о том, что "в сфере ключевых слов культуры, т.е. "отвлеченных понятий", существует несомненная связь между языковой семантикой (значениями слов) и семантикой культуры (смысл и идейным содержанием художественных, философских, публицистических и иных произведений)" [17].

Возможность событийного заполнения (и, соответственно, "качественного" осмысления времени для английского и др. названных языков начинается с "часа". *Hour, day, year* активно используют свои валентности определения; и именно они могут нести на себе следы человеческого бытия, эмоций, т.е. выступать как частицы времени переживаемого, "времени жизни"⁷.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. 1986. Вып. 28.
2. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988. М., 1974.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах. Т. 2. М., 1989. С. 325.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1970. С. 351.
5. Бергсон А. Время и свобода воли. Собр. соч. Т. 2. Спб., 1910. С. 142.
6. Всеволодова М.В. Способы выражения временных отношений в современном русском языке. М., 1975. С. 29.
7. Лосев А.Ф. Поток сознания и язык // Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982.
8. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., 1979. С. 243–244.
9. Hornby A.S., Cowie A.P. Oxford advanced learner's dictionary of current English. V. 2. М., 1982.
10. Словарь современного русского литературного языка АН СССР в 17-ти тт., М-Л., 1950–1965. Т. 4. С. 743.
11. Русско-английский словарь / Под ред. Ахмановой О.С. М., 1971.
12. Исповедь Блаженного Августина Епископа Иппонского // Богословские труды, Сборник 19, М., 1979. С. 192.
13. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 50.
14. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 102.
15. Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. М., 1986.
16. Муравьев В.Н. Философские заметки и афоризмы // ВФ. 1992. № 1. С. 113.
17. Степанов Ю.С. Слова *правда* и *цивилизация* в русском языке: К вопросу о методе в семиотике языка и культуры // ИАН СЛЯ. 1972. № 2. С. 175.

⁷ Весьма симптоматичен в этом плане английский перевод пушкинской "минуты вольности святой" через "hour of promised bliss". "Час" в английском языковом сознании может выступать и в той роли, которую в русском языке выполняет *мгновение*. Так, у В. Блейка в знаменитых строках из "Песен невинности"

To see a World in a Grain of sand,
And a Heaven in a Wild Flower:
Hold Infinity in the palm of your hand,
And Eternity in an hour

мельчайшей частицей онтологического времени ("вечности-бесконечности") является *hour*, который в переводе С.Я. Маршака с необходимостью заменяется на *мгновение*.

© 1994 г. АОШУАН ТАНЬ

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МИР ГОВОРЯЩЕГО
(на примере показателя *теп*)*

История китайского языкознания показывает, что традиционная грамматика, возникшая на основании изучения индоевропейских языков, навязывает этому типичному представителю изолирующих языков понятия, ему не свойственные и не играющие роли в процессе языкового общения. Такая грамматика оказывается неадекватной для описания китайского языка, поскольку она не в состоянии отразить своеобразие передачи информации и организации семантического материала в этом языке.

Китайский языковой строй в значительно большей степени ориентирован на семантику и прагматику. Грамматическая маркировка в нем непосредственно связана с текущим состоянием знания участников коммуникации и опирается на то, что для говорящего субъекта является релевантным в момент общения или создания текста [1; 2].

Служебные слова китайского языка можно скорее охарактеризовать как многофункциональные когнитивные операторы, нежели как показатели той или иной грамматической категории. В отличие от единиц "закрытых классов" европейских языков, они маркируют когнитивные категории, поскольку китайский язык свободен от словоизменения, обязывающего соблюдать зачастую избыточные правила. С другой стороны, средства выражения грамматических функций в китайском языке могут использоваться для отсылки к фрагментам наивной модели мира этого языка, в частности, для выражения эмпатии говорящего как субъекта сознания, чему и посвящена данная статья.

При описании способов репрезентации в языке концептуальных категорий, согласно [3], необходимо различать два основных уровня. На первом уровне концептуальный мир говорящего передается в рамках предложения, параграфа или текста, преимущественно, через лексические средства, принадлежащие открытым классам знаков. Второй уровень – уровень тонкой структуры (*fine structure level of language*), включающий в себя знаки "закрытого класса", такие, как грамматические элементы (в том числе и грамматические категории), частицы, морфемы, синтаксические конструкции. К такому закрытому классу относится китайский показатель *теп*, который, в отличие от большинства единиц этого класса, функционирует исключительно в качестве грамматализованного служебного слова, лишенного собственной семантики, и произносится нейтральным тоном. В системе языка показатель *теп* имеет двойственный статус. С одной стороны, он выступает в составе личных местоимений как суффикс мн.ч., присоединяясь к местоимениям 1 л. *wo*, 2 л. *ni* и 3 л. *ta*: *women* "мы", *nimen* "вы", *tamen* "они". С другой стороны, этот показатель может оформлять именные группы (ИГ), обозначающие общие имена, придавая последним значение множественности. Но такое оформление не распространяется на все классы существительных, ограничиваясь преимущественно категорией лиц, и не является обязательным.

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

В китайском языке у имен нет грамматической категории рода и числа, а у глагола отсутствует грамматическое время. Это не препятствует ни адекватному восприятию числа и денотативного статуса имен, ни правильной ориентации во времени сообщаемого события, поскольку в языке для этого существуют другие средства – элементы открытых и закрытых классов, в основном лексические. Для нас представляется важным, чтобы описание того или иного грамматического явления обладало объяснительной силой. А последняя измеряется покрытием данной интерпретацией всех случаев употребления (анализ) и способностью построенных на ней правил обеспечивать воспроизведение правильных высказываний, содержащих соответствующие форманты (синтез), хотя бы на уровне обучения иностранному языку. Если исходить из таких критериев, приходится признать, что вопрос о показателе *men* остался открытым. Это и неудивительно, поскольку традиционная грамматика, ориентированная на неизолирующие языки, не в состоянии отразить суть механизма действия китайского языка. Такой язык требует к себе функционального подхода, иного взгляда на язык в целом, свежих идей и методик, разработанных современной лингвистикой.

Не вдаваясь в историю изучения показателя *men*, упомянем работу Люй Шусяна "О показателе *men*" [4], сохранившую свое значение до настоящего времени. В ней не только содержится анализ современных предложений с *men*, но и прослеживаются более ранние формы этого показателя. Результаты наблюдений Люй Шусяна сводятся к следующему: а) *men* принимают только ИГ категории лиц; б) если перед существительным имеется обозначение количества, *men* опускается; в) после таких слов, как *jige* "несколько", *xuduo* "много" и т.п. *men* обычно опускается; г) после ИГ с указательными местоимениями мн. ч. *zhexie* "эти" и *naxie* "те" *men* отсутствует не менее часто, чем присутствует. Как видно, только первые два пункта можно квалифицировать как условия или правила. Тем не менее, восходящее к работе Люй Шусяна мнение, что употребление формы с *men* в основном ограничено теми случаями, когда количество обозначаемых существительными лиц не уточняется иными средствами (см. [5]), бытует и по сей день. В практической грамматике, выпущенной в КНР в начале 80-х годов с предисловием самого Люй Шусяна это мнение обрело статус правила: "Если перед существительными, обозначающими лица, стоит числительное, или если в предложении содержатся другие выражения со значением множественности, ставить *men* нельзя" [6].

В.М. Солнцев, Н.Н. Коротков и др. характеризовали *men* как показатель коллективной множественности при существительных, обозначающих совокупность конкретных лиц [7], и подчеркивали, что в основе употребления *men* лежит значение не множественности, а коллективности. Н.Н. Коротков исключает возможность употребления ИГ, оформленной *men*, в родовом значении [4, с. 274]. Эти достаточно близкие мнения не подкреплены конкретными исследованиями, а различие между коллективной множественностью и множественностью вообще не определено. Видимо, понятие о коллективе (множестве людей) упомянутые авторы вывели из утверждения статьи Люй Шусяна, что показатель *men* принимают только существительные категории лиц.

Языковые употребления, анализируемые ниже, свидетельствуют, что указанные Люй Шусяном ограничения на употребление *men* не работают. Так, например, *men* сочетается с общим именем, не обладающим признаком "личности". (1a) *Yueliang gang chulai, mantian de xingxing men zhazhe yanjing* "Луна только что взошла, рассыпанные в небе звезды подмигивают друг другу". Соответствующие примеры имеются в грамматическом справочнике под редакцией самого Люй Шусяна [8]. Могут встречаться и предложения, в которых *men* появляется в ИГ с указанием конкретного числа денотатов, например, (1б) *Liang wei guniang men kuai qing wu li zuo* "Вас, двух барышень, милости просим зайти в комнату". Таким образом, употребление

показателя *men* следует рассматривать как вероятностный процесс, и можно говорить только о большей или меньшей степени вероятности его появления.

Если в языке существует какая-то форма, у которой предполагается определенное значение, и она может не появляться, когда это значение необходимо выразить, и появляться, когда это значение уже выражено другими средствами, это свидетельствует о том, что выбор данной формы с этим значением непосредственно не связан. Употребляя ее, говорящий хочет сказать что-то другое.

Прежде чем излагать нашу интерпретацию условий употребления показателя *men*, уточним денотативный статус именной группы, оформленной этим показателем. Анализ предложений, содержащих ИГ с *men*, показывает, что эти ИГ всегда имеют субстантивное употребление. Предикативные ИГ не могут сочетаться с *men*, поскольку такие ИГ не фиксируют объект, а обозначают свойства. Невозможно, например, предложение (2а) **Wo de jiejie gege dou shi daifu men* "Мои братья и сестры – все врачи".

Это означает, что ИГ, оформленные *men*, всегда вводят в рассмотрение внеязыковые объекты. Но последнее не подразумевает, что рассматриваемые ИГ не могут интерпретироваться как обозначающие родовые понятия или классы объектов (подробнее об этом см. далее). Однако в большинстве случаев ИГ с *men* употребляются как конкретно референтные, обозначающие множественные объекты. Именно поэтому возможно оформление этим показателем ИГ, являющихся вторым членом биноминального предложения, выражающего субстанциональную идентификацию (об этом виде предложения см. [9]. Ср. (2б) *Ni bie hun zhishi ren, na dou shi ban dashi de guan jia niangzi men* "Не распоряжайтесь людьми, как вам в голову взбредет, это те няни, которые отвечают за домашние торжества" (пример из романа "Сон в красном тереме" [10]). В таком предложении постсвязочная ИГ всегда референтна [11], предикативные же ИГ стоят вне референции.

Указанное свойство показателя *men* позволяет ему выступать в качестве различительного признака в следующей минимальной паре предложений с qualificativным предикатом: (3а) *Haizi de qiuzhiyu hen qiang* "Дети очень любознательны" и (3б) *Haizi men de qiuzhiyu hen qiang* "Эти дети очень любознательны". В предложении (3а) класс "дети" квалифицируется с точки зрения типичного для него свойства, а в предложении (3б) это индивидуализированные дети, находящиеся в общем поле зрения говорящего и слушающего в момент произнесения говорящим данной фразы, и предикат в ней скорее описывает ментальное состояние своего субъекта, нежели его постоянное свойство. Поскольку в обоих предложениях соответствующие ИГ соотносятся с множественными объектами, можно заключить, что функция *men* несводима к обозначению мн. ч. Но позволяет ли сопоставление примеров (3а) и (3б) предполагать, что *men* является актуализатором определенности для ИГ мн. ч.? До некоторой степени да, но не это является главной функцией этого показателя.

В китайском языке имеется морфема *xie*, которая в сочетании с показателем неопределенности (*yixie* "некоторые", *haoxie* "многие") или с указательным местоимением (*zhexie* "эти", *naxie* "те") выступает как актуализатор мн. ч. А указательное местоимение, как известно, выполняет дейктическую функцию выделения неязыковых объектов. Можно с таким же успехом сказать: (3в) *Zhexie haizi de qiuzhiyu hen qiang*, заменив *haizi men* ("дети" с показателем *men*) на *zhexie haizi* "эти дети". В этой связи встает вопрос, есть ли разница между предложениями, в которых имеется показатель *men* (как в (3б)), и предложениями, в которых этот показатель отсутствует (как в (3в))? Сводится ли эта разница лишь к наличию или отсутствию дейктического элемента?

Рассмотрим следующую минимальную пару высказываний, в которой признаки множественности, конкретной референтности и ситуативности (экстралингвистический объект находится в поле зрения участников общения) присущи ИГ обоих

предложений: (4a) *Zhexie haizi e le* "Эти дети проголодались" и (4б) *Zhexie haizi men e le* "Эти детки проголодались". Значение, которое добавляет показатель *men* в предложении (4б), хорошо ощущается в его русском переводе. В предложении (4a) говорящий просто констатирует физическое состояние находящихся в общем поле зрения детей, на которое он указывает. Во втором же высказывании эти дети как бы вовлечены в личную сферу говорящего, становятся предметом его внимания, забот; они выступают как частица его мира.

Понятие личной сферы говорящего ввел в современный лингвистический обиход Ю.Д. Апресян, который пишет: "В сферу входит сам говорящий и все, что ему близко физически, морально, эмоционально или интеллектуально – некоторые люди, плоды труда человека, его неотъемлемые атрибуты и постоянно окружающие его предметы, природа, поскольку он образует с нею одно целое, дети и животные, поскольку они требуют его покровительства и защиты, боги, поскольку он пользуется их покровительством, а также все, что находится в момент высказывания в его сознании" [12, с. 26].

Можно заключить, что показатель *men* вводит множество объектов, обозначенных ИГ, в личную сферу говорящего. Это также своего рода фигура речи, которая успешно использовалась еще автором романа "Сон в красном тереме" – классического памятника XVIII в., написанного на живом языке того времени. Вот реплика тетушки Лай – старой служанки семьи Цзя, внук которой благодаря хозяевам получил образование и выдержал экзамен на занятие чиновничьей должности – (5a) *Wo ye xi, zhuzi men ye xi, ruo bu shi zhuzi men, women zhe xi cong he lai* "Я радуюсь, радуются и хозяйка, если бы не хозяйка, откуда взяться такой радости?"; (5б) *Dao le er shi shang, you meng zhuzi de endian, xu ni juan ge qiancheng zai shen shang* "Когда тебе двадцать лет исполнилось, опять же по милости хозяев тебе обещано прекрасное будущее". Опускание *men* в предложении (5б) (а такое употребление повторяется четырехкратно) связано с переключением говорящего в другой речевой режим: от прямого обращения к хозяевам (слушающим является один из хозяев) тетушка Лай переходит к косвенному упоминанию хозяев в воспроизведении своего разговора с внуком, который в момент речи отсутствует.

Показатель *men* употребляется выборочно в соответствии с конституацией. Будет неуместным, например, сказать *xhexie haizi men* "эти детки" в объявлении по радио в ситуации, когда ищут маленьких детей, потерявшихся в общественном месте. Возможно только – (6a) *Zhezhe haizi shi shui de?* "Кто родители этих детей?" (букв. "Эти дети чьи?), а родитель, забирающий своих детей, мог был лишь сказать: (6б) *Zhexie haizi shi wo de* "Эти дети мои".

Анализ употребления *men* в соответствующих контекстах и собственная языковая интуиция убеждают, что личная сфера говорящего подвижна – она может расширяться настолько, что в нее оказываются вовлеченными и незнакомые говорящему люди, его "ближние" [12, с. 28]. Таким образом, если денотаты ИГ объединены неким общим свойством, которое импонирует говорящему или близко его сердцу, они вовлекаются в личную сферу говорящего, и он оформляет соответствующую ИГ показателем *men*.

Закономерности употребления *men* можно сформулировать в следующем виде:

П Р А В И Л О 1. Включение в личную сферу говорящего предполагает существование и единственность соответствующих объектов. Из этого следует, что ИГ, оформленная *men*, имеет референтное употребление. В контексте отрицания существования соответствующих объектов *men* опускается (см. пример (8б)).

П Р А В И Л О 2. Объекты, обозначаемые ИГ с *men*, непосредственно или мысленно наблюдаемы для говорящего и слушающего.

Из этого, во-первых, следует, что соответствующая ИГ является по крайней мере определенной для говорящего – (7) *Ji ge hua zhi zhao zhan de guniang men zouguo lai gen*

women da zhaohu "Какие-то девчонки, нарядные как цветочки, подошли и поздоровались с нами". Такое сравнительно редкое употребление примерно соответствует пункту (в) статьи Люй Шусяна.

Во-вторых, в личную сферу говорящего могут попадать объекты, не входящие в категорию лиц. В этом случае формы с *men* производят эффект персонификации – (8a) *Xingxing men zai tian shang zha zhe yanjing* "Звезды подмигивают мне с небес". При отсутствии в небе звезд (отрицание существования и единственности) употребление *men* невозможно – (8б) **Tian shang meiyou xingxing men* "На небе нет звезд".

В-третьих, хотя говорящий не фиксирует референта, он может обращаться с ним как с индивидуумом. Именно это позволяет сочетание показателя *men* с ИГ, которая по сути дела обозначает класс объектов – (9) *Chuntian yi dao, niao shou yu chong men dou huoyue qilai le* "Как только наступила весна, птички, зверюшки, рыбки и козявки – все зашевелились". В этом предложении ИГ имеет двоякий денотативный статус одновременно референтный и универсальный.

В-четвертых, объектом, включаемым говорящим в свою сферу, может быть множество незнакомых ему, но близких по духу людей. В этом случае ИГ можно трактовать как универсальную – (10) *Wo xiang quan shijie yiqie zhengqu renquan de zhanshi men zhiyi zhencheng de jingyi* "Я выражаю свое искреннее восхищение борцам за права человека во всем мире".

Наконец, в-пятых, ИГ, оформленная *men*, может быть родовой. Это происходит в так называемом обобщающем предложении (generic sentence) [13]. В нем выделяется наиболее типичный признак соответствующего класса при мысленном включении представителя данного класса в личную сферу говорящего.

Последний случай требует более подробного комментария. Рассмотрим пример (11a) *Shiren men zong shi [na me] duo-chou shan-gan* "Ах эти поэты, они вечно грустят без причины". В этом предложении уместность *men* определяется еще и тем, что в предшествующем тексте говорится о конкретном поэте или поэтах. Раз здесь не содержится слово *name* "так", ясно, что обращение *shiren men* "ах эти поэты" относится ко всем конкретным поэтам, которых так или иначе знает говорящий. Сходное употребление ИГ с *men* имеется и в "Сне в красном тереме": *Zhe xie xiao haizi men quan yao guan de yan* "Эти детки все как один требуют строгого воспитания" [10]. Это обобщение делается на примере конкретного представителя класса, о котором говорилось в предыдущем контексте.

Следовательно, использованный здесь адвербиальный квантор *zong (shi)* "всегда" не может интерпретироваться как квантор, ограничивающий объем денотата субъективного термина [14]. Это доказывает различие между (11a) и (11б) *Suoyou de shiren dou duo-chou shan-gan* "Все поэты грустят без причины". В предложении (11a) содержится предикат состояния, а в предложении (11б) указывается свойство, характеризующее класс поэтов, поэтому по отношению к субъекту этого предложения невозможно применение *men*. Только предикат предложения (11a), содержащего формант *men*, можно понимать, как квантифицируемое явление, описывающее существование субъекта, локализованное во времени.

Таким образом, становится понятным, почему в китайском языке имена, оформленные такими местоимениями – кванторными словами как *yiqie, fanshi, renhe, suoyou* "все, всякие, любые", в одних случаях оказываются способны принять показатель *men*, а в других нет. Эти местоимения, хотя и могут выступать как кванторы всеобщности, как в (11б), отличаются от подлинных (логических) кванторов тем, что сферу действия таких выражений все же можно ограничить (это верно и в отношении частицы *dou*, функционирующей как показатель универсальности). Иными словами, когда подобные кванторы не выступают в универсальном значении, для некоторых из них появляется возможность употребления *men*, как в предложении (11в) *Suoyou de tongxie men dou lai le ma?* "Все ребята (студенты) пришли?". Однако (11г) **Suoyou de*

xuesheng men dou lai le ma? невозможно, поскольку замена *tongxue* "ребята" на *xuesheng* "студенты" исключает денотат из личной сферы говорящего. Выражение *yiqie* отличается от *suoyou* тем, что оно соотносится со всеми членами класса, если в ИГ, оформленной *yiqie*, не содержится дескрипция (как в примере <10>). Поэтому можно сказать <12а> *Yuanzi li suoyou de yinghua dou kai le* "В саду расцвели все вишневые деревья", но <12б> **Yuanzi li yiqie yinghua dou kai le* "В саду расцвели все вишневые деревья, которые есть на свете" невозможно. Однако вполне можно сказать <12в>: *Fanshi (yiqie, suoyou) yulei dou you sai* "У любой (всякой) рыбы есть жабры", поскольку здесь терм ИГ лишается конкретной референции. Из примера <12в> становится ясно, что три указанные кванторные слова применяются при установлении концептуальной связи между субъектом и признаком, свободным от пространственной или временной локализации, как в <12г> *Fanshi (suoyou) shiren dou you dian duo-chou shang-gan* "Всем поэтам в большей или в меньшей мере свойственно быть сентиментальными". Каждое из названных кванторных слов допускает различные ограничения сферы действия квантора, но только *yiqie* и *suoyou* способны принять *men*.

Вообще говоря, в китайском языке для обозначения универсальности не всегда необходимы указанные кванторные слова. ИГ в позиции субъекта с нулевым актуализатором, выраженная общим именем, может иметь и родовое, и универсальное значение, и конкретно референтное прочтение (в ед. и мн. ч.); ее денотативный статус зависит от значения предиката. Ср. <13а> *Jingyu shengzhang zai haiyang zhong* "Киты живут в океане", <13б> *Jingyu shi buru lei* "Киты – млекопитающие", <13в> *Jingyu bei jizhong le* "В кита попали" и <13г> *Jingyu youzou le* "Кит уплыл (Киты ушли)". Это еще раз убеждает в том, что основные единицы китайского языка – односложные и неодносложные слова – сами по себе имеют только признаковое значение. Их лексический статус фиксируется только на синтаксическом уровне, когда они становятся актуализированными единицами – единицами речи.

П Р А В И Л О 3. Объекты, вовлеченные в личную сферу говорящего, всегда располагают эмпатией говорящего, даже если упоминание этих объектов связано с неприятной для говорящего ситуацией – <14> *Haizi men you chuangchu huo lai le* "Эти детки опять набезобразничали". Этим свойством показателя *men* говорящий пользуется и для воздействия на окружающих, вот почему *men* так часто встречается именно в прямом обращении. Ср. формы обращения к аудитории *xiansheng men* "господа", *nyshi men* "дамы", *tongxue men* "молодые люди, студенты" и их более официальные аналоги *zhu wei xiansheng*, *zhu wei nyshi*, *ge wei tongxue*. Последние свидетельствуют о сохранении говорящим определенной дистанции между собой и аудиторией. Непринужденная форма обращения с *men*, напротив, выражает стремление говорящего включить аудиторию в свою личную сферу и тем самым придать своим словам большую убедительность. Это выявляет перлокутивную функцию показателя *men*.

Непосредственный контакт говорящего с денотатом ИГ создает повод для применения *men* как оператора переключения объекта из реального мира в мир говорящего. Поэтому-то оформление ИГ на *men* плохо сочетается с наличием указательного местоимения со значением "экстремум". Хорошо говорить <15а> *Zhexie haizi men zhen taoqi!* "Какие же эти ребята шалуны!", но хуже сказать <15б> *Naxie haizi men zhen taoqi!* "Какие же те ребята шалуны!". Употребление экспрессивного наречия *zhen* "просто, воистину" дополнительно свидетельствует о равнодушном отношении говорящего к субъекту состояния (поступка).

Напомним, что в системе личных местоимений *men* выступает как грамматический показатель мн. ч., не привнося дополнительного значения, связанного с миром говорящего. Однако наряду с нейтральной формой местоимения 1 л. мн. ч. *women*, имеется форма *zanmen*, противопоставленная первой форме по линии обязательности включенности собеседника (инклюзивное "мы"). Положительное значение этого признака предполагает включение говорящим собеседника в свою личную сферу, когда он

говорит "мы с тобой (с вами)" вместо нейтрального "мы". В случае же сочетания *ren men* "люди", выражающего общее имя "человек" в его множественном прочтении, мы имеем дело со стилистической окрашенностью. Данное сочетание встречается только в возвышенном литературном стиле, когда говорящий (автор) выражает свое особенное отношение (симпатию, уважение) к обозначенному ИГ денотату, вовлекая его в мир своего повествования, например, *caoyuan shang de ren men* "люди, живущие в степи".

В заключение процитируем перевод лаконичной словарной статьи о *men* в нормативном словаре [15]: "*men* употребляется после местоимений или существительных, обозначающих лиц, для выражения множественного числа: *women* ("мы"), *nimen* ("вы"), *xiangqin men* ("земляки"), *tongzhi men* ("товарищи"). Если перед существительным стоит числительное, *men* опускается; например, нельзя сказать *san ge haizi men* ("трое детей"). Тем не менее возможно предложение <16> *Fumuqin dou si le, zhe san ge haizi men you shui lache da?* "Отец с матерью умерли, кто же вырастит этих троих детей?"

Возвращаясь к примеру <1>, отметим, что процитированную формулировку словаря можно признать точной лишь в случае, если употребление *men* не является результатом вовлечения денотата ИГ в личную сферу говорящего, но об этом в словаре ничего не сказано. При наличии числительного употребление *men* возможно в прямом обращении к денотату, когда число денотата не несет смысловой нагрузки, а входит в привычную форму обращения (*liang wei guniang men* "вы, две барышни", см. пример <16>). Появление показателя *men* в ИГ с числительным наблюдается и тогда, когда говорящий выступает в качестве покровителя (ср.: пример <16>).

Представление о личной сфере говорящего актуально не только в контексте употребления показателя *men*, своеобразного переключателя ИГ в другой смысловой режим. Понятие личной сферы говорящего позволяет интерпретировать языковые факты, с которыми мы встречаемся ежедневно, но которые мы не в состоянии объяснить. Например, сочетание слова *xiao* "маленький" и *lao* "старый" с фамильным знаком (*xiao Wang* "маленький Ван", *lao Li* "старина Ли") образует особую категорию личного имени, зависящего от возраста человека. Такая форма образовывается именно на базе фамильных знаков, поскольку в Китае фамилии, в отличие от имен, произвольно сочиняемых родителями, представляют собой более или менее закрытый список. Употребление указанных форм возможно только тогда, когда собеседник уже включен в личную сферу говорящего. Форма с *laolxiao* противопоставляется нейтральной форме *Wang xiansheng* "господин Ван", *Wang tongzhi* "товарищ Ван", *Wang buzhang* "министр Ван" и т.п. С подобными формами определенным образом соотносятся обычное местоимение 2 л. *ni* ("ты" или "вы") и его вежливая форма *nin* ("Вы"). Последняя форма неприменима к человеку, которого говорящий включил в свою личную сферу. По отношению к старикам, которых говорящий включил в свою личную сферу покровительства, *nin* употребляется в сочетании с выражением *lao renjia* "уважаемый, пожилой человек" – <17> *Nainai nin lao renjia lei le, zuoxia xie yihuir* "Бабуся ты устала, посиди, отдохни маленько". Здесь реализуется именно элемент "почет" значения *nin*, который всегда присутствует при обращении к пожилым людям, даже тогда, когда они включаются в личную сферу говорящего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тянь Аошун. О функционировании знаковой системы китайского языка. Вестник МГУ. Сер. 13. "Востоковедение", 1989. № 1.
2. Тянь Аошун. Прагматика как новый метаязык для описания изолирующих языков (на материале китайского языка) // Всесоюзная конференция по типологии. Тезисы докладов. М., 1990.
3. Talmy L. How language structures space. Berkeley. 1983. P. 227.
4. Ly Shuxiang. Shuo "men" // Hanyu yufa 111wen ji. Beijing, 1955.

5. *Коротков Н.Н.* Основные особенности морфологического строя китайского языка. М., 1968.
6. *Shiyoung Nanyu yufa.* Beijing, 1983. P. 24.
7. *Коротков Н.Н., Рождественский Ю.В., Сердюченко Г.А., Солнцев В.М.* Китайский язык. М., 1961. С. 56–57.
8. *Nanyu ba bai ci.* Beijing, 1981. P. 342.
9. *Арутюнова Н.Д.* Предложение и его смысл. М., 1976. С. 307.
10. *Hong lou meng.* Beijing, 1982.
11. *Тань Аошун.* Предложение тождества и акт отождествления // Тождество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990.
12. *Апресян Ю.Д.* Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семантика и информатика. Вып. 28. М., 1986.
13. *Wierzbicka A.* *Lingua mentalis.* Sydney, 1980. P. 192.
14. *Семантические классы предикатов.* М., 1982. С. 37.
15. *Xiandai Nanyu cidian.* Beijing, 1984. P. 777.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1994 г. К. МОСС

ОЛЬГА ФРЕЙДЕНБЕРГ И МАРРИЗМ

Известный специалист по литературе античности Ольга Михайловна Фрейденоберг (1890–1955) жила и работала в среде, не слишком благоприятной для развития науки. В первые годы советской власти, как отмечает Н.В. Брагинская, редактор многих работ Фрейденоберг, «научный скептицизм заметно потеснился, дав место пафосу построения совершенно новой науки на совершенно новых основах. Насущной становится проблема "происхождения" жизни, языка, человека, и решена она должна быть незамедлительно» [1]. Для этого требовалась совершенно новая наука, но не было достаточно времени, чтобы досконально проверить новые принципы на опыте, вследствие чего оригинальность в науке иногда ценилась выше основательности. Выдвигались ученые, которые порвали с традиционными понятиями и методами, ученые, провозглашавшие создание "советской" науки, которая все больше самоизолировалась от "западной" буржуазной науки. Эта самоизоляция достигла предела в 40-х годах, когда советские ученые целых отраслей знаний работали как бы в вакууме, герметически отделенные от внешнего мира.

Основное направление советских гуманитарных наук в 20–50-е гг. было подсказано немецкой наукой XIX в., но влияние более современной западной науки категорически запрещалось. Если теория была санкционирована официально – это происходило скорее по политическим, чем по научным причинам, – только политические ошибки, реальные или мнимые, могли остановить ее бурный рост. Мир ученых в сталинском Советском Союзе можно сравнить с теплицей, в которой теории растут без вмешательства внешней конкуренции, до тех пор пока не возникнут проблемы с главным садовником, который, вместо того, чтобы чуть-чуть подрезать лишние ростки, вырывает растение с корнем. Без такого вмешательства, идеальные условия могут способствовать обильному росту любой теории.

Пример такой бурно развивающейся науки – "мичуринская биология" в применении Лысенко. Другой пример – яфетическая теория Николая Яковлевича Марра. Ни биологию Лысенко, ни яфетическое языковедение Марра нельзя сформулировать в виде отработанной последовательной системы. Теория менялась с каждым годом и часто приходила в противоречие с предыдущими постановками¹. Но теория развивалась бурно.

После исходного утверждения, что грузинский язык находится в родстве с семитическим, Марр начал решать проблему происхождения языка всего человечества вообще. Претендуя в послереволюционные годы на место единственного "марксистского языковедения", так называемое "новое учение о языке" доказывало свою новизну тем, что категорически отвергало все общепринятые теоретические постановки. Марр не принимал учения о языковых семьях и о заимствовании в языках. Вслед за ним и Фрейденоберг отвергла теорию заимствования в литературе. Подобно манифестам футуристов, работы Марра и Фрейденоберг были рассчитаны и на то, чтобы эпатировать публику. Эта черта относится к Фрейденоберг даже до знакомства ее с работами Марра: главный тезис ее кандидатской диссертации о греческом романе

¹О развитии и противоречиях в теории Марра [2].

[3] – генетическая связь христианского евангелия с греческим романом о любви – наверное, шокировал более традиционных специалистов.

Роль Марра – один из самых важных вопросов в развитии Фрейденберг как ученого. Как она смотрела на свои отношения к Марру и как близки были их теории? Можно ли отнести ее марристские связи к компромиссу с господствующей идеологией?

Данная статья – часть более обширной работы о Фрейденберг, основанной на целом ряде источников [4]. С одной стороны, есть прижизненные и посмертные публикации Фрейденберг. С другой стороны, недавно были опубликованы и "Воспоминания о Марре" самой Фрейденберг, которые она написала в 1936 [5]. Российскому читателю известна переписка Фрейденберг с ее двоюродным братом Борисом Пастернаком, которая была опубликована в 1988 г. в журнале "Дружба народов" [6]². Два последних издания включают и отрывки из "Записок" Фрейденберг. Эти "Записки" (возможное название Фрейденберг "Пробег жизни": это стоит как заглавие, но чаще всего она ссылается на свои "Записки") Фрейденберг написала в конце 40-х – начале 50-х гг. Они составляют около двух с половиной тысяч печатных страниц автобиографии и хранятся в архиве семьи Пастернаков в Оксфорде³. Из них опубликованы всего две маленькие части [8–9].

На теории Марра повлияло его романтически-националистическое отношение к своему родному грузинскому языку. Ситуацию усугубило также и невысокое мнение о западных лингвистах, плохо знающих кавказские языки. Уже в 1886 г. Марру казалось, что есть сходство между грузинским и семитскими языками. Это "открытие" было сразу же подвержено критике со стороны преподавателей Марра [2], но со временем эта мысль легла в основу его лингвистической теории. Марр расширил семью "яфетических" языков, включив в нее помимо грузинского, армянского и всех коренных кавказских языков и другие языки мира вплоть до баскского, этрусского, пелазгского, дравидийских и т.д. Его интересовали этнические и географические имена, уцелевшие в живых языках как реликтовые формы самих архаичных языков. Когда он стал находить все больше и больше "яфетических" форм во всех языках мира, Марру пришлось отказаться от идеи существования яфетической семьи. Вместо этого, термин "яфетический" стал применяться к одной из стадий, через которые проходят все языки в "едином глоттогоническом процессе". Путем "палеонтологического анализа" Марр искал самые архаичные элементы в языках мира и определил 12 этнических элементов, которые со временем были сведены к 7, потом к 5, и наконец, в 1926 г. к четырем: *сал, бер, йон, рош* или просто А, В, С, D. Согласно Марру, "все слова всех языков, поскольку они являются продуктом одного творческого процесса, состоят всего-навсего из четырех элементов" [10]. По новому учению о языке, все языки мира развивались по единому образцу и проходили стадии, которые соответствовали стадиям экономического и общественного развития. Марр обосновал свои языковые стадии теориями французского антрополога Л. Леви-Брюля и немецкого философа Э. Кассирера о стадийном развитии мышления⁴. Бинарное разделение Леви-Брюля на первобытное и логическое мышление Марр расширил в более сложную схему нескольких стадий. Марр воспользовался так называемой "диффузностью" первобытного мышления, чтобы установить семантические связи между разными словами в разных языках. Углубляя свой анализ в доисторическое время вплоть до палеолита, Марр уже не мог основывать свои теории на одной лишь морфологии. Единственным критерием сравнения осталась семантика. "Во всяком случае, по тем доисторическим эпохам, когда не только в речи человека нет особой категории глаголов, нет строгой скристаллизовавшейся общности в речи, т.е. синтаксиса, как нет тогда ее и в жизни, нет, понятно, связанной с этой обще-

²Более полный вариант переписки появился на западе под редакцией Эллиота Моссмана.

³"Записки" цитируются с любезного разрешения Лидии Леонидовны Пастернак-Слейтер, ссылка дается на тетрадку и страницу (далее сокращенно – Зап.).

⁴О влиянии теорий Л. Леви-Брюля и Э. Кассирера на яфетическое языковедение см. [11–14]. О влиянии Леви-Брюля на Кассирера см. [15]

ственностью морфологии, единственной путеводной нитью может служить семантика" [16]. Дологическое мышление (по Леви-Брюлю), или мифическое мышление (по Кассиреру) не отличает часть от целого, вещь от свойства, общее от частного, пространства от времени, причины от следствия.

Научный успех Фрейденберг можно отчасти отнести к ее связям с Марром. Но нельзя предположить, что она претендовала на статус ученика Марра. Сходство между их теориями было естественным. Фрейденберг познакомилась с Марром в 1924 г., когда большинство ее идей уже были сформулированы, и до того, как новое учение о языке Марра стало единственной дозволенной школой языковедения.

До 1924 г. Фрейденберг не знала учения Марра. Она услышала о нем от А.Н. Генко⁵, коллеги на курсе у Жебелева [5, с. 182], и от С. Быховской⁶ в Публичной библиотеке. Но они впервые познакомились, когда Фрейденберг хотела устроить защиту кандидатской диссертации в ИЛЯЗВ-е (НИИ сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока). В конце разговора, Марр заметил: "Вы должны во всех подробностях рассказать мне Вашу работу, потому что все, что я от Вас услышал, то самое, что я делаю в лингвистике" [4, с. 183–184].

Защита "Греческого романа как деяния и страсти" 14-го ноября 1924 в ИЛЯЗВ-е была вехой в карьере Фрейденберг. Ее подход, который связывал греческий эротический роман с "Деяниями Павла и Феклы" – с параллелями между страстью в романе и страстями Христа и мучеников – оказался слишком революционным для традиционных профессоров. Трое официальных оппонентов – Малеев, Толстой, и даже руководитель Жебелев – пытались снять с себя ответственность за ее работу. Она их обвинила в том, что новые принципы они принимают за ошибки. Не была она принята и некоторыми представителями "молодого" поколения. Как Фрейденберг позднее вспоминает, кто-то в зале встал и сказал, что это борьба двух поколений. "Однако молодое, новое поколение – это мы, формалисты. Я заявляю от имени этого поколения, что эта диссертация нам чужда, что мы не принимаем диспутанта" [17]. Фрейденберг всегда противопоставляла свой метод методу формалистов.

Но на этой же защите Фрейденберг нашла новых друзей и союзников в науке в лице И.Г. Франка-Каменецкого и Н.Я. Марра. Фрейденберг познакомилась с Франком-Каменецким, специалистом по Библии и близким коллегой Марра, предшествующим летом на одной из его лекций. Она пишет, что "все, что он говорил, до такой степени повторяло меня, что было мне почти неинтересно. Я занималась Грецией, ища связей и объяснений в Библии. Он занимался Библией, ища связей и объяснений в Греции" ("Зап". 3, с. 83). Франк-Каменецкий, естественно, одобрил работу Фрейденберг. Марр, который возглавлял Славянскую секцию института, решительной одобрительной речью «бесцеремонно закрыл прения. Он встал и зачитал написанные им самим слова резолюции. Там в сильных выражениях говорилось о том, что "принимая во внимание совершенно новые, прогрессивные"... я уж не помню что, – но принимая во внимание что-то необычайно хорошее, ученый совет присуждает... Я ничего не успела запомнить, как Марр, зачитавший это стоя, сам (вместо ученого секретаря) в мгновение ока кивнул налево и направо, сказал "возражений нет" – и закрыл собрание. Никто не успел опомниться» [7, с. 78]. Для Фрейденберг это было началом союза, который предрешил ее академическую карьеру. К концу 20-х годов Марр стал самым авторитетным голосом советского языковедения. Но Марр стал корифеем в языковедении не сразу.

После защиты Фрейденберг провела год в поисках работы. Иногда она давала уроки английского языка. Она писала, публиковала статьи, читала доклады. В 1925 г. ее приняли в ИЛЯЗВ. В следующем году Марр пригласил ее в свой Яфетический институт. Она продолжала работать над будущей докторской диссертацией "Поэтика

⁵В мемуарах Фрейденберг пишет, что Анатолий Нестерович Генко, кавказовед, считал себя единственным учеником Марра, пока не появился И.И. Мещанинов [5].

⁶Софья Быховская, которая работала в Публичной библиотеке, директором которой был Марр, советовала Фрейденберг познакомиться и с Марром и с Франк-Каменецким

сюжета и жанра". В 1929 г. ИЛЯЗВ стал ИРК (Институтом речевой культуры). В конце двадцатых годов Фрейденберг, под руководством Марра, организовала и редактировала коллективный труд "мифической секции" Яфетического института о Тристане и Изольде.

Фрейденберг закончила свою "Поэтику сюжета и жанра" в 1928 г. Она показала ее Марру, который обещал опубликовать ее и принять в Яфетическом Институте как докторскую диссертацию. Начиная с сентября 1928 г. Фрейденберг долго билась над публикацией "Поэтики". В декабре Марр сообщил, что ее работа принята в издательстве Коммунистической Академии, но потом поставил условие, что она придет в Москву читать доклад. В Москве Фрейденберг познакомилась с Валерианом Аптекарем, который пропагандировал Марра. По возвращении в Ленинград, она послала Аптекарю рукопись, но работу так и не напечатали, а издательство Комакадемии скоро закрыли.

Власть марристов росла с каждым годом. В 1932 г., когда организовали кафедру классической филологии в ЛИФЛИ (Ленинградский институт философии, литературы и истории, впоследствии филологический факультет ЛГУ), его директор Горловский хотел, чтобы кафедрой заведовал человек со связями с Марром. Он выбрал Фрейденберг. Она два месяца отказывалась в пользу Жебелева, Малеина, Толстого, но в конце концов согласилась и пригласила ученых со всех концов страны, давая предпочтение ученым-исследователям.

Из записок Фрейденберг ясно, что близость ее к Марру была естественной и что она началась до того, как марризм стал единственной официальной советской школой языковедения. Дважды Фрейденберг пишет, что не Марр, а она впервые ввела как предмет изучения семантики, наряду со словом и действием, вещь⁷. Фрейденберг предвосхитила в своих неопубликованных работах идеи, выраженные Марром в печати. Она не скрывает ограниченность Марра и в человеческих отношениях: "Он думал об одном всегда, ночь и день. Для него не существовало ничего, кроме палеонтологической семантики в приложении к отдельным словам. Здесь он был мастер, артист, гений, бог"⁸. Но он, с ее точки зрения, оказался неспособным к "любви учителя к студенту"⁹. В 1936 г. Фрейденберг написала свои воспоминания о Марре, которые недавно появились в печати [5]. Она пишет: "Меня толкнули на это слащавые, фальшивые воспоминания, напечатанные в том (1936) году" [5, с. 178]. Но тогда цензура не пропускала ее версию¹⁰.

Фрейденберг не скрывала свою неприязнь ко всем, кто окружал Марра, и ее воспоминания подтверждают версию, что крайности марризма – это не вина самого Марра, а, скорее, его последователей: "Вокруг Марра толклись какие-то ничтожные подхалимы, не способные ни к какой науке, неучи, страшные фанатики..."

Когда марризм стал обязательным методом в лингвистике, Фрейденберг понадобилось доказать свою с ним близость. Это было особенно неприятно во время публикации "Поэтики сюжета и жанра" в 1936 г.: «От меня требовали признания, что моя книга написана по Марру; всякое дыхание меня самой изгонялось. В отделе "вещи" мне ввели Марра – а это было неверно, так как я шла от немецкой археологии, от Узенера с его метафористикой вещи»¹¹. Марра искусственно ввели во многих местах, предисловие переписали пять раз, включая все больше и больше Марра: "в предисловии вставлены фразы о Марре, писанные под мой слог"¹². "Во мне накипело в душе от Марра. Чем влиятельней он становился, чем насильственной он заставлял принимать свое учение и подлаживаться под политику, тем громче поднимался во мне негодующий протест. Я желала сбросить с себя гнет его имени,

⁷"Зап". 3, с. 203, 5 с. 182

⁸"Зап". 3, с. 80.

⁹"Зап". 1, с. 48.

¹⁰М Фрейденберг. Воспоминания о Н.Я Марре, с. 181–204.

¹¹"Зап" 5, с. 183.

¹²"Зап". 5, с. 184.

тяготевший над моей научной индивидуальностью; мне надоело терпеть гонение за недостатки его теории и отдавать в его приходную книгу свои научные достижения"¹³.

Во главе тех, кто хотел, чтобы Фрейденберг "отдавала в приходную книгу Марра свои научные достижения", был Валериан Аптекарь. Аптекарь – типичный пример тех, кто пользовался успехом Марра для своей карьеры. Аптекарь помогал Марру облекать его теории в подходящие марксистские фразы. Фрейденберг так описывает свою первую встречу с Аптекарем в 1928 г.: «Весело и самоуверенно он признавался в отсутствии образования. Такие вот парни, как Аптекарь, неучи, приходили из деревень или местечек, хватывались партийных лозунгов, марксистских схем, газетных фразеологий и чувствовали себя вождями и диктаторами. Они со спокойной совестью поучали ученых и были искренне убеждены, что для правильной систематизации знаний ("методологии") не нужны самые знания» [6, № 7, с. 224]. Когда "Поэтика" появилась, Аптекарю она не понравилась: в ней не хватало Марра. Его замечания к Фрейденберг дают картину академической атмосферы 1936 г.: "Сейчас в обстановке открытой и прикрытой травли Н.Я., точнее его великого дела, – необходимо опускаться на головы гадов полные котлы смолы и других подобных специй, всякий ложный шаг особенно опасен, всякий недостаточно углубленный анализ – на руку врага"¹⁴. Фрейденберг не понравились новые изменения в школе Марра: "Столько лет, борясь за Марра, я боролась за передовую мысль и ее независимость; теперь я видела, что она сама стала деспотичной, нетерпимой, неумной"¹⁵.

Чем популярнее и обязательнее Марр становился, тем труднее для Фрейденберг было оставаться марристкой. Она всегда стихийно протестовала против всякой ортодоксальности, поэтому ей было сложно, когда теории Марра были канонизированы и спорить с ним открыто запрещалось.

Наследие Марра еще ждет беспристрастного критического анализа в России. В 50-е годы сталинская анафема устранила возможность серьезного разговора о его вкладе в науку. Но и после мало кто относится к наследию Марра объективно. Те, кто пострадал от преследования марристами, т.е. большинство лингвистов, достойных этого звания, вообще не хотят обсуждать никакие теории Марра.

С точки зрения научной работы, нет сомнения, что Марр вдохновлял Фрейденберг и способствовал ее работе. Но принятие лингвистики Марра нанесло ущерб ее работам, особенно в 20-х и начале 30-х годов, когда ее статьи изобилуют марристскими этимологиями. Что Фрейденберг нашла полезным в новой теории о языке?

В терминологии Р. Якобсона, доминантой марровской лингвистики является парадигматический полюс¹⁶. Марра интересовало сходство, и он всегда старался доказать генетическое тождество двух слов, исходя из семантического тождества. Трансформационные правила, дающие возможность переходить от одного термина к другому, кажутся как бы придуманными на ходу – они менее интересовали Марра, чем тождество данных форм. Марр практически игнорировал смежность в пространстве и во времени: не было заимствований, лингвистические элементы не передвигались, фонологические изменения не были обусловлены ни фонологией (смежными звуками), ни временем (что означало бы линейное, горизонтальное, поступательное изменение).

Развитие теорий Марра похоже на описанный им процесс, в котором изначальные четыре элемента размножались путем раздвоения, качественного противоречия, скрещения и стадийности, чтобы произвести все языки мира. Ввиду обширности его теории, ввиду количества языков, которые он принимал в свой круг зрения, не удивительно, что не получилось единой системы без противоречий. Но несмотря на невоздержание и крайности Марра, некоторые стороны его теории оказались плодотворными. В областях, в которых интуитивная интерпретация так же полезна,

¹³"Зап". 3, с. 144–145, ср. [6, № 7, с. 201, прим. 15].

¹⁴"Зап". 6, с. 8.

¹⁵"Зап". 5, с. 145, Ср [5, с. 201, прим. 15].

¹⁶Идея о парадигматическом и синтагматическом полюсах связана с афазией [18].

как эмпирический подход, "новое учение о языке" дало импульс к новым открытиям. Одной такой областью является палеонтологическая семантика в применении к литературе.

Палеонтологическая семантика в фольклоре и литературе – это область Фрейденберг и Франка-Каменецкого. На самом деле они были единственными представителями "школы" литературоведения, у которой было больше названий, чем истинных последователей: "марровская", "яфетидологическая", "палеонтологическая", "семантическая", "генетическая". Слово "марровская" говорит само за себя. "Яфетидологическая" происходит от марровского названия сначала "яфетической" семьи, потом "яфетической" стадии в развитии всех языков. Марра интересовала доисторическая "палеонтологическая семантика" слов, их происхождение ("генезис") в этнических и географических терминах.

В своем определении палеонтологической семантики, Марр писал, что "в семантике на различных ступенях стадияльного развития одни и те же слова получают различные восприятия значимости" [10, с. 255]. Иными словами, форма остается, значение меняется во времени. Этой идеей, Марр правильно заметил, пренебрегли "буржуазные" формалисты – включая школу сравнительной истории индоевропейцев, которых Марр так ненавидел, – и стали на позицию морфологического анализа фонологических закономерностей. Марр, и еще больше Фрейденберг, обратили внимание на толкование семантики одной не меняющейся формы в контексте разных стадий развития общества. Переход от палеонтологической семантики Марра в лингвистике к палеонтологической семантике Фрейденберг в поэтике достаточно прямой. Марр утверждал, что одна форма обозначала разные значения в разных стадиях (таким образом, одно слово, согласно Марру, могло обозначать "собаку" в одной стадии и "лошадь" в другой). В живых языках, которыми в основном занимался Марр, легко установить значение данного слова, спросив у носителя языка. В письменном древнем языке, в области Фрейденберг, проблема осложняется. Значение нужно восстановить из контекста, если слово по форме не меняется. Когда одна и та же форма употребляется в разных контекстах для обозначения чего-то другого (в отличие от более ранней стадии), объективный результат – то, что мы называем фигуральность, иносказание. Фрейденберг как раз играет на этимологии слова "иносказание": слово теперь "иначе сказывается". Мы обычно считаем, что иносказание – это употребление слов для обозначения чего-нибудь другого – не того, что они обычно обозначают. Фрейденберг толкует происхождение иносказания наоборот: естественное употребление слов, чтобы обозначить что-нибудь другое, создает эффект иносказания, фигуральности. Отсюда интерес Фрейденберг к исторической поэтике метафоры и сравнения.

Увлечение Марром привело в конце 20-х начале 30-х гг. к самым крайним утверждениям Фрейденберг. Марровские фонологические изменения, которые можно было применять практически без ограничения ко всем языкам мира, помогли ей составить длинные списки якобы тождественных терминов. Тождество географически разбросанных терминов она оправдывала тем, что "локализация семантическая достоверней топографической" [19]. Увлечение отождествлением иногда доходит до абсурда в работах Фрейденберг марровского периода. В статье о Терсите она связывает Терсита с Ахиллом, Одиссеем, Агамемноном, Зевсом и с фармаками как "восходящими к диффузному бесполому аморфному образу" [20]. В статье о Маккусе и Марии она связывает около ста терминов из разных языков на основе тождества марровских основ *mak(fak) – mag – mar* [21]. Но чаще всего Фрейденберг оставляет яфетический анализ своего материала лингвистам. Например, в статье "Thamyris" она приводит имена и также сюжеты вокруг этих имен, без яфетической этимологии, как "сырой материал для лингвиста" [19, с. 72]. В "Воспоминаниях о Марре" Фрейденберг пишет, что она "не выпускала ни одной статьи, не проверив ее у Марра. Обычно я к нему приходила и говорила ему о своих выводах; он брал листок бумаги, начинал раскладывать слово на элементы и читал мне их семантику. Не было ни одного

случая, когда литературоведческий вывод не совпадал бы с выводом лингвистическим [5, с. 196–197]. Но память ей изменяет: материал об имении Тамирис Марр как раз не подтвердил: "Это различные языки различных систем, имена ничего общего между собой не имеют"¹⁷. Часто Фрейденберг сравнивает мотивы из широко разбросанных культур и из разных исторических эпох в духе марровской лингвистики: "Хочется спорить с недопустимостью разбросанно-географических сопоставлений" [19, с. 76]. Фрейденберг сама понимала, что к ее анализу будут претензии из разных областей из-за широты ее охвата: "Широта моей специальности тоже осложняет дело – вместо десятка врагов у меня их будет сотня" [7, с. 88]. Она оправдывала "тождество" мотивов тем, что одинаковые стадии культурного развития производят одинаковые мотивы – это культурный эквивалент марровского единства глоттогонического процесса, в котором общества на одинаковых этапах развития говорят на языках одинаковых систем.

Такая теория снимает проблему достоверности: любой вариант мифа так же достоверен, как любой другой, безразлично, из какого источника или когда он возник. Французский структуралист-антрополог Леви-Стросс также избегает данной проблемы, когда он определяет миф как нечто "состоящее из всех версий". Его единство основано на структуре человеческого ума, а не на процессе культурного развития. Но тем не менее, самые строгие критики чаще всего критикуют мифологов-структуралистов из-за этого принятия всех вариантов.

В своих "Записках" Фрейденберг указывает, что она пришла к Марру самостоятельным путем: "Мне легко показать, исходя из хронологии работ Марра, свою полную самостоятельность. Но я ни одного года не прожила в свободной научной обстановке. Авторитет Марра и ортодоксальность его фанатичных учеников частью сбивали меня, неопытную, с толку, частью давили и терроризировали. Но внутренне я очень скоро сбросила с себя всякое принуждение. Именно потому, что я встретила с Марром с самостоятельной параллельной работой, я ценила, уважала, и понимала Марра и органически не была в состоянии изменить ему"¹⁸. Уже в период работы над "Поэтикой" Фрейденберг чувствовала себя неортодоксом среди учеников Марра. «Теория стадиальности всегда была мне чужда. Я находила ее поверхностной и эволюционной. Для меня самое интересное лежало в том, что различия определяют всякую жизнь, всякое функционирование, существование: это была исконная и единственно возможная форма выражения мирового единства. ...Открыто возражать против стадиальности было нельзя. И как Марру не показалось подозрительным, что именно теория стадиальности была всеми сейчас же принята! И теорию четырех элементов я считала неверной. Сперва стихийно, а потом осмысленно я рвалась к тому, чтобы выводить "то" из "этого", "это" из "того", то есть класть качественный водораздел между фактором и фактом: по Марру, факт происходил из четырех архетипов»¹⁹.

В своих лекциях, "Введение в теорию античного фольклора", которые были написаны в 40-х годах, Фрейденберг открыто спорит с Марром: "Все предметы представлялись тождественными. Однако, несмотря на то, что многообразие не осознавалось, оно объективно отражалось в образе. Этого не учитывали Марр и его школа" [22, с. 20]. Фрейденберг интересовало именно это многообразие формальных разновидностей образа. Как и другие серьезные ученые, она считала теорию Марра о четырех элементах мистикой. Фрейденберг не согласилась с его интерпретацией "архетипов": "Итак, я еще раз подчеркиваю невозводимость метафор друг к другу, их смысловое равноправие как разновидностей говорящего в них образа. Тем самым нет (по отношению к одному и тому же образу) архетипных метафор или метафор, происшедших друг от друга. Марр не прав, когда говорит об образах-архетипах" (там

¹⁷"Зап". 3, с. 194–195. Этот отказ от отождествления кажется нехарактерным для Марра, тем более, что в это время (1927) он уже выдвинул теорию о "единстве глоттогонического процесса".

¹⁸"Зап". 3, 205, стр. [5, № 7, с. 204].

¹⁹"Зап". 5, 205, стр. [17, с. 277].

же). Еще одно расхождение с Марром происходит по поводу "закона семантизации". По Марру предметы получают названия по функции в производстве, по Фрейденберг они названы метафорически: "Так, например, первым питанием служили желуди; когда появились злаки и хлеб, они, выполняя функцию желудя, стали называться желудями. У Марра и у меня факты одни и те же, но их теоретическое обоснование различно. У Марра – линейный переход языковых значений по производственной функции нарекаемого предмета. У меня – отрицание того, что первобытное сознание могло понимать производственную функцию: предмет нарекался метафорически, без всякого отношения к его реальной функции в производстве" (там же). На рукописи она последствием оставила следующую запись: "Критика теории Марра, которого я глубоко уважала, вызывалась чисто научными причинами. В разгар насильственного насаждения его теории я не могла предполагать, что последует за 1950 годом" [5, с. 200, прим. 13].

Фрейденберг устроилась на работу благодаря марровским связям, но она по той же причине потеряла свою кафедру. Весной 1948-го г. началось тщательное рассмотрение деятельности Фрейденберг под руководством Вулих и Тронского. Ее научные работы, ее студенты, ее кафедра – все подверглись следствию в поисках идеологических искажений. На официальном заседании, которое состоялось 1-го июня 1948 г., они пытались доказать, что Фрейденберг искажает Марра и поддерживает Веселовского. Фрейденберг пишет, что «за волной в биологии пошла волна в лингвистике. Марр приравнен к Мичурину, Мещанинов к Лысенке... Теперь Вулих провозгласила, что я "искажаю" Марра, и Бердников это подхватил, Тронский обосновал. Итак, я была против Веселовского – они объявили, что я "объективно" сестра Веселовский. Я была за Марра – они объявили, что я "объективно" против него» ("Зап"., 14, с. 41). Она пошла в атаку: она читала из учебника Тронского, где он сам хвалил Веселовского. Результат: в конце заседания зачитали резолюцию против и Фрейденберг, и Вулих. "Ордалии" 1948-го года Фрейденберг пережила, оставшись заведующей кафедрой.

Последние "ордалии" пришли два года спустя, когда началась так называемая "свободная дискуссия" о Марре в газете "Правда". Сначала борьба с космополитизмом способствовала упрочению позиции марровцев в лингвистике: "новое учение о языке" являлось сугубо советской наукой, в нем не было ни капли "низкопоклонства перед западом". Но оно было и космополитической наукой в первоначальном смысле этого слова, продукт 20-х годов, а не 40-х. Хотя работа Фрейденберг мало касалась лингвистики, непосредственного предмета дискуссии, разгром Марра распространился и на его "учеников". Сталин объявил Марру и марризму анафему, и все связанные с ним должны были каяться или подвергаться преследованию. Враги Фрейденберг воспользовались ситуацией, чтобы подготовить ее уход. "В последний день учебного года, 30-го июня, проходила на нашей кафедре очередная ордалия. Ведьмой служила я. Судила меня Вулих. Когда Марр был в силе, она доказывала с пеной у рта, что у меня с ним нет ничего общего. Теперь она проводила между нами знак полного тождества" ("Зап". 14, с. 138). Кругом все каялись в своей ошибке. Если человек особенно громко каялся, это значило, что он раньше с особенной энергией поддерживал Марра. В такой обстановке Фрейденберг, которая никогда не верила ни в четыре элемента, ни в стадиальность, ни в переход значений по функции и давно не пользовалась марровской терминологией, выразила свое уважение к Марру и отказалась отречься от своего учителя и коллеги. Фрейденберг возобновила свои просьбы об увольнении, и их в следующем году удовлетворили.

Да, Фрейденберг была марристкой. И хотя она получила кафедру благодаря связям с Марром, в лагерь к Марру она пришла самостоятельно, а не из карьеристских соображений. И поплатилась она за марризм и за мужество неотречения от Марра сначала кафедрой в период разгрома Марра, а посмертно четвертьвековым забвением. В области литературоведения школа палеонтологической семантики оказалась плодотворной. Работы Фрейденберг и Франка-Каменецкого о литературе

далеки от крайностей марровского языковедения. Но только сейчас к ним обращаются российские и зарубежные ученые, которые не боятся тени Марра. Будем надеяться, что теперь, когда во всех областях идет волна переоценки наследия периода Сталина, Фрейденберг тоже заслуживает объективного и беспристрастного анализа и займет, наконец, свое место в истории российской науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брагинская Н.В. От составителя // Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 569.
2. *Thomas L.L.* The linguistic theories of N.Ja. Marr. Berkeley, 1957. P. 135–136.
3. Фрейденберг О.М. Греческий роман как деяния и страсти. Дис. ... канд. филол. наук, Л., 1924.
4. *Moss K. Olga Freinderberg: A Soviet mythologist in a Soviet context.* Ph. D. Diss. Cornell University. 1984.
5. Фрейденберг О.М. Воспоминания о Н.Я. Марре // Восток – Запад: Исследования, переводы, публикации. М., 1988.
6. Борис Пастернак – Ольга Фрейденберг. Письма и воспоминания // Дружба народов, 1988. № 7–10.
7. Борис Пастернак – Переписка с Ольгой Фрейденберг. Нью-Йорк, 1981.
8. Фрейденберг О.М. Осада человека // Минувшее. Исторический альманах. Париж, 1988. 3.
9. Фрейденберг О.М. Будет ли московский Нюрнберг? // Синтаксис. Париж, 1988, 16.
10. *Marr N.Ja.* Избранные работы М., 1936. Т. 27 С. 16.
11. Франк-Каменецкий И.Г. Первобытное мышление в свете яфетической теории и философии // Язык и мышление. Л., 1929. № 3.
12. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра: период античной литературы. Л., 1938.
13. Десницкая А.В. О роли антимарксистской теории происхождения языка в общей системе взглядов Н.Я. Марра // Против вульгаризации и извращения марксизма в языковедении. М., 1951. Т. 1. С. 57.
14. Жирмунский В.М. Лингвистическая палеонтология Н.Я. Марра и история языка // Против вульгаризации извращения марксизма в языковедении. М., 1952. Т. 2. С. 186.
15. *Bidney D.* On the philosophical anthropology of Ernst Cassirer and its relation to the history of anthropological thought // The philosophy of Ernst Cassirer, Evanston, 1949.
16. *Marr N.Ja.* Избранные работы. М., 1936. Т. 3. С. 308.
17. Брагинская Н.В. О работе О.М. Фрейденберг "Система литературного сюжета" // Тыняновский сборник. Вторые тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 274.
18. *Jakobson R.* Aphasia as a linguistic topic. Two aspects of language and two types of aphasic disturbance // Jakobson R. Selected writings. The Hague, 1973.
19. Фрейденберг О.М. Тамурис // Яфетический сборник. Л., 1927. № 5. С. 76.
20. Фрейденберг О.М. Терсит // Яфетический сборник. Л., 1930. № 6. С. 250.
21. Фрейденберг О.М. К семантике фольклорных собственных имен Makkus и Maria // Советское языковедение. 1936. № 2.
22. Фрейденберг О.М. Введение в теорию античного фольклора // Миф и литература древности. М., 1976. С. 20.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

© 1994 г. В.А. ПЛУНГЯН, Е.В. РАХИЛИНА

О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ**0. Вводные замечания.**

Черта французской лингвистики, которая, может быть, в первую очередь поражает постороннего наблюдателя – это ее разнообразие. В отличие от многих других стран Европы, где, как правило, в теоретической лингвистике доминирует только одна научная школа, часто к тому же связанная с генеративным направлением (как в Голландии или Италии) или же самостоятельная (как "школа Дресслера" в Австрии), Франция в полной мере воплощает справедливость известного афоризма, что "лингвистик столько же, сколько лингвистов". Конечно, далеко не все из этих "лингвистик" хорошо известны за пределами Франции (в том числе и у нас), а некоторые и практически вовсе неизвестны; между тем, многие из них явно заслуживают большой популярности. Знакомство с французской лингвистикой тем более оправдано, что даже широко известные направления современной лингвистической теории (такие например, как генеративное или когнитивное) редко существуют во Франции в каноническом виде и обычно получают настолько своеобразное преломление на французской лингвистической почве, что с трудом оказываются узнаны и признаны своими "прародителями".

Настоящий обзор был задуман как панорама прежде всего общетеоретических школ и направлений; полностью или почти полностью за рамками нашего изложения остаются поэтому такие темы (бесспорно, заслуживающие отдельного обсуждения), как французская фонология и фонетика, большинство "частных" описательных лингвистик (например, богатейшие по своим традициям французские востоковедение и африканистика, славистика и др.), а также большинство смежных дисциплин (таких, как психолингвистика, история языка, семиотика и др.). Впрочем, в этом отношении будет сделано несколько важных исключений, связанных с тем, что французская теоретическая лингвистика почти во всех своих направлениях очень склонна как раз к междисциплинарной экспансии, своего рода "теоретической центробежности"¹.

По необходимости, мы в ряде случаев учитываем не только собственно французскую, но и франкоязычную лингвистику – прежде всего это касается некоторых научных центров Бельгии и Швейцарии, работающих в тесном контакте с Францией; однако преимущественное внимание уделено, естественно, французским (и даже, скорее, парижским) лингвистическим школам.

Разумеется, неполнота картины при такого рода замысле неизбежна. Укажем лишь, что при перечислении имен мы старались отдавать предпочтение лингвистам, являю-

¹ Здесь сказывается и господствующая структура научно-организационных связей, либо достаточно прочно удерживающих лингвистику в области традиционной филологии, либо – в более модернизированных структурах – подчиняющих ее требованиям информатики, искусственного интеллекта и т.п.

щимся авторами книг, а не только статей (хотя отнюдь не придерживались этого принципа догматически). Для удобства библиографических поисков (и учитывая сложность транслитерации) все имена при первом упоминании даются непосредственно во французской орфографии.

Документальную основу настоящего обзора образует составленная нами база данных по французской лингвистике и периодике за последние 25–30 лет; было использовано также несколько известных нам работ обзорного или критического характера [1–4]. Однако этот текст просто не мог бы быть написан без многочисленных бесед с нашими французскими коллегами, терпеливо вводившими нас в курс дела и давшими возможность взглянуть на научную панораму, так сказать, *in vivo*. Из многих имен, заслуживающих здесь упоминания, в первую очередь должны быть названы Pierre Attal, Jacqueline Authier-Revuz, Pierre Cadiot, Danielle Corbin, Sarah de Vogüé, Jean-Pierre Desclés, Jacqueline Fontaine, Françoise Gadet, Maurice Gross, Blanche-Noëlle Grunig, Roland Grunig, Christiane Marchello-Nizia, Denis Paillard, Stéphane Robert, Max Silberstein, Anne Zribi-Hertz, Ryszard Zuber; всем им мы приносим искреннюю благодарность. Разумеется, мы в полной мере несем ответственность за все возможные пробелы и неточности.

1. А. Culioli: лингвистика формы, лингвистика высказывания.

Теория А. Кюльоли, с которой мы начинаем наш обзор, может, пожалуй, считаться "самой французской" из всех существующих во Франции лингвистических теорий. Это касается как ее идейных источников, восходящих прежде всего к традициям Бенвениста и отчасти также Гийома², так и своего рода научной эстетики – внимания к формальной стороне языка, особой интеллектуальной изоциренности, переходящей часто в эзотеричность, парадоксальности в соединении априорно несопоставимых и несоединимых сущностей...

Несколько слов о самом создателе теории, личность которого оказала и продолжает оказывать значительное влияние на французскую лингвистическую атмосферу. А. Кюльоли родился в 1924 г. и в начале своего научного пути (с конца 40-х до конца 50-х гг.) специализировался как филолог-англист и преподаватель английского языка. Две его диссертации, защищенные одновременно в 1960 г., носят названия "К изучению сослагательного наклонения и сочинительной связи в среднеанглийском языке" и "Драйден, переводчик Чосера и Боккаччо". Начало 60-х гг. знаменует поворот в его лингвистическом мировоззрении в сторону создания оригинальной теории языка, противопоставленной и традиционной лингвистике, и (тогда еще не вполне традиционно) структурализму. Теория эта существует под именем "формальной" или, точнее, "лингвистики формы" (*linguistique formelle*), а также "лингвистики высказывания" (*linguistique énonciative*, подробнее об этом термине см. ниже). При всем своем влиянии на современную лингвистику, Кюльоли не относится к числу так называемых "плодовитых" авторов – его теория никогда не получала законченного, догматического оформления, многие его ключевые статьи насчитывают четыре-пять страниц и только недавно были, наконец, собраны под одной обложкой [7]. Большой след во Франции оставила научно-организационная деятельность Кюльоли; тремя учреждениями, в создании которых он принимал непосредственное участие и которыми в разное время руководил, являются: университет Paris 7 (и в первую очередь его Отделение лингвистических исследований и Лаборатория формальной лингвистики³), Институт им. Кар-

² Этот явно недооцененный при жизни лингвист также не относится к числу широко известных у нас; для более подробного знакомства можно рекомендовать недавно вышедший перевод одной из его главных книг [5], с комментариями Л.М. Скредлиной, впрочем, едва ли не более цельное представление о духе лингвистики Гийома дает его лаконичная работа [6]. К современным более или менее "ортодоксальным" продолжателям традиций Гийома относятся, в частности, А. Joly и М. Wilmet (Бельгия) – входящие, наряду с другими гийомистами и не-гийомистами (в частности, и с А. Кюльоли), в редколлегию известного теоретического журнала "Modèles Linguistiques".

³ Более подробно о деятельности сотрудников этой лаборатории см. также обзор [8].

ла V (крупнейший центр по изучению английского языка во Франции) и Международная ассоциация по прикладной лингвистике.

Теорию Кюльоли трудно охарактеризовать исчерпывающим и доступным образом, тем более в рамках беглого обзора. Как уже было сказано, она не существует в законченном, догматическом виде; это, в числе прочего, позволяет ее последователям поразному интерпретировать многие положения "формальной лингвистики". Тем не менее, мы рискнули бы выделить несколько ключевых идей, присутствующих во всех работах данной парадигмы: опора на форму при исследовании смысла; особый метаязык, строящийся вокруг понятия операции; учет речевой ситуации при анализе языковых единиц (отсюда другое название этой теории – *énonciative*). Языковые единицы объявляются "следами операций"; существует небольшое число базовых операций (важнейшая из них – операция "абстрактной локализации", "герégage), которые описываются в терминах очень абстрактного и бедного метаязыка (гораздо более абстрактного, чем, например, язык семантических представлений у А. Вежицкой или у Ю.Д. Апресяна и И.А. Мельчука). Уровень, на котором работает А. Кюльоли, можно назвать мета-семантическим: хотя именно лексика – основной объект его теории и его аксиоматики, семантический подход к анализу лексики чужд духу его теории; классический семантический анализ для него слишком конкретен, слишком связан с контекстными эффектами и не дает возможности отвлечься от вариативности чтобы сформулировать инвариант. Принцип инварианта также является одним из ключевых (что вполне вписывается в логику "одна форма" ~ "одна операция"); именно для формулировки инварианта и предназначен абстрактный, очищенный от возмущающих факторов контекста мета-семантический уровень операций.

Как всякая теория, теория Кюльоли к одним областям языка применялась и оказывалась применима в большей степени, чем к другим. Так как эта теория дает особенно интересные результаты там, где требуется индивидуальный подход к языковой единице, встречающейся во многих контекстах и, возможно, противопоставленной другим единицам того же рода, то естественно, что чаще всего ее объектом становятся служебные лексемы: артикли, дейктические и кванторные местоимения, модальные частицы и т.п.; описание с помощью аналогичной техники допускают и грамматические показатели (при этом А. Кюльоли обращает особое внимание на так называемые транскатегориальные явления, анализ которых требует одновременного обращения к различным грамматическим категориям языка, к рассмотрению фактов разных уровней). Особый, очень своеобразный аппарат разработан А. Кюльоли для анализа явлений, связанных с референцией и номинацией (в основе его лежит понятие домена, о котором подробнее см. [8]). А. Кюльоли охотно привлекает факты разных языков (что не так уж характерно для французской лингвистической традиции); по его собственным словам, он активно владеет материалом французского, английского, итальянского, корсиканского, русского, немецкого и шведского языков, часто использует данные греческого, латинского, японского, китайского языков; профессионально интересуется описаниями языков Африки [3: 35–36]. Однако А. Кюльоли скептически относится к современной типологии, считая, что задачей лингвистики должна быть не классификация языков, а скорее объяснение различий между ними; кроме того, "индивидуалистический" пафос подхода А. Кюльоли также не поощряет поиск системных закономерностей, столь любимых, например, классическим структурализмом. Впрочем, соединение крайнего индивидуализма и крайней абстрактности и в области классификаций может давать очень своеобразные результаты. Так, А. Кюльоли было предложено, а его сотрудниками развито деление всей лексики (как именной, так и глагольной) на три универсальных класса: "расчлененные" единицы (*discrets*), "нерасчлененные", или "плотные" (*denses*) и "нечленимые", или "сплошные" (*compacts*); эта классификация обнимает и противопоставление исчисляемых ~ неисчисляемых имен, и стивных ~ динамических глаголов, и многое другое (подробнее см. [9–10]).

Как уже было сказано, у разных последователей А. Кюльоли на первый план выступают разные аспекты его теории. Наиболее близки к А. Кюльоли в теоретиче-

ском плане в настоящее время J.-J. Franckel, D. Paillard и S. de Vogué. Ж.-Ж. Франкель является специалистом по французскому языку, ему принадлежит тонкий анализ лексических и грамматических средств выражения временных отношений в французском языке [11], целый ряд работ по анализу именной и глагольной лексики французского языка (см., например, [12]), и др. Д. Пайар работает на материале как французского, так и русского языков; в области русистики он автор работ по теории залога, вида, детерминации (ср. [13; 14] и др.), по проблемам описания модальных частиц [15] и глагольной префиксации; в более общем плане, помимо указанных проблем, он также уделяет внимание описанию полисемии и изучению референциальных механизмов языка. Сходные проблемы, но на материале французского языка, находятся в круге интересов и С. де Вогюэ (см. указанные выше работы).

Целый ряд лингвистов, находясь под бесспорным воздействием теории Кюльоли, в настоящее время более или менее серьезно отклоняются от его подхода. Так, L. Danon-Boileau, опубликовавший в 1987 г. вполне "кюльолистское" по духу сопоставительное исследование фрагментов французской и английской языковых систем [16], впоследствии выступил с теоретических позиций, более близких традиционной прагматике и отмеченным сильным влиянием психоанализа (ср. [17] и др.)⁴. Следует упомянуть и С. Fuchs, также исследовавшую глагольную систему английского языка (влияние А. Кюльоли в англистике понятно) и в последнее время уделяющую много внимания прикладным аспектам лингвистики, с одной стороны, и проблемам теоретической трактовки полисемии и перифразирования – с другой (ср. [18] и получившую большой резонанс статью [19], где предлагается топологическая ("коннексионистская") модель полисемии).

2. O. Ducrot: теория аргументации. Лингвистическая прагматика.

Имя Освальда Дюкро гораздо более широко известно за пределами Франции (может быть, это самый популярный из ныне здравствующих французских лингвистов, если, конечно, не считать А. Мартине); в теоретическом отношении, однако, он несколько менее оригинален и гораздо более "интернационален", чем А. Кюльоли. Вместе с тем, влияние О. Дюкро на ряд областей лингвистики, объединяемых иногда под несколько расплывчатым названием "лингвистика текста", очень велико. Так как работы О. Дюкро и его последователей до некоторой степени известны и у нас (укажем на перевод одной из статей О. Дюкро в сб. "Новое в зарубежной лингвистике", 1982, вып. 13, с. 263–291), позволим себе лишь напомнить основные положения его концепции.

По образованию О. Дюкро является философом; лингвистическую деятельность он начал только в возрасте 33 лет, после встречи с А. Мартине. Сам он относит себя к структуралистскому направлению, полагая, что лишь расширил структуралистскую модель языка за счет коммуникативного компонента. Первые лингвистические работы О. Дюкро были посвящены анализу понятий пресуппозиции и речевого акта и отмечены сильным влиянием идей Дж. Остина и Дж. Серла; впоследствии О. Дюкро выработал собственную систему понятий и интерес его сместился в сторону изучения языковой аргументации (ср. его книги [20–23]). Так, понятие пресуппозиции уступило место понятию *т о п о с а* (термин заимствован у Аристотеля, определяемого как исходное предположение, служащее базой для аргументации; то или иное утверждение в языке может быть правильно или неправильно только по отношению к фиксированному топосу, а не само по себе. Важным для О. Дюкро является также понятие *п о л и ф о н и и*, т.е. присутствие в значении языковой единицы нескольких точек зрения, нескольких позиций, нередко конфликтующих друг с другом.

Вообще, подход О. Дюкро к анализу языка можно определить как своего рода "борьбу с языком"; по его собственному выражению, задача лингвиста заключается

⁴ Роль психоанализа как "философской составляющей" французской лингвистики (и других гуманитарных дисциплин) – особая тема, важность которой ни в коей мере нельзя недооценивать; в частности, без этого трудно понять многое в работах таких лингвистов, как M. Agn v, J.-C. Milner и др.

в том, чтобы обходить постоянно встречающиеся на его пути "ловушки языка" [3, с. 69]. Кредо О. Дюкро – обнаруживать то, что говорящий "на самом деле" имел в виду, но не сказал, и вскрывать языковые средства, которыми пользуется для этого говорящий. Лингвистика Дюкро – это лингвистика намеков, недомолвок и скрытой полемики. В плане конкретного анализа наиболее интересные результаты, как и следовало ожидать, теория Дюкро дает при описании служебной лексики, действительно используемой в языке для выражения всех тех отношений, моделированию которых О. Дюкро столь привержен; напомним, что он же является и автором емкого термина "mots du discours" ("дискурсивная лексика"), который впоследствии получил хождение и у лингвистов других направлений⁵. Здесь есть известная близость – главным образом, по объекту исследования – к лингвистам школы Кюльоли, также пристально интересующимся служебной лексикой; учет параметров речевой ситуации также сближает эти два направления (в этом можно видеть и общее наследие Бенвениста). Однако лингвистика Кюльоли не является лингвистикой аргументации и не имеет явных точек соприкосновения с теорией речевых актов (Кюльоли интересуется скорее феномен вариативности смысла при постоянстве формы, а не прагматические цели участников диалога и способы их достижения).

Во французской лингвистике О. Дюкро не является одинокой фигурой. Его ближайший ученик и последователь – J.-C. Anscombe (ср. их совместную работу [24]; рецензия М.Ю. Михеева на эту книгу опубликована в журнале "Научно-техническая информация", сер. 2, 1988, № 10); без ссылок на О. Дюкро ныне не обходится ни один лингвист, причисляющий себя в той или иной степени к специалистам по прагматике. Данное направление (отталкивающееся как от идей Дюкро, так и от англо-американской традиции) очень широко представлено во Франции, что связано с общей "центробежностью" французской лингвистической мысли, о которой говорилось выше: исследователи охотнее осваивают смежные с лингвистикой области и теории, будь то психология, поэтика или риторика, чем остаются в классических рамках "языка в себе и для себя". Здесь можно выделить прежде всего "лионскую школу", возглавляемую С. Kerbrat-Orecchioni, специалистом по анализу диалога (analyse conversationnelle) [25; 26 и др.]. В принципе, в поле ее зрения находится тот же круг проблем и феноменов, что и у О. Дюкро, с несколько большим вниманием к тому, что можно было бы назвать риторическими возможностями языка (в частности, анализ диалоговых клише, форм вежливости, комплиментов и т.п.). Специалистами по прагматике в ее более традиционном понимании, уделяющими много внимания чисто философской стороне проблемы, являются А. Berrendonnet (работающий в настоящее время во Фрибуре) [27] и F. Récanati (переводивший Дж. Остина и опубликовавший собственное исследование перформативных высказываний [28]). В этой связи полезно упомянуть и женеvскую школу (тесно связанную с французской лингвистической традицией), также специализирующуюся на анализе диалога и моделировании аргументативно-прагматических аспектов языка (может быть, с несколько большим уклоном в сторону логического анализа языка, о котором см. ниже). Это прежде всего E. Roulet, J. Moeschler и другие лингвисты, группирующиеся вокруг журнала "Cahiers de linguistique française" [29]. Дискурсивным анализом с самостоятельных позиций занимаются еще P. Charaudeau (также специалист по семиотике массовой коммуникации) [30], J. Authier-Revuz (уделяющая особое внимание метаязыковой рефлексии говорящих, анализируя, в частности, автономные употребления, процедуры самоверификации, использование кавычек на письме и т.п. – ср. [31] и др.), и многие другие авторы.

3. Наследие структурализма.

В силу естественной инерции многие считают, что структурализм, или "функционализм" (linguistique fonctionnelle), связанный прежде всего с именем А. Мартине,

⁵ Отметим в этой связи недавно вышедший "Путеводитель по дискурсивным словам русского языка", отразивший некоторые результаты совместной деятельности группы российских и французских лингвистов под руководством Д. Пайара

продолжает определять своеобразие современной французской лингвистики. По-видимому, в такой сильной форме это утверждение уже не верно: ведь достаточно решительный отход от парадигмы структурализма (если вспомнить, например, первые выступления А. Кюльоли) начался во Франции не позже 60-х гг., а предпосылки к возникновению этой тенденции существовали и гораздо раньше (можно ли, например, назвать структуралистом самого Э. Бенвениста?). Вместе с тем, и сегодня функционализм существует как достаточно активная школа, его сторонники издают собственный журнал "La linguistique", их голоса продолжают звучать и оказывать определенное влияние на лингвистическую панораму Франции.

Можно напомнить в этой связи, что А. Мартине создал весьма стройную и последовательную теорию для описания грамматической структуры языка (особенно морфологии и синтаксиса), основанную на понятиях мюемы, синтагмы и др.; этот аппарат широко использовался в 60-70 гг. (но продолжает использоваться и до сих пор) во многих описаниях "экзотических" языков, особенно африканских (в свое время этому немало способствовали работы такого синтаксиста, как М. Houis [32]). Сложившись в основных чертах в 60-е гг., функциональная лингвистика продолжает существовать в практически неизменном виде, "не заметив" ни возникновения генеративизма за пределами Франции, ни новых научных тенденций в самой Франции (ср., впрочем, попытку обсуждения внутренних проблем функционализма в [33]).

Вместе с тем, можно выделить по крайней мере две области, где наследие функционализма еще вполне живо и, в том или ином преломлении, продолжает давать определенные результаты: это социолингвистика и, отчасти, психолингвистика. Это отнюдь не случайно, если вспомнить научную биографию самого А. Мартине, всегда интересовавшегося проблемами языковой вариативности (вначале преимущественно на фонологическом материале) – как географической, так и социальной и индивидуальной; отсюда – и интерес к нестандартным разновидностям языка, различным аргю, а также к изучению устной формы языка (l'oral) в ее отличии от письменной (l'écrit) – дихотомия, весьма актуальная для современной французской культурной ситуации.

Традиции функционализма в психолингвистике наиболее последовательно воплощает F. François (признанный специалист по детской речи, ср. [34] и др.), а в социолингвистике – D. François-Geiger, основавшая при университете Paris V Центр по изучению аргю (аргтологии) [35]; названные авторы (а также, например, F. Bentolila, J. Boutet, M. Mahmoudian, H. Walter и др.) в той или иной степени работали и в области описания французского языка с позиций функционального подхода (ср. написанную под общей редакцией А. Мартине "Функциональную грамматику французского языка" [36]).

Социолингвистический подход (с большей или меньшей долей социологического компонента, т.е. понимаемый весьма широко) вообще достаточно популярен во Франции, в силу той же тенденции к междисциплинарным поискам. Помимо работ таких авторов, как P. Bourdieu⁶ [37] (может быть, в большей степени социолога и этнолога⁶, чем лингвиста) или P. Achard [38], соблюдающего приблизительное равенство социального и лингвистического компонента в своих работах, многочисленны исследования, посвященные преимущественно проблемам языковой политики или описанию языковых ситуаций во Франции и за ее пределами (отметим здесь, в числе многих других, достаточно хорошо известные у нас имена J.-V. Marcellesi и J.-L. Calvet).

С другой стороны, очень плодотворны направления, специально ориентированные на описание нестандартных разновидностей французского языка. Это прежде всего группа, руководимая С. Blanche-Benveniste (Экс-ан-Прованс), сотрудники которой последовательно описывают разговорный французский язык, главным образом, его синтаксический компонент, который, как известно, весьма сильно отличается от фран-

⁶ Здесь мы совсем не касаемся этнолингвистики, крайне популярной во Франции (особенно в 70-80 гг.) и связанной с именами таких исследователей, как G. Calame-Griaule, L. Vouiquaux, J. Thomas и мн. др.; более подробно о французских этнолингвистах см. обзор [37]. Этнолингвистическая идеология оказала особенно значительное влияние на практику описания языков, составления словарей "цивилизаций", и т.д.

цузского письменного синтаксиса (вплоть до структурных типологических отличий) [40]; следует упомянуть в этом ряду также интересные исследования F. Gadet по французскому просторечию [41; 42].

4. Типология и описание языков.

Как нам уже приходилось отмечать, во Франции нет крупной типологической школы, точнее – французская теоретическая лингвистика до недавнего времени была скорее чужда целенаправленному изучению разных языков ради их сопоставления (во Франции не было, так сказать, ни своего Сэпира, ни своего Шухардта). Теоретики ограничивались, как правило, рамками французского языка (в лучшем случае, использовались данные английского и, может быть, еще одного или двух известных языков). Конечно, из этого правила всегда существовали исключения (достаточно вспомнить хотя бы Кантино, бывшего, как известно, не только теоретиком структурализма, но и арабистом), однако в целом удельный вес "чужих языков" в лингвистических теориях, созданных во Франции, существенно ниже по сравнению с тенденциями научного развития, господствовавшими, например, в США (ведь лингвистику Сэпира и Блумфилда в принципе невозможно представить без иноязычного материала).

Тем не менее, ситуация в современной лингвистике медленно меняется, и само сочетание "лингвистическая типология", как кажется, утрачивает присущий ему в глазах среднего французского лингвиста английский акцент.

Теория Кюльоли, оказавшая значительное влияние и на дескриптивную лингвистику, хотя и отрицает ценность типологической классификации языков в качестве самоцели, все же – что уже является достаточно примечательным – настаивает на принципиальной необходимости и ценности привлечения лингвистического материала из самых разных языков: каждый язык обладает своим особым набором того, что А. Кюльоли называет "физико-культурными свойствами"; описание системы операций, регулирующих употребление, например, грамматических единиц в каждом конкретном языке, является привлекательной для теоретика задачей. В этой связи интересно отметить целый ряд попыток описания "экзотических" языков, выполненных – целиком или частично – в духе теории Кюльоли; в наибольшей степени отмечены проникновением "формальной лингвистики" китайстика и африканистика (укажем, например, интересные в разных отношениях – и при этом отнюдь не сходные друг с другом – работы V. Alleton [43], M.-C. Paris [44], E. Bonvini [45], S. Robert [46]).

Существуют, разумеется, лингвисты, занимающиеся сопоставлением языков в рамках других теоретических школ. Здесь можно выделить несколько групп имен. С одной стороны, это близкие к традициям структурализма С. Hagège и A. Lemaréchal, с другой стороны – G. Lazard, опирающийся в значительной степени на традиции Теньера.

К. Ажеж, блестящий лектор, полиглот (в частности, автор нескольких описаний языков Центральной Африки), не чуждающийся также и популяризации языкознания, в наиболее оригинальных из своих многочисленных работ (ср., например, [47; 48]) затрагивает проблемы типологической классификации языков в зависимости от распределения одной и той же грамматической информации по разным частям речи; в центре его наблюдений лежит известный феномен функционального соответствия многих индоевропейских или уральских предлогов и превербов глагольным лексемам языков других ареалов (Африки, Юго-Восточной Азии и др.). В ряде своих последних работ К. Ажеж в некоторой степени сближается с когнитивным направлением (см. ниже), обнаруживая интерес к различным проявлениям "человеческого фактора" в языке [49; 50]. А. Лемарешаль, также уделявший большое внимание проблемам типологии частей речи [51], специализируется, главным образом, по языкам австронезийской группы; он автор грамматического описания языка палау [52].

Ж. Лазар, иранист с классическим востоковедческим образованием, в последние годы активно занимается (вместе с сотрудниками созданной им в Париже рабочей группы) проблемами выражения актантных отношений в языках мира и – шире – проблемами описания синтаксических глагольных категорий (пассив, антипассив,

интранзитив и др.) и таких явлений, как инкорпорация. Работы Ж. Лазара и его сотрудников (публикуемые в периодическом сборнике "Actances") базируются на широком типологическом материале, полученном, как правило, "из первых рук" — помимо индоевропейских и семитских языков, привлекаются языки Африки, Новой Каледонии, Южной и Юго-Восточной Азии, Южной Америки и др. ареалов; ряд важных выводов и теоретических положений обобщен Ж. Лазаром в недавно изданной книге "Актантная структура" [53]. Рассматривается, в частности, иерархия степени связанности объекта с глаголом, в рамках которой получают свое объяснение такие явления, как факультативное маркирование прямого дополнения (иранские и тюркские языки), квазинкорпорация (полинезийские языки), настоящая инкорпорация, и др.

Результаты, полученные группой Ж. Лазара, свидетельствуют, между прочим, и о достаточной "жизнестойкости" традиционной лингвистики (в частности, лингвистики описательной); и в этой связи нельзя не назвать имена нескольких крупных представителей традиционного языкознания, внесших как свой вклад в лингвистическую теорию, так и — главным образом — оказавшими большое личное влияние на формирование нескольких поколений более молодых лингвистов (самых разных теоретических воззрений). Это семитолог и автор исследования по типологии глагольного вида D. Cohen [54], латинист и специалист по теории падежей G. Serbat [55] и, в особенности, испанист, типолог и этнолингвист В. Pottier (во многом близкий школе Гийома) [56]⁷.

Особого разговора заслуживают, кроме того, те типологические исследования, которые в последнее время ведутся в рамках специфических теоретических подходов — речь идет прежде всего о генеративной типологии и когнитивной типологии; соответствующие работы мы постараемся охарактеризовать ниже, в разделах, посвященных судьбе данных научных школ во Франции.

5. Автоматический анализ естественного языка.

Как и во всем мире, период конца 50-х — начала 60-х гг. ознаменовался во Франции взрывом прикладных исследований в области лингвистики (машинный перевод, автоматические словари, автоматическая обработка текстов); эти и другие направления прикладной лингвистики дали впоследствии импульс исследованиям в области искусственного интеллекта и информатики. Именно на этой первоначальной волне интереса к формальным методам описания языка, напомним, была основана Лаборатория формальной лингвистики А. Кюльоли (большинство сотрудников которой, впрочем, предпочли интерпретировать термин "формальный" как производный от "форма", а не от "формализация"). Между тем, в том же университете Paris 7 в 1965 г. начала работу лаборатория автоматической обработки текстов и (прикладной) лингвистики (LADL), которую возглавил Maurice Gross — ныне одна из ведущих фигур в области прикладной лингвистики и теоретической лексикографии.

М. Гросс многим известен как сторонник методов дистрибутивного анализа и последователь "школы Харриса". Действительно, он начинал свою лингвистическую деятельность под руководством З. Харриса, воспринял многое от его методов и активно способствовал пропаганде его взглядов во Франции (ср. недавний сборник [57] с обзорными статьями М. Гросса и самого З. Харриса). Однако подход М. Гросса к описанию синтаксических трансформаций характеризуется целым рядом оригинальных черт, заставляющих говорить если не о собственной теории, то по крайней мере о весьма своеобразной рецепции Харриса на французской почве. Главная из этих черт — смещение акцента с общего и регулярного в описании трансформационных механизмов языка на индивидуальное, что фактически противоречит традиционной трансформациона-

⁷ Б. Поттье выступал также и как теоретик, автор собственной лексико-грамматической концепции (и один из немногих французских лингвистов, всерьез интересовавшийся грамматической типологией), "синтемы" Поттье присутствуют в терминологическом арсенале авторов описаний "экзотических" языков немногим реже, чем "монемы" Мартине или "классемы" Греймаса.

листской идеологии. В очень огрубленном виде пафос подхода М. Гросса можно сформулировать как утверждение о том, что синтаксическое поведение каждого слова в языке индивидуально, и, желая получить сколько-нибудь подробную синтаксическую классификацию, аккуратный исследователь неизбежно выделит почти такое же количество классов, каким количеством исходных лексем он располагал: нет двух глаголов движения или двух названий инструментов с одинаковым набором синтаксических признаков. Конечно, такая высокая вариативность синтаксического поведения может быть объяснена семантически и упорядочена на некотором более высоком уровне описания, но, по убеждению М. Гросса и его сотрудников, предварительным этапом семантического исследования должно быть решение чисто дескриптивных задач. К таким задачам, например, относятся составление перечня релевантных синтаксических свойств глагольных и (с недавнего времени) именных лексем и перевод их в формат, удобный, в частности, для автоматической обработки текстов (подробнее о содержательной и технической стороне подхода М. Гросса и его сотрудников см. также обзор [58]; основные результаты М. Гросса применительно к французскому языку опубликованы в [59–61]). Сам М. Гросс и его сотрудники называют свой подход лексико-грамматическим (франц. *lexique-grammaire*, англ. *lexicon-grammar*); из сказанного выше ясна идеология, стоящая за этим названием. Основным практическим результатом деятельности LADL являются весьма тщательно и на высоком техническом уровне составленные машинные словари и компьютерные базы данных, отражающие прежде всего нестандартную сочетаемость лексем. Эта информация может быть разного типа: сюда входят и модели управления глаголов (фиксируемые, надо сказать, традиционными французскими словарями весьма непоследовательно), и фразеологизмы, и так наз. "операторные глаголы" (термин З. Харриса, приблизительно соответствующий лексическим функциям в модели "Смысл (=) Текст"). Кроме того, учитывается грамматическая информация и трансформационные свойства: например, способность глаголов образовывать различные виды пассивных, абсолютных и др. конструкций. В последнее время ряд сотрудников LADL (в частности, Gaston Gross, ранее опубликовавший исследование о французских конверсных конструкциях [62]) интенсивно занимается описанием свойств именной лексики и композитов⁸.

В контакте с LADL работают многие специалисты по машинному переводу (в частности, L. Danlos, участвующая в создании известной системы автоматического перевода на языки Европы "Eurotra" [63], и R. Catté [64]); крупный центр по машинному переводу находится также в Гренобле (С. Voitet и др.).

Крупным организационным центром исследований в области "компьютерной лингвистики" является Ассоциация по автоматической обработке текстов (ATALA) и издаваемый ею журнал "Т.А. Informations" (в деятельности которых заметную роль играют такие специалисты по лингвистике и информатике, как J.-L. Lebrave, R. Grunig, J.-P. Desclés, M. Borillo, B. Fradin и др.). Работы в области прикладной информатики, искусственного интеллекта и моделирования человеко-машинного диалога ведутся также в лаборатории LIMSI при университете Paris 11 (Orsay); помимо специалистов в области прикладных проблем взаимодействия человека с машиной, в этом центре работают и несколько теоретиков, например, G. Sabah и F. Rastier (последний более известен как специалист по семиотике и когнитивной семантике, ср. [65; 66]). О когнитивном направлении во французской лингвистике подробнее см. ниже.

6. Генеративная лингвистика.

Франция, конечно, не могла остаться полностью в стороне от общих тенденций развития лингвистики, и распространение генеративной теории Хомского по всему миру не оставило французских лингвистов безучастными. Вместе с тем, Франция ни в коей мере не является "бастионом" генеративизма в Европе – может быть, не будет

⁸ Помимо французского языка, лексико-грамматический подход используется для описания немецкого, итальянского, испанского и нек. др. языков в рамках исследовательской сети RELEX, объединяющей целый ряд лабораторий Западной Европы.

преувеличением сказать даже, что из всех европейских стран (если не считать России) она оказалась к теории Хомского наиболее равнодушна. Тому есть много причин – и в первую очередь это существование собственных очень своеобразных теоретических традиций, идущих вразрез с целым рядом ключевых постулатов теории Хомского, характеризующих механизмицизмом и (до самого недавнего времени) англоцентричностью; генеративная лингвистика нередко воспринималась, пользуясь выражением А. Кюльоли, как "скорее техника описания, чем теория языка".

Тем не менее, генеративная лингвистика во Франции существует, хотя далеко не все, называющие себя генеративистами, могут быть без колебаний стнесены к числу сторонников канонической теории Хомского. Наименее ортодоксальный вариант генеративного подхода связан, пожалуй, с именем такого лингвиста, как J.-C. Milner; в своих многочисленных работах он фактически развивает собственный вариант синтаксической теории, лишь по происхождению связанный с порождающей грамматикой Хомского: общим компонентом остается едва ли не одно только признание автономии синтаксиса в модели языка и подчиненного ("интерпретирующего") характера семантики. Заметим, что эти два постулата, в общем, не противоречат магистральным тенденциям развития французской лингвистики: здесь налицо и внимание к формальным механизмам языка (в данном случае, синтаксическим конструкциям), и "отталкивание" от семантики; впрочем, Ж.-К. Мильнер признает необходимость исследования референциальных механизмов языка, пресуппозиций и других "логических" элементов. Среди разнообразных и всегда несколько парадоксальных работ Ж.-К. Мильнера, богатых тонкими синтаксическими наблюдениями (ср. его книги [67–69] и мн. др.), специалисты выделяют исследование, посвященное пассивным конструкциям [70]; заметим, что во многих своих работах общего характера Ж.-К. Мильнер опирается на традиции психоанализа (в духе Лакана), что также нельзя считать характерным для ортодоксального генеративиста (но весьма характерно для представителя французской интеллектуальной элиты 70–80 гг.)

Может быть, немного более ортодоксальным генеративистом (насколько это вообще возможно во Франции) является другой крупный исследователь, N. Ruwet. Начиная как синтаксист, автор генеративного описания французского языка [71]; ср. также его популярное пособие [72], он, впрочем, впоследствии перешел к исследованиям в области поэтики, семантики художественного текста и подобным, столь же не генеративистским, сколь и характерным для французской лингвистики темам⁹ (ср. [73; 74]). Однако вокруг Рюве сформировалась значительная научная школа¹⁰, и его более молодые ученики действительно могут быть названы генеративистами в точном смысле этого слова: объединенные, главным образом, вокруг университета Paris VIII и Группы по исследованиям в области генеративной грамматики (ее руководителем в настоящее время является H.-G. Obenauer), эти исследователи, в частности, единственные, насколько нам известно, работают в терминах теории управления и связывания, сменяющей традиционную трансформационную порождающую грамматику. У лингвистов этого направления существует ярко выраженный интерес к типологическим исследованиям (особенно у A. Zribi-Hertz, активно занимавшейся типологией анафорических средств, в частности, на африканском материале); многие из них специализируются на генеративном описании какого-либо иностранного языка: английского (J.-Y. Pollock, J. Guéron), баскского (G. Rebuschi), румынского (C. Dobrovie-Sorin), валлийского (A. Rouveret) и др. Из работ этого направления отметим также два важных исследова-

⁹ К сожалению, тематические рамки нашего обзора заставляют нас полностью исключить из рассмотрения работы по поэтике и анализу художественного текста – традиционно один из наиболее привилегированных сюжетов у французских лингвистов и филологов; достаточно назвать такие разные имена, как M. Arrivé, G. Matoré, H. Meschonic, J. Moïno, G. Mounin и мн. др.

¹⁰ О школе Мильнера в точном смысле: говорить сложнее; тем не менее, из генеративистских исследований французского языка работы таких авторов, как, например, H. Huot [75], A. Delaveau и F. Kerleroux, достаточно близки к подходу Мильнера.

ния по общему и французскому синтаксису [76; 77], дающие представление о возможностях современной генеративной лингвистики во Франции.

Кристаллизация генеративного направления вокруг университета Paris VIII не случайна – она находится в прямой связи с деятельностью целого ряда работавших там лингвистов-германистов (например, D. Clément, специалиста по синтаксису немецкого языка, и многих других); по понятным причинам, именно германисты были основными проводниками теории Хомского во Франции. В этой связи нельзя не упомянуть деятельность В.-Н. Grunig, также сотрудничавшей в Paris VIII. Начиная как исследователь и критик теории Хомского [78], она впоследствии перешла на позиции когнитивной лингвистики, что характерно для очень многих современных лингвистов (о когнитивном направлении во Франции см. в следующем разделе). Наглядным отражением этого пути, изменений интересов (если угодно, изменений лингвистической "моды") служил журнал "DRLAV – Revue de linguistique", издававшийся до недавнего времени университетом Paris VIII (ныне этот, один из лучших, может быть, французских лингвистических журналов, к сожалению, прекратил свое существование).

Замечание. Трудно удержаться и не сказать несколько слов о поразительном разнообразии французской лингвистической периодики. Нам известно около 30 изданий, выходивших в 70–90 гг. (большинство из них продолжает выходить и до сих пор), и без хотя бы беглого знакомства с ними невозможно составить адекватного представления о лингвистической панораме Франции. Помимо хорошо известных "академических" изданий с прочной репутацией "Langages" и "Langue française" (выходящих монотематическими выпусками), а также несколько более традиционалистских "Bulletin de la Société de linguistique de Paris" и "Cahiers de lexicologie", упомянем посвященные в основном современному французскому языку (но с большей долей теоретических материалов) "Le français moderne" и "L'information grammaticale" (последний также помещает материалы по вопросам практического преподавания). Работы школы М. Гросса публикуются, главным образом, в очень содержательных "Linguisticae investigationes"; "Modèles linguistiques", журнал по общей теории языка, ближе к традициям школы Гийома и школы Кюльоли. Издаваемый в Нанттерре (университет Paris X) динамичный журнал "LINX", помимо самых разнообразных статей по общему языкознанию и типологии, помещает много материалов по социолингвистике и прикладной лингвистике. Наконец, выделяется своей индивидуальностью новый журнал "Le gré des langues" (гл. ред. S. de Vogüé), основной (хотя и не единственной) своей задачей провозгласивший, вполне в духе французской научной идеологии, изучение языка с позиций других наук и профессий, поскольку язык "не является собственностью одних только лингвистов". Все это – журналы только парижские, но не последнюю роль в лингвистической жизни Франции играют журналы и периодические сборники, издаваемые университетами Тулузы и Экс-ан-Прованса, Метца, Страсбурга и Лилля, Безансона и Ренна... Существуют, кроме того, специальные издания по социолингвистике ("Langues et société", "Mots"; много статей по социолингвистике публикует также функционалистская "La linguistique"), типологии ("Faits de langues"), истории языкознания ("Histoire, épistémologie, langage"), искусственному интеллекту ("Intellectica"), семиотике, контрастной лингвистике и теории перевода, журналы по африканистике, славистике, востоковедению, и т.д., и т.п.

Наконец, было бы несправедливо не назвать по крайней мере три франкоязычных издания, выходящих за пределами Франции, но достаточно прочно интегрированных во французскую лингвистику: швейцарские "Cahiers de linguistique française" [Женева], бельгийские "Travaux de linguistique" [Гент] и канадское "Revue québécoise de linguistique" [Монреаль].

7. Когнитивная лингвистика.

Хотя направление, объединенное здесь под общим названием "когнитивная лингвистика", в теоретическом отношении следует в основном за такими американскими авторами, как Р. Лапгэкер, Т. Гивон или Р. Джэкендофф, и оно также достаточно неоднородно и включает в себя немало исследователей, работающих различными методами и решающих разные задачи. (Отчасти это объясняется и тем, что когнитивный подход сейчас в моде, и кто-то просто использует научную фразеологию этого направления, продолжая, по существу, делать то же, что и раньше.)

Общим для всех представителей когнитивного подхода является стремление объяснить наблюдаемые в разных языках феномены организации языковых элементов и поиск таких объяснений в сфере психологии, в частности – психологии интеллектуальной деятельности. Отсюда – апелляция к таким понятиям, как "память" и "внимание"

при описании, например, анафорических механизмов, или широкая экспликутация понятия метафоры (отчасти с легкой руки Дж. Лейкоффа).

Таким образом, когнитивные лингвисты нередко работают в контакте с психологами и психолингвистами, которые со своей стороны в той или иной степени испытывают интерес к языковым фактам; во Франции это прежде всего G. Denhière, D. Dubois, J.-F. Richard и др. Однако пространство между психологией и лингвистикой еще остается очень значительным, несмотря на встречные попытки сблизить эти две науки.

Среди когнитивных лингвистов выделяется направление, работы которого связаны с идеей пространственной метафоры: это, с одной стороны, G. Fauconnier (ныне работающий в США), исследующий скорее общие закономерности метафоризации смысла [79], и, с другой стороны, С. Vandeloise (бельгиец, ныне также работающий в США) и группа под руководством А. Borillo (Тулуза), разрабатывающие пространственную модель французского языка на материале, в частности, пространственных предлогов (ср. [80]; работы А. Борилло и ее сотрудников публикуются в журнале "Cahiers de grammaire", Toulouse). "Когнитивность" подхода здесь диктуется прежде всего самим материалом и проявляется, главным образом, в стремлении разграничить физические свойства объектов и их концептуализацию в языке: так например, исследователя интересуют не всякие объекты, имеющие высоту, а лишь такие, высота которых отражается в сочетаемости с определенными предлогами, то есть, является лингвистически релевантной. Иными словами, для подтверждения той или иной физической характеристики объекта нужно всякий раз искать то, что А. Вежбицка называет *linguistic evidence* [81] (позиция Вежбицкой, действительно, во многом близка подобному подходу, хотя слова "когнитивный" она старается избегать).

Особое место внутри когнитивного направления занимает J.-P. Desclés. По образованию математик, он, заинтересовавшись математической лингвистикой и защитив диссертацию по проблемам формализации трансформационной грамматики, сблизился с А. Кюльоли, предложив некоторый математический аппарат и для формализации "формальной лингвистики" [82]. В дальнейшем Ж.-П. Декле стал использовать математический аппарат аппликативной грамматики (впервые предложенный американцем Х.Б. Карри в 1958 г. под названием "комбинаторная логика"), причем особое внимание он обращал на возможность формального описания глагольных категорий естественного языка (прежде всего, естественно, вида и времени) с целью создания когнитивной типологии, использующей, наряду с математическим, также элементарный психологический аппарат: ср. прежде всего [83], а также [84]. (Ряд положений данного подхода реализован также в исследовании З. Генчевой [85] на материале болгарского языка.) Наиболее интересные, с нашей точки зрения, результаты получены Ж.-П. Декле при описании пассива и рефлексива; в частности, с помощью целого ряда аргументов убедительно показаны несимметричность активных и пассивных конструкций, первичность безагентивного пассива по сравнению с агентивным, необходимость семантической классификации глагольных лексем для решения проблемы запретов на пассивизацию, и др. (см. указанную выше литературу, а также специальную статью [86]).

В последнее время когнитивная парадигма притягивает все большее количество исследователей; в этом плане характерна серия публикаций такого авторитетного специалиста, как G. Kleiber (Страсбургский университет), посвященных проблемам категоризации и теории прототипа (и содержащих, в частности, полемику с известной концепцией Э. Рош – ср. [87]). Ж. Клейбер известен и как специалист по логике и теории референции (среди его работ – исследования по именам собственным [88], проблемам детерминации и артикля [89], и др.). Строго говоря, работы Ж. Клейбера было бы уместно рассматривать в непосредственно следующем разделе, посвященном логико-семантическому направлению во французской лингвистике – направлению, одним из ведущих представителей которого он является. Однако экспансия когнитивного подхода такова, что границы между разными теоретическими школами иногда смещаются.

8. Логический анализ языка и семантика.

Внутри этого направления прежде всего выделяются исследователи, близкие непосредственно к математической логике и интересующиеся возможностями применения того или иного математического аппарата к фактам естественного языка (об опытах такого рода Ж.-П. Декле, но в рамках когнитивного подхода, говорилось выше). Помимо уже упоминавшегося Ж. Клейбера, одним из ведущих исследователей в этой области считается R. Martin; он выступает, главным образом, как специалист по логическому анализу лексики (отметим его работу, посвященную антонимии и другим отношениям между лексемами [90], а также более общее исследование, затрагивающее лингвистические аспекты модальной логики [91]). Кроме того, Р. Мартен занимался историей французского языка (в частности, историей глагольных категорий) и общими проблемами французской лексикографии; в настоящее время он возглавляет Национальный институт французского языка (INALF) и руководит работами по завершению многотомного Словаря французского языка XIX–XX вв. "Trésor de la langue française" (до него этот пост занимал В. Quémada).

Р. Мартен и Ж. Клейбер, несмотря на некоторое различие в подходах (в частности, более "когнитивную" ориентацию последнего) могут быть оба отнесены к "страсбургской семантической школе", давшей немало исследователей (из которых может быть упомянут, например, М. Riegel). Характерными особенностями страсбургской школы являются: внимание к лексическим элементам языка, анализ отношений между лексемами с учетом как аппарата логики/теории референции, так и традиционной семантики и лексикографии; здесь часто проявляется тот же вкус к индивидуальному в языке и та же тонкость наблюдений, которые мы встречали и у представителей других школ и течений (например, у Ж.-Ж. Франкеля или А. Борилло)¹¹.

Помимо представителей "страсбургской школы", существует немало других лингвистов, изучающих язык с позиций логики или в рамках формально-логической проблематики. Это, например, М. Galmiche (+1992), специалист по грамматике Монтегю [93], которому принадлежат также публикации по теории лингвистических моделей, современным семантическим теориям языка и др.; другим популяризатором теории Монтегю во Франции является М. Chambreuil. Близкий к когнитивному направлению F. Nef является автором работ по интенциональной семантике, теории референции и общим проблемам логического анализа естественного языка (ср. [94; 95] и др.). Наконец, к лингвистам, которые активно используют в своих работах логический аппарат (но являются лингвистами в большей степени, чем логиками), можно отнести таких исследователей, как R. Zuber (специализирующийся, в частности, на изучении пресуппозиций, имплицатур и других неявных компонентов смысла [96]) и J. Jayez (исследующий, главным образом, логические слова и коннекторы). Изучением свойств отрицания (прежде всего, на материале французского языка) активно занимаются Р. Attal и Cl. Muller [97; 98].

Отметим здесь одну особенность французской лингвистики, о которой мы уже отчасти упоминали раньше: французской лингвистической традиции, в общем, чужда классическая семантика (в том виде, как она существует в других странах, ассоциируясь с именами А. Вежбицкой, Ю.Д. Апресяна, Ч. Филлмора или Дж. Лайонза). Конечно, работы отдельных лингвистов во Франции очень близки к тому, что без колебаний можно было бы назвать "чистой" семантикой (в первую очередь, это Р. Мартен и Ж. Клейбер), но на общем фоне они являются скорее исключением, чем правилом. Изучение содержательной стороны языковых единиц во Франции превраща-

¹¹ Говоря о традициях логического анализа языка во Франции, нельзя обойти стороной такую фигуру, как J.-V. Grize. Хотя этот исследователь работает в Швейцарии (Нешатель), он тесно связан с французской научной школой. В круге его интересов – логический анализ языка [92], теория аргументации, психология (он является одним из издателей и комментаторов Пиаже), социология, прикладная лингвистика. Его теория "ментальных операций" в некоторых отношениях созвучна взглядам А. Кюльоли, последний и сам признавал определенную преемственность по отношению к Ж.-Б. Гризу.

ется в исследование прагматики, дискурсивный анализ, психолингвистику, поэтику, риторiku и т.д., и т.п. – но неизменно выходит за пределы языка как такового, приобретая дополнительную нагрузку. Здесь проявляется та самая "центробежность" французских лингвистических теорий, о которой мы много говорили в начале. Любопытно, что даже само слово "семантика" является (как и слово "типология") далеко не самым частотным в терминологическом арсенале французских лингвистов; и если мы встречаем (немногочисленные) книги с названием "La sémantique" (без дополнительных определений), то оказывается, что автором одной из них является литературный критик и специалист по истории языкознания G. Mounin, а автором другой – японист и этнолингвист I. Tamba... Пожалуй, гораздо более характерным для мироощущения французских лингвистов следует считать название книги Б.-Н. Грюниг и Р. Грюнига "La fuite du sens" [99], что можно перевести как "Бегство смысла" или "Ускользающий смысл" (книга посвящена прагматическим аспектам построения диалога)¹². На этом фоне вовсе не удивительными покажутся работы в которых необходимость или эффективность семантических исследований отрицается в принципе или, по крайней мере, подвергается серьезным методологическим сомнениям. Одним из ярких представителей такого подхода является P. Attal: его недавняя статья [100], например, фактически возрождает некоторые методологические постулаты американского бихевиоризма с его принципиальным неприятием "ускользающей" семантики как объекта лингвистического исследования: характерно и скептическое отношение этого автора к понятию семантической правильности, к использованию отрицательного языкового материала и "лингвистическому эксперименту" (подобные взгляды разделяют многие французские лингвисты, считающие, что все языковые образования, в том числе и "аномальные" с какой-то точки зрения, имеют равное право на внимание исследователя и, так сказать, равный лингвистический статус; эта позиция близка, в частности, многим представителям школы Дюкро и школы Кюльоли).

И все-таки, по крайней мере еще одно имя специалиста по лексической семантике мы можем назвать. Это P. Cadiot, очень своеобразный исследователь, не причисляющий себя ни к одному из крупных течений современной французской лингвистики (если не считать его осторожного интереса к возможностям когнитивного подхода). По образованию германист (он также работает в университете Paris VIII), хорошо знакомый с немецкой и американской лингвистическими традициями, основное внимание П. Кадью в последние 5–7 лет уделяет исследованию предлогов французского языка; он автор очень насыщенной монографии о слове *roug* [101], а также целого ряда статей, посвященных предлогам *avec*, *à*, *de* и др.

В основе подхода П. Кадью лежит идея моносемии предлогов, однако центр тяжести в его исследованиях приходится не столько на установление семантического инварианта (отметим, что при его формулировании автор стремится избежать особого усложненного метаязыка и эзотерической терминологии, характерной, например, для школы Кюльоли), сколько на описание различных контекстных модификаций, а также контрастное описание близких по значению предлогов и/или предложных конструкций. П. Кадью описывает как конструкции вида "глагол + предлог + существительное", так и конструкции вида "существительное + предлог + существительное", причем в обоих случаях он уделяет самое пристальное внимание семантическому вкладу существительного в интерпретацию конструкции. П. Кадью, так же, как и другие лингвисты, занимающиеся в последнее время этой проблематикой, обращает внима-

¹² Более или менее изолированное положение, как и во многих других странах, занимает во Франции, практическая лексикография с ее богатой и длительной традицией: достаточно напомнить о словарях издательства "Robert" (A. Rey и J. Rey-Debove) или "Larousse" (J. Dubois и др.), не говоря уже об этимологических словарях, словарях арго и мн. др. (см. об этом также выше, в разделе 5) Впрочем, и Ален Рей, и Жан Дрюба внесли свой вклад в теорию лексикографии, а последний в 70 гг. занимался также синтаксисом французского языка (в духе отчасти близкого генеративному подходу), он же, участвуя в работе LADL (см. раздел 6), уделял внимание проблемам создания машинных словарей.

ние на необходимость выделения лингвистически релевантных признаков существительных, формирующих интерпретацию предложной конструкции: например, на употребление предлога à в инструментальном значении, в отличие от предлога avec, влияет узальный/"канонический" характер использования соответствующего объекта (ср. отчасти сходное противопоставление предлога на и творительного падежа без предлога в русском языке: *драться на шпагах/шпагами, но драться палками!** на палках). Можно заметить, что подход П. Кадьо отчасти смыкается с подходом группы А. Борилло, но работы А. Борилло и ее коллег в существенно большей степени ориентированы на автоматический анализ текста и формализацию; работы же П. Кадьо более "лингвистичны" и более богаты нетривиальными семантическими наблюдениями.

П. Кадьо является одним из наиболее активных членов межуниверситетской группы SILEX по изучению лексики, с центром в университете Лилля (группу возглавляет D. Corbin, специалист по словообразованию и генеративной морфологии); в организационном отношении эта группа (а также ассоциация CELEX при университете Paris III) объединяет большинство специалистов по теоретической лексикологии и лексикографии, работающих во Франции и даже за ее пределами (в SILEX входят лингвисты из Бельгии, ФРГ, Нидерландов и др. стран). Из членов этой группы упомянем еще А.-М. Berthonneau (Лилльский университет), которая также занимается изучением предлогов французского языка (преимущественно связанных с выражением временных отношений), а также исследованием обстоятельств времени в предложении. Под общей редакцией А.-М. Бертонно и П. Кадьо было выпущено несколько интересных сборников, посвященных анализу французской предложной лексики (ср. [102; 103]).

Вообще, интерес к служебной лексике в современной французской лингвистике, видимо, не случаен: нам уже приходилось отмечать особую приверженность авторов, работающих в рамках теории Кюльоли, именно к этому классу слов; но служебные слова описывают и представители других теоретических направлений. Складывается впечатление, что французская лингвистика переживает своего рода бум, связанный со служебной лексикой (отчасти напоминающий тот, который имел место и у нас в начале 80-х гг.). Назовем лишь несколько имен (часть из них уже знакома читателю): J.-J. Franckel и S. de Vogué (школа Кюльоли), D. Paillard (школа Кюльоли – на французском и русском материале), O. Ducrot и J.-C. Anscombe (прагматический подход – теория аргументации), J. Jayez (логический анализ), A. Borillo (когнитивный подход), P. Cadiot и А.-М. Berthonneau (лексико-семантический анализ), D. Leeman (формальный синтаксис) и др. Интерес к этой теме, хотя и обусловлен внутренними особенностями развития французской лингвистики, все же, видимо, является преходящим; между тем, удивительным образом постоянным остается интерес к совсем другой области – истории самой лингвистики. К рассмотрению этого направления, завершающего наш обзор, мы и переходим.

9. История лингвистики.

Действительно, тот интерес, который вызывает во Франции изучение не языка, но самой науки о языке, истории лингвистических идей, имеет мало аналогов за ее пределами: едва ли будет большим преувеличением сказать, что на одного лингвиста во Франции приходится два специалиста по истории лингвистики; исторические изыскания неизменно вызывают интерес и сочувствие самой широкой "гуманитарной" аудитории. Отчасти это объясняется реальным теоретическим богатством французского (и нефранцузского) лингвистического прошлого, отчасти же – тем самым индивидуалистически-неконформистским духом, который так характерен для современной научной атмосферы Франции и делает невозможным господство какой-то одной теории: для усиления теоретического многообразия, для поиска союзников и полемики с противниками используется не только настоящее, но и прошлое.

Как кажется, три темы пользуются наибольшей популярностью у историков науки (многие из них, впрочем, – активно работающие и в области современной науки линг-

висты). Это, прежде всего, конечно, французская лингвистика на разных ее этапах; во-вторых, это генеративная лингвистика и в-третьих, это... русская и советская лингвистика 20–30 гг. (условно говоря, от Якобсона до Марра, сколь бы странным нам ни казалось соединение этих двух имен).

Из специалистов по истории французской лингвистики прежде всего следует упомянуть патриарха этого направления J.-C. Chevalier (также специалист по истории французского языка и преподаванию языка, много сделавший для реформы университетского лингвистического образования в 60-е гг.). Исторические исследования Ж.-К. Шевалье касаются, главным образом, грамматических концепций средневековья и эпохи Просвещения. Одним из ведущих авторов в данной области считается философ и историк S. Augoux, главный редактор специализированного философско-лингвистического (!) журнала "Histoire, épistémologie, langage" (издаваемый обществом по изучению истории и эпистемологии наук о языке – ESHEL). С. Ору – автор нескольких философских словарей, а также двухтомной "Истории лингвистических идей" [104]¹³; целый ряд его более частных работ посвящены лингвистическим взглядам французских энциклопедистов.

Из очень многих исследователей, профессионально занимающихся историей французской лингвистики, упомянем еще хотя бы такие имена, как В. Cerquiglini (история французского языка и французской филологии), С. Buridant (история грамматических концепций, история французской орфографии), Р. Corbin (история французской лексикографии), Н. Huot (история возникновения структурной лингвистики во Франции), F. Gadet (Соссюр и его концепция). Многие из специалистов по истории французской лингвистики являются, вслед за Ж.-К. Шевалье, также исследователями проблем, связанных с преподаванием французского языка в средней и высшей школе (Н. Huot, S. Delesalle и др.), но здесь мы уже вторгаемся в другую область...

Что касается лингвистических взглядов Хомского, то они, по понятным причинам, всегда вызывали пристальный и, может быть, несколько ревнивый интерес во Франции. Целый ряд лингвистов самых разных направлений занимались изучением генеративной лингвистики; отметим три монографии, специально посвященные критике (разной степени остроты и глубины) теории Хомского, преимущественно на ранних ее этапах (о современных французских генеративистах см. выше, в разделе 7): их авторы – такие несходные друг с другом лингвисты, как В.-N. Grunig [78], С. Hagège [105] и А. Bertendonner [106].

Эпоха зарождения структурализма также привлекает (и, видимо, еще будет привлекать) внимание исследователей. Здесь понятен интерес к Пражскому лингвистическому кружку (J. Fontaine), к личностям Трубецкого и Якобсона (M. Viel, F. Gadet); более парадоксальным может показаться интерес к Марру (R. L'Hermitte, F. Gadet); впрочем, данная эпоха часто анализируется в общем контексте изучения "советского дискурса" – тема, привлекавшая немало исследователей-русистов, таких, в частности, как Р. Seriot, J. Breuillard и др. Мы обозначили здесь, конечно, лишь некоторые области, интересующие французских лингвистов, пишущих о лингвистике, но даже из этого беглого перечня виден необычайно большой удельный вес данной темы в целом.

¹³ Рецензии Н.Ю. Бокадоровой на эту работу опубликованы в Изв. АН СССР, СЛЯ, 1990, т. 50, № 6 (том I) и Изв. АН СССР, СЛЯ, 1993, т. 53, № 4 (том II).

Такова панорама французской лингвистики – пестрая, противоречивая, постоянно меняющаяся; и как бы то ни было, можно с уверенностью сказать, что Франция будет последней страной, где восторжествует научная монополия какой-нибудь "единственно верной" лингвистической (или нелингвистической) теории...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Grunig B.-N. Rapport sur la linguistique // Mission sur les sciences de l'homme et de la société. P., 1982.
2. De Vogüé S. La transitivité comme question théorique: querelle entre la Théorie des Positions de J.-C. Milner et la Théorie des Opérations Prédicatives et Énonciatives d'A. Culioli // LINX, 1991, N 24.
3. López Alonso C., Sere de Olmos A. Où en est la linguistique? Entretiens avec des linguistes (A. Culioli, O. Ducrot, P. Charaudeau, F. Rastier, J.-P. Bronckart, M. Molho, I. Tamba, S. Fisher). P., 1992.
4. Les sciences du langage en France au XX siècle / Ed. par Pottier B. P., 1992.
5. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики / Пер. с франц. М., 1992.
6. Guillaume G. Le problème de l'article et sa solution dans la langue française. P., 1975.
7. Culioli A. Pour une linguistique de l'énonciation: Opérations et représentations. T. 1. P., 1990.
8. Паунгян В.А. О работах группы формальной лингвистики Парижского университета VII // ВЯ, 1988, № 5.
9. De Vogüé S., *Discret, dense, compact*: les enjeux énonciatifs d'une typologie lexicale // La notion de prédicat / Ed. par Franckel J.-J. P., 1989.
10. Franckel J.-J., Paillard D. *Discret, dense, compact*: vers une typologie opératoire // Travaux de linguistique et de philologie, 1991, V. XXIX.
11. Franckel J.-J. Étude de quelques marqueurs aspectuels du français. Genève, 1989.
12. Franckel J.-J., Lebaud D. Les figures du sujet: A propos des verbes de perception, sentiment, connaissance. P., 1990.
13. Paillard D. Énonciation et détermination en russe contemporain. P., 1984.
14. Паїяр Д. К теории перфективизации // Логический анализ языка: Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М., 1989.
15. Les particules énonciatives en russe contemporain / Ed. par Paillard D. P. V. 1 – 1986. V. 2–3. 1987.
16. Danon-Boileau L. Énonciation et référence. P., 1987.
17. Danon-Boileau L. Le sujet de l'énonciation: Psychanalyse et linguistique. P., 1987.
18. Fuchs C. La paraphrase. P., 1982.
19. Victorri B., Fuchs C. Construire un espace sémantique pour représenter la polysémie d'un marqueur grammatical: l'exemple de *encore* // *Linguisticae investigationes*, 1992, V. XVI, N 1.
20. Ducrot O. Dire et ne pas dire. P., 1972.
21. Ducrot O. et al. Les mots du discours. P., 1980.
22. Ducrot O. Le dire et le dit. P., 1985.
23. Ducrot O. Logique, structure, énonciation. P., 1989.
24. Ducrot O., Anscombe J.C. L'argumentation dans la langue. Bruxelles, 1983.
25. Kerbrat-Orecchioni C. L'implicite. P., 1986.
26. Kerbrat-Orecchioni C. Les interactions verbales. P., 1990.
27. Berrendonner A. Éléments de pragmatique linguistique. P., 1982.
28. Récanati F. Les énoncés performatifs: Contribution à la pragmatique. P., 1981.
29. Moeschler J. Modélisation du dialogue: Représentation de l'interférence argumentative. P., 1989.
30. Charaudeau P. Langage et discours: Éléments de sémiolinguistique, théorie et pratique. P., 1983.
31. Authier-Revuz J. La non-coïncidence interlocutive et ses reflets méta-énonciatifs // L'interaction communicative / Ed. par Berrendonner A., Parret H. Bern, 1990.
32. Houis M. Étude descriptive de la langue susu. Dakar, 1964.
33. Linguistique fonctionnelle: Débats et perspectives. Pour A. Martinet / Ed. par Mahmoudian M. P., 1979.
34. François F. Conduite linguistique chez le jeune enfant. P., 1984.
35. François-Geiger D. L'argoterie: Recueil d'articles. P., 1989.
36. Grammaire fonctionnelle du français / Ed. par Martinet A. P., 1984.
37. Кабакова Г.И. Французская этнолингвистика - проблематика и методология // ВЯ, 1993, № 6.
38. Bourdieu P. Ce que parler veut dire: L'économie des échanges linguistiques. P., 1982.
39. Achard P. Sociologie du langage. P., 1993.

40. *Blanche-Benveniste C.* et al. *Le français parlé: Etudes grammaticales.* P., 1990.
41. *Gadet F.* *Le français ordinaire.* P., 1989.
42. *Gadet F.* *Le français populaire.* P., 1992.
43. *Allelu V.* *Les auxiliaires de mode en chinois contemporain.* P., 1984.
44. *Paris M.-C.* *Linguistique générale et linguistique chinoise: Quelques exemples d'argumentation.* P., 1989.
45. *Bonvini E.* *Prédication et énonciation en Kasim.* P., 1988.
46. *Robert S.* *Approche énonciative du système verbale: Le cas du wolof.* P., 1991.
47. *Hagège C.* *Le problème linguistique des prépositions et la solution chinoise.* P., 1975.
48. *Hagège C.* *La structure des langues.* P., 1986
49. *Hagège C.* *L'homme de parole: Contenu linguistique aux sciences humaines.* P., 1986.
50. *Hagège C.* *The language builder: An essay on the human signature in linguistic morphogenesis.* Amsterdam, 1992.
51. *Lemaréchal A.* *Les parties du discours; Sémantique et syntaxe.* P., 1979.
52. *Lemaréchal A.* *Problèmes de sémantique et de syntaxe en palau.* P., 1991.
53. *Lazard G.* *L'actance.* P., 1993.
54. *Cohen D.* *L'aspect verbal.* P., 1989.
55. *Serbat G.* *Cas et fonction: Etude des principales doctrines casuelles du Moyen Age à nos jours.* P., 1981.
56. *Pottier B.* *Théorie et analyse en linguistique.* P., 1992.
57. *Les grammaires de Harris et leurs questions / Ed. par Daladier A.* P., 1990 (Langages, N 99).
58. *Рахилина Е.В.* *Лексические базы данных LADL – автоматизация французского синтаксиса (обзор) // НТИ, сер. 2, 1993, № 5.*
59. *Gross M.* *Grammaire transformationnelle du français: Syntaxe du verbe.* P., 1986.
60. *Gross M.* *Grammaire transformationnelle du français: Syntaxe du nom.* P., 1986.
61. *Gross M.* *Grammaire transformationnelle du français: Syntaxe de l'adverbe.* P., 1986.
62. *Gross G.* *Les constructions converses du français.* Genève, 1989.
63. *Danlos L.* *The linguistic basis of text generation.* Cambridge, 1987.
64. *Gross M., Carré R.* et al. *Langage humain et machine.* P., 1991.
65. *Rastier F.* *Sémantique et recherches cognitives.* P., 1991.
66. *Rastier F.* *Ecrits choisis (1985–1990).* P., 1991.
67. *Milner J.-C.* *De la syntaxe à l'interprétation: Quantités, insultes, exclamations.* P., 1978.
68. *Milner J.-C.* *L'amour de la langue.* P., 1978.
69. *Milner J.-C.* *Introduction à une science du langage.* P., 1989.
70. *Milner J.-C.* *Introduction à un traitement du passif.* P., 1986.
71. *Ruwet N.* *Théorie syntaxique et syntaxe du français.* P., 1972.
72. *Ruwet N.* *Introduction à la grammaire générative.* P., 1989.
73. *Ruwet N.* *Langage, musique, poésie.* P., 1972.
74. *Ruwet N.* *Grammaire des insultes et autres études.* P., 1982.
75. *Huot H.* *Constructions infinitives du français: Le subordonnant "de",* Genève, 1981.
76. *Picabia L., Zribi-Hertz A.* *Découvrir la grammaire française: Une introduction active à la linguistique française et générative.* P., 1981.
77. *Structure de la phrase et théorie du liage / Ed. par Obenauer H.-G., Zribi-Hertz A. St.-Denis,* 1990.
78. *Ruñig B.-N.* *La clôture chomskyenne* P., 1981 (DRLAV, N 24).
79. *Fauconnier G.* *Espaces mentaux: Aspects de la construction du sens dans les langues naturelles.* P., 1984.
80. *Vandeloise C.* *L'espace en français.* P. 1986.
81. *Wierzbicka A.* *Lexicography and conceptual analysis.* Ann Arbor, 1985.
82. *Culicoli A., Desclés J.-P.* et al. *Systèmes de représentations linguistiques et métalinguistiques.* P., 1981.
83. *Desclés J.-P.* *Langages applicatifs, langues naturelles et cognition.* P., 1990.
84. *Desclés J.P., Guentchéva Z., Shaumyan S.* *Passivization in applicative grammar.* Amsterdam, 1985.
85. *Guentchéva Z.* *Temps et aspect: L'exemple du bulgare contemporain.* P., 1990.
86. *Desclés J.-P., Guentchéva Z.* *Le passif dans le système des voix du français // Langages, 1993, N 109.*
87. *Kleiber G.* *La sémantique du prototype: Catégorie et sens lexical.* P., 1990.
88. *Kleiber G.* *Problèmes de référence: Descriptions définies et noms propres.* P., 1981.
89. *Kleiber G.* *L'article LE générique: La généralité sur le mode massif.* Genève, 1990.
90. *Martin R.* *Inférence, antonymie et paraphrase: Eléments pour une théorie sémantique.* P., 1976.
91. *Martin R.* *Pour une logique du sens.* P., 1992.
92. *Grize J.-B.* *Logique et langage.* P., 1990.
93. *Galmiche M.* *Sémantique linguistique et logique: Un exemple: la théorie de R. Montague.* P., 1991.
94. *Nef F.* *Logique et langage: Essai de sémantique intensionnelle.* P., 1988.

95. *Nef F.* Logique, langage et réalité. P., 1991.
96. *Zuber R.* Implications sémantiques dans les langues naturelles. P., 1989.
97. De la syntaxe à pragmatique / Ed. par *Attal P., Muller Cl.* Amsterdam, 1984.
98. *Muller Cl.* La négation en français: Syntaxe, sémantique et éléments de comparaisons avec les autres langues romanes. Genève, 1991.
99. *Grunig B.-N., Grunig R.* La fuite du sens: La construction du sens dans l'interlocution. P., 1985.
100. *Attal P.* Peut-on parler du sens? // *Le gré des langues*, 1992, N 4.
101. *Cadiot P.* De la grammaire à la cognition: La préposition POUR. P., 1991.
102. Prépositions, représentations, référence / Ed. par *Berthonneau A.-M., Cadiot P. P.*, 1991 (*Langue française*, N 91).
103. Les prépositions: problématiques, applications / Ed. par *Berthonneau A.-M., Cadiot P.* Lille, 1992 (*Lexique*, N 11).
104. *Auroux S.* Histoire des idées linguistiques. Bruxelles, 1992, t. 1-2.
105. *Hagege C.* La grammaire générative, réflexions critiques. P., 1976.
106. *Berrendonner A.* Cours critique de grammaire générative. Lyon, 1983.

© 1994 г. А.А. КИБРИК

КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДИСКУРСУ*

Данная статья носит в основном обзорный характер. Мы рассматриваем здесь ряд направлений американской лингвистики, для которых объектом исследования является дискурс, а методом – когнитивный подход.

1. ЧТО ТАКОЕ КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ЛИНГВИСТИКЕ

Лингвистика имеет давнюю традицию автономизации. Автономная лингвистика основывается на идее, что языковая система может быть описана и объяснена в пределах себя самой, без апелляции к другим феноменам (таким, как психика, мышление, мозг, анатомия и физиология человека, общество, этничность и т.д.). Примерами автономных теорий языка могут служить модель "Смысл $\langle = \rangle$ Текст" и порождающая грамматика (автономность и, более того, произвольность последней представляется несомненной, несмотря на значительное внимание к вопросам связи языка и мышления). Сторонники этих теорий обычно характеризуют любое объяснение языковых фактов, опирающееся на внешние по отношению к языку феномены, как "не лингвистику".

В статье рассматриваются образцы иного направления в современной лингвистической мысли, стремящегося объяснить факты языковой формы к о г н и т и в н ы м и ф у н к ц и я м и.

Понятия "когнитивный подход", "когнитивная лингвистика" в настоящее время понимаются очень по-разному, и, поэтому нам необходимо определить их специально и в рамках данной статьи.

Когнитивный подход к языку – убеждение, что языковая форма в конечном счете является отражением когнитивных структур, то есть структур человеческого сознания, мышления и познания. Когнитивная лингвистика – это отнюдь не то же самое, что психолингвистика, ибо последняя – по крайней мере в современном понимании – чрезвычайно техническая, сугубо экспериментальная дисциплина, в принципе совместимая с любым теоретическим подходом к языку. К числу важнейших когнитивных феноменов, детерминирующих языковую форму, относятся структуры представления знаний, естественная категоризация, долговременная память, оперативная память, внимание, активация.

Когнитивная лингвистика в нынешнем контексте – ветвь лингвистического функционализма, считающего, что языковая форма производна от функций языка. Однако разные направления функционализма сосредотачиваются на разных типах функций – например, семантических ролях, связности текста, коммуникативных установках и т.д. Когнитивное направление функционализма особо выделяет роль когнитивных функций и предполагает, что остальные функции выводимы из них или сводимы к ним.

Между когнитивными феноменами, перечисленными выше, пролегает фундаментальное различие с точки зрения того, какова их роль по отношению к языку. Одни из них ответственны за использование языка в ре а л ь н о м в р е м е н и, что называется о п - л и н е ("on-line" – термин из компьютерной науки, обычно пере-

* Настоящая работа выполнена в рамках исследовательского проекта "Язык и знания Когнитивные исследования" (руководитель акад. Ю.С. Степанов), финансируемого Институтом языкознания РАН и Российским фондом фундаментальных исследований.

водимый на русский язык как *в интерактивном/диалоговом режиме*). К когнитивным феноменам типа *on-line* относятся, в частности, оперативная память, внимание, активация.

Феномены другого типа не имеют прямого отношения к функционированию языка в реальном времени, а связаны с языком как средством хранения и упорядочения информации – это феномены типа *off-line* (этот термин обычно переводят *в автономном режиме*). К феноменам второго типа относятся долговременная память, система категорий и категоризация, структуры представления знаний, лексикон и т.д.

В настоящее время сложилась такая ситуация, когда понятия "когнитивная лингвистика", "когнитивный подход" ассоциируются в основном с работой в области исследования категорий, лексической семантики, метафоры и т.д., то есть явлений типа *off-line*. Фактически подавляющее большинство исследований, появляющихся под рубрикой "когнитивная лингвистика", объединены не только общим постулатом когнитивного подхода, сформулированного выше, но и следованием одной из двух наиболее известных школ, связанных с именами Дж. Лакоффа и Р. Лангакера. В этом можно убедиться, открыв программный сборник [1] или любой номер журнала «Cognitive Linguistics».

Теория Дж. Лакоффа отражена в [2] (см. переводы фрагментов этой книги: [3, 4]), [5]. Одна из наиболее фундаментальных идей Лакоффа состоит в том, что человеческая концептуализация (а следовательно, языковая семантика) носит главным образом метафорический характер, то есть осмысление более или менее сложных объектов и явлений человеком основывается на переосмыслении базисных понятий человеческого опыта (физических, сенсо-моторных, анатомических и т.д.). Теория концептуализации Лакоффа – выдающееся явление современной лингвистики, но когнитивная проблематика тем не менее не должна сводиться к тем явлениям, которые находятся в центре внимания этой теории. Сказанное в значительной степени относится и к теории Р. Лангакера, которая также весьма влиятельна, хотя намного более сложна для понимания, см. [6].

Между тем, в меньшей степени когнитивный подход применим и продуктивен в области явлений типа *on-line*, то есть процессов построения и понимания *дискурса*. Исключение исследований по дискурсу из области под названием "когнитивная лингвистика" совершенно неприемлемо. Ниже мы рассмотрим несколько наиболее значительных, на наш взгляд, достижений в сфере когнитивного подхода к дискурсу.

2. ДИСКУРС КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ

В последние десятилетия направление, известное под названием *discourse analysis* (дискурсивный анализ) оформилось в самостоятельную лингвистическую дисциплину, равноправную, например, синтаксису, фонологии и т.п. Литература по дискурсивному анализу огромна, и здесь не делается попытки всю ее обозреть (ср. четырехтомное издание "A handbook in discourse analysis" [7], ряд специальных журналов – *Text*, *Discourse processes* и др.). Дискурс – это такой же объект лингвистического исследования, как и морфема (для морфологии), словосочетание (для синтаксиса) и т.п. Более того, дискурс является даже более важным, центральным объектом лингвистики, так как он заведомо не является теоретическим конструктом, и есть точка зрения, что лингвистика могла бы избавиться от многих своих заблуждений, если бы начала как бы "с нуля", исследуя реально зафиксированные образцы дискурса.

Как и в лингвистике в целом, когнитивный подход в дискурсивном анализе далеко не общепринят. Очень многие работы по дискурсу исходят из чисто таксономического подхода, когда элементы текста регистрируются, классифицируются и подвергаются статистической обработке без попытки объяснения того, почему дискурс (и данный, и вообще) строится так, а не иначе. Между тем, если ориентироваться на функциональный подход, то есть стремиться объяснять наблюдаемые явления, то при изучении дискурса (в отличие от составляющих меньшего размера) в принципе невозможно остаться в рамках чисто внутриязыковых координат. Исходя лишь из

собственно языковых мотиваций, невозможно объяснить, почему в языке X, например, в одной предикации текста не бывает двух одинаковых местоимений 3 лица, а порядок слов различен в начале и в середине абзаца. Неизбежен выход в "экстралингвистические" сферы и поиск когнитивных, культурных и социальных объяснений. Два последние типа объяснений в конечном счете сводимы к первому, так как культурные и социальные факторы не могут влиять на дискурс иначе чем через посредство когнитивной системы говорящего. Поэтому, а также по всем вышеупомянутым причинам, когнитивный подход к исследованию дискурса представляет собой чрезвычайно важную и актуальную проблему современной лингвистики.

3. ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИСКУРСА

В отличие от вышеупомянутых направлений когнитивной лингвистики типа off-line, когнитивные исследования в области дискурса на настоящий момент немногочисленны и являются скорее плодом индивидуальных усилий отдельных ученых. Поэтому дальнейшее изложение строится вокруг имен авторов, которых мы считаем наиболее значительными представителями данного направления.

3.1. Чейф.

Наиболее известный в нашей стране американский лингвист, работающий в данном направлении – Уоллес Чейф. Чейф вообще является одним из первых лингвистов нашего времени, кто начал думать о языке с позиций его когнитивной мотивировки [8–10].

Важным рубежом в развитии подхода Чейфа является коллективная монография "Рассказы о грушах. Когнитивные, культурные и языковые аспекты порождения повествования" [11]. Эта работа – пример включения элементов эксперимента в методологию теоретической лингвистики. Авторы демонстрировали испытуемым специально снятый небольшой фильм (о мальчике, собирающем груши), а затем записывали и транскрибировали их пересказы этого фильма. Этот эксперимент варьировался с испытуемыми разных возрастов, с носителями разных языков, и с различными временными интервалами между просмотром фильма и записью пересказа. Анализ всего многообразия полученных материалов позволил сделать множество выводов о процессах вербализации визуального опыта: о динамике сознания говорящего во времени, о языковых коррелятах движущихся "фокусов сознания", о культурных различиях между носителями разных языков в отношении выбора релевантной информации и построении дискурса, о когнитивных мотивациях синтаксических выборов – таких, как употребление местоимений, именных групп, выбор подлежащего.

Обсудить компоненты модели Чейфа лучше всего можно на примере его новой книги "Дискурс, сознание и время. Текущий и отстраненный сознательный опыт при речи и письме" [12], подводящей итог 20-летней работы. Следует сразу отметить, что книга Чейфа изобилует фактическим материалом – транскрипциями фрагментов реально зафиксированных дискурсов, часто весьма пространных. К сожалению, воспроизвести здесь эти объемные эмпирические данные в сколько-нибудь значительных масштабах нет никакой возможности.

3.1.1. Методологические принципы. Центральное отличие метода Чейфа в контексте современной лингвистики касается отбора эмпирического материала. Чейф в целом отвергает использование искусственного языкового материала, специально конструируемого большинством лингвистов для иллюстрации своих утверждений. Чейф концентрирует внимание на естественном языковом материале, в первую очередь доступном в виде магнитофонных записей реального дискурса. Наблюдение за естественным устным дискурсом – практически неограниченный источник лингвистической информации, и не встречающиеся в реальности языковые данные

(типа предложений *Сократ смертен* или *Фермер убивает утенка*) попросту не нужны, бесполезны, если нас интересует язык как он есть на самом деле. С этим тезисом трудно согласиться в его радикальной формулировке, так как несомненно манипуляции с языковыми формами часто помогают лингвисту понять систему противопоставлений, в которую данные формы входят. Однако пафос тезиса о приоритете естественных данных чрезвычайно актуален в наше время, когда целые научные направления строятся вокруг противоестественных, изолированных, внеконтекстных языковых примеров.

Чейф также достаточно скептически относится к лингвистическому эксперименту (несмотря на элементы экспериментирования в "Рассказах о грушах") – то есть виду деятельности, основному для такой огромной области, как психолингвистика. Действительно, с точки зрения функционального лингвиста очень многие психолингвистические эксперименты не проливают никакого света на существенные аспекты языка, поскольку основаны на вырожденном использовании вербальных способностей говорящих – например, при измерении времени реакции испытуемых на изолированные слова, по очереди появляющиеся на экране компьютера. Однако вполне возможны и лингвистически осмысленные эксперименты – см., в частности, раздел 3.2 ниже.

Второй методологический постулат Чейфа, также еретический с точки зрения все еще действующей научной парадигмы (особенно психологической), в свое время сформированной бихевиоризмом, – это признание и н т р о п е к ц и и как основного источника суждений о когнитивных и языковых явлениях. При этом язык выступает в качестве инструмента верификации полученных интроспекцией умозаключений.

В качестве материала Чейф использует в первую очередь у с т н ы й дискурс. Нельзя не согласиться с тем, что колоссальная гипертрофия письменного языка в качестве лингвистического материала, характерная для большинства прошлых и современных научных направлений, не оправдана ничем, кроме легкодоступности этого материала и инерции лингвистов. Несомненно, устный язык является более фундаментальным видом языка, нежели письменный, и любая интегральная модель языка должна как минимум принимать его во внимание. Вместе с тем, любая попытка объективной письменной фиксации (транскрибирования) устного языка вынуждает решать множество сложных интерпретационных и технических проблем, неведомых лингвистам, изучающим исключительно письменные тексты. В настоящее время принципы транскрибирования устного дискурса являются предметом едва ли не целого научного направления (см., например, [13]).

3.1.2. Основные понятия. Центральный феномен, контролирующий использование языка – это, по Чейфу, с о з н а н и е (consciousness). Другие исследователи для обозначения того же самого феномена используют такие более технические термины, как оперативная или активная память, центральный процессор, буфер и т.д. Сознание, согласно Чейфу, по своей природе фокусируется в каждый момент на каком-то фрагменте мира, и этот фокус постоянно перемещается.

Устный дискурс порождается не как плавный поток, а толчками, квантами. Эти кванты, чаще всего соизмеримые с размером одной предикации (clause), именуются и н т о н а ц и о н н ы м и е д и н и ц а м и (ИЕ; intonation unit). Каждая ИЕ отражает текущий фокус сознания, а паузы или другие просодические границы между ИЕ соответствуют переходам сознания говорящего от одного фокуса к другому. Средняя длина ИЕ – 4 слова (для английского языка).

Прототипическая ИЕ, совпадающая с предикацией, вербализует таким образом событие или состояние. События, состояния и их участники, то есть референты, Чейф именуется родовым термином и д е и (напоминающим традиционное понятие знаменательных частей речи).

Наряду с прототипическими ИЕ, достаточно часты и маргинальные виды ИЕ – незавершенные, ошибочные начала, наложения речи двух или более собеседников и т.д. В транскрипциях Чейфа фиксируются все самые мелкие факты такого рода, как и существенные просодические особенности речи. Следующий фрагмент разговора мо-

жет дать представление о характере и степени детализации транскрипции Чейфа (большие буквы в скобках – обозначения собеседников; ".." – короткая пауза; "... (0.4)" – нормальная пауза с указанием ее длительности в секундах; в конце каждой ИЕ цифры в скобках указывают длительность ИЕ без учета начальной паузы, а затем с учетом; Ch. 5, ex. 4):

- (1) (A)...(0.4) Have the ..animals, (0.8) = (1.2)
(A)...(0.1) ever attacked anyone in a car? (1.6) = (1.7)
(B)...(1.2) Well I – – (0.2) = (1.4)
(B) well I heard of an elephant, (1.0)
(B) that sat down on a VW one time. (1.8)
(B)...(0.9) There's a gir – – (0.6) = (1.5)
(B)..Did you ever hear that? (0.8)

Свободный перевод: А: "Эти животные когда-нибудь нападают на людей в машине?" В: "Ну я слышал о слоне, который однажды сел на Фольксваген. Там была дев – Ты когда-нибудь слышал об этом?"

3.1.3. Основные феномены, которые исследует Чейф, известны еще по работе [14] о данном, определенности, подлежащем и др. В книге [12] подход остался в целом тем же, но описание этих явлений значительно более продвинутое и изощренное.

А к т и в а ц и я – это способность говорящего фокусировать свое сознание лишь на ограниченном фрагменте мира в каждый данный момент. Чейф придерживается тройной классификации состояний активации: активная информация, полуактивная (*semiactive*) и неактивная. Полуактивной является информация, которая недавно вышла из активного состояния, или каким-то образом связана с информацией, активной в данный момент.

На базе этих понятий определяется тройка "данное" – доступное – новое". Данная информация – та, которая уже активна к данному моменту. Новая – та, которая активизируется лишь в данный момент. А доступная – эта та информация, которая переходит в данный момент в активное состояние не из неактивного, а из полуактивного. Данное тройное противопоставление имеет целый ряд рефлексов в языке. Так, данные референты обычно кодируются слабоакцентированными местоимениями или нулем, а доступное и новое – ударными полными именными группами. Это различие отражено в следующих примерах (Ch. 6, ex. 1, 3):

- (2) I talked to a lawyer last night
"Вчера я говорил с адвокатом [новое]"
(3) I talked to him last night
"Вчера я с ним [данное] говорил"

Следует заметить, что Чейф придает большое значение просодическому компоненту речи; так, он различает три степени акцентуации слов: первичную, обозначаемую акутом (*a lawyer* в (2)), вторичную, обозначаемую грависом (*night* в (2), (3)) и слабую, не помечаемую никак (*him* в (2)).

Языковое противопоставление между доступным и новым будет показано ниже.

И с х о д н ы й п у н к т (*starting point*) – понятие, призванное объяснить мотивацию формального статуса "подлежащее". Подлежащее (в английском языке) – это исходный пункт, с которого говорящий начинает сообщение, чтобы добавить к нему что-либо. Введение понятия "исходного пункта" – это существенный отход от пражской традиции (с которой работа Чейфа генетически отчасти связана) искать функциональную мотивировку подлежащего в теоретически не вполне обоснованных терминах типа "тема" или "топик", а также от распространенного объяснения подлежащности через понятие *aboutness* (труднопереводимое на русский язык).

Интуитивная замена традиционно неясных и многозначных "темы" и "топика" на

новый термин кажется привлекательной. Тем не менее, "исходный пункт" – понятие, когнитивная природа которого также не совсем ясна. По-видимому, избрание именно понятия "исходный пункт" Чейфом отчасти связано с линейно начальным положением подлежащего в предложении, характерным для английского языка. Поэтому применимость данной трактовки подлежащего к другим языкам не очевидна. (См. также раздел 3.2 ниже.)

По мнению Чейфа, функциональная природа подлежащего часто затемняется тем, что в качестве базовых иллюстраций используются примеры, фактически не встречающиеся в реальном употреблении. Так, знаменитое сепировское предложение (4), если и может быть использовано в дискурсе, то лишь в очень специфических условиях.

(4) The farmer kills the duckling
"Фермер убивает утенка"

Отождествимость – функциональная мотивация категории определенности. Отождествимыми являются референты, которые по мнению говорящего могут быть отождествлены слушающим. Данное явление в работе Чейфа весьма подробно и интересно освещается, но стоит несколько особняком, поэтому мы его более касаться не будем.

3.1.4. Основные результаты. В работе Чейфа содержится целый ряд открытий, проливающих совершенно новый свет на структуру человеческого дискурса.

Эмпирический анализ больших корпусов устных английских дискурсов, сегментированных на интонационные единицы, привел Чейфа к выводу о наличии ограничения "одна новая идея на ИЕ". То есть, в ИЕ не может содержаться более одной новой идеи (в терминологическом смысле этого слова, см. выше). Когнитивная причина подобного ограничения – невозможность активации (перевода из инактивного состояния в активное) более одного элемента информации в рамках одного фокуса сознания. Если данное обобщение верно – а это очень похоже на истину – то одного этого факта достаточно для отнесения интонационной единицы и активации к числу самых фундаментальных лингвистических понятий.

Какой аргумент выбирается (в английском языке) в качестве подлежащего? Чейф формулирует ответ на этот вопрос в виде ограничения "легкого подлежащего". Чаще всего подлежащим, то есть исходным пунктом, выбирается данная информация (81% случаев в использованной текстовой выборке). Другая группа случаев – доступные референты (16%), например в (5), где референт "Дженнифер" уже упоминался раньше в дискурсе, но перестал быть данным (Ch. 7, ex. 18):

(5) Jéniffer thinks she's got a kídney infèction
"Дженнифер думает, что у нее заражение почек"

Здесь и сказывается различие между новым и доступным – последнее наряду с данным входит в категорию "легкой" информации, которая может вербализоваться как исходный пункт. Наконец, остальные случаи легких подлежащих – это новые, но малосущественные идеи, которые не играют значимой роли в дискурсе ни до, ни после данного упоминания, как референт "доктор Гилберт" в следующем примере (Ch. 7, ex. 28):

(6) But Dòctor Gílberty tòld me,
that éverybody gets bàckaches.
"Но доктор Гилберт сказал мне,
что спина болит у всех".

Обобщение "легкого подлежащего", по крайней мере для английского языка, представляется весьма правдоподобным и естественным.

Среди исходных понятий концепции Чейфа отсутствует понятие предложения. В рамках устного дискурса – основного вида использования языка – статус этого понятия вообще неочевиден. Предложение традиционно считается столь базисным феноменом лишь в силу гипертрофированной роли письменной формы языка в лингвистике. В устном же языке несомненны лишь такие составляющие, как дискурс и ИЕ, а предложение – это нечто промежуточное. Чейф высказал догадку, что предложение – это с когнитивной точки зрения суперфокус сознания. Суперфокус превосходит по размеру обычный фокус сознания (который соответствует одной ИЕ, является максимальным объемом информации, доступным для одновременного удержания в сознании человека, и не может содержать более одной новой идеи). Суперфокусы сознания и предложения возникли в результате эволюционного развития ментальных способностей человека (в отличие от обычного фокуса сознания, который задан нейропсихическими свойствами человеческого мозга). В процессе говорения человек просматривает, сканирует текущий суперфокус, и разбивает его на отдельные фокусы, соизмеримые с объемом сознания. Характерная интонация конца предложения имеет место тогда, когда заканчивается процесс такого сканирования. В следующем примере определенный объем информации вербализован с помощью предложения, состоящего из двух ИЕ, так как в этом объеме имеются две новые идеи – "две женщины" и "впереди", которые, согласно ограничению "одна новая идея на ИЕ", невозможно уместить в рамки одной ИЕ (Ch. 11, ex. 1):

- (7) ...And there were these two women,
.. niking up ahead of us.
"А там были две женщины, шагавшие впереди нас"

Топик понимается Чейфом, в отличие от многих авторов, не как характеристика какой-то именной группы или референта, а скорее в духе нетерминологического значения английского слова topic. Топик получает когнитивное определение. Это комплекс взаимосвязанных идей (референтов, событий, состояний), находящихся в полуактивном сознании. Проще говоря, к топикю дискурса относится все то, о чем говорится в этом дискурсе, но не все элементы топика активны в каждый момент дискурса. Такой подход к понятию топика позволяет объяснить феномен целостности дискурса. (Ср., например, попытку свести дискурс к макропропозиции – [15].) Чейф не вносит ясности в то, какова может быть внутренняя организация конкретных топиков, однако рассматривает несколько процедур развития топика – главным образом, диалогическую и нарративную, а также усеченные и второстепенные топика. Топики задают на языковом уровне фрагменты дискурса, существенно большие, чем ИЕ – эпизоды. Предложения же являются промежуточными составляющими между этими двумя уровнями.

3.1.5. Речь и письмо. Особый аспект работы Чейфа – вопрос о соотношении между устным и письменным языком. Теория, которая разработана для объяснения этого различия и ряда более дробных различий, слишком сложна, чтобы быть отражена здесь. Однако следует упомянуть до крайней мере одно противопоставление, которое использует Чейф для определения разных типов речи и письма. Это противопоставление между непосредственным (immediate) и отстраненным (displaced) модусами языкового и вообще когнитивного поведения. Текущий модус – это операции человеческого сознания над опытом, переживаемым говорящим здесь и сейчас, в текущей реальности. Отстраненный модус – это нахождение в сознании любой другой информации – вспоминаемой или воображаемой. Текущий модус более фундаментален, прост, однако отстраненный модус преобладает в человеческой ментальной деятельности.

Чейф по отдельности рассматривает разные виды речи и письма. В частности, многие его идеи о видах письменного языка (проза от первого лица, в третьем лице, цитирование) представляют большой интерес не только для лингвистики, но и для литературоведения.

Целый ряд идей Чейфа перекликается с идеями, раньше высказанными в работах Е.А. Земской и ее коллег по русской устной речи (см., напр., [16, 17]), включая ряд принципов транскрибирования, выделение некоторого аналога интонационных единиц, обсуждение проблематичности статуса предложения в устной речи. Хотя работы Е.А. Земской и ее соавторов не имели когнитивной ориентации, столь важной в книге Чейфа, можно только сожалеть, что эти пионерские для своего времени исследования остались неизвестными западным лингвистам.

3.1.6. Заключительные замечания. Работы Чейфа представляют несомненный интерес. Они весьма оригинальны – как признается сам автор, он всегда испытывал антипатию к доминирующим направлениям. Тем не менее, Чейф явно принадлежит не к маргинальным ответвлениям науки, а к ее наиболее продвинутой, актуальной части. Это определяется не только когнитивной направленностью интерпретаций Чейфа, но и более общим свойством его работ – открытостью всем видам информации, позволяющим лучше понять, как устроен человеческий язык. "Это исследование покажет не только желательность, но и необходимость сделать изучение языка и интеллекта (mind) более открытым, наблюдая язык как он есть в действительности, всерьез используя интроспекцию без опасения получить ярлык ненаучности, и позволяя воображению свободно парить среди более объемлющих представлений об отношении человеческих интеллектов к среде и друг к другу" [12, Epilogue].

3.2. Томлин

Р. Томлин – очень необычный лингвист. Он представляет собой практически уникальное в наше время сочетание теоретика и психолингвиста-экспериментатора. Обычно психолингвисты весьма сдержанно относятся к теоретизированию, а теоретики – к эксперименту. В результате эксперименты часто страдают теоретической несостоятельностью и проливают очень мало света на релевантные аспекты языка.

Данная особенность подхода Томлина прослеживается во всех его работах [18–21]. Мы рассмотрим наиболее подробно его новую статью [21] ("Фокусное внимание, залог и порядок слов: экспериментальное типологическое исследование"), отражающую его нынешние интересы. См. также рецензию [22] на фундаментальную монографию [19], посвященную типологии базисного порядка слов и ее когнитивному обоснованию.

3.2.1. Исследуемые феномены. Объектом интереса Томлина являются традиционные и центральные для дискурсивных штудий феномены порядка слов, подлежащего и залога. Сначала для английского языка, а затем для ряда других Томлин задается вопросом: каковы причины того, что та или иная именная группа выбирается в качестве подлежащего (и, в зависимости от семантики конкретной ситуации, вследствие этого происходит выбор залоговой формы глагола) и занимает определенное линейное место в предложении? Наиболее распространенная трактовка, восходящая к Пражской школе функционализма, сводится к тезису о том, что подлежащим становится т е м а или т о п и к данного высказывания (обзор см., например, в [23]).

3.2.2. Методология. Томлин подверг критике распространенные в функциональной лингвистике методы и способы объяснения дискурсивных фактов. Во-первых, языковые факты объясняются на основе теоретических понятий, таких как "топик" или "тема", которые сами чрезвычайно слабо обоснованы. Нет никаких способов определить, когда мы имеем дело с темой, а когда нет. Это особенно заметно при чисто интроспективном использовании подобных понятий, но остается в силе и при статистическом подходе, основанном на дистрибуции формальных элементов в тексте (ср. раздел 3.3 ниже).

Во-вторых, функциональные подходы обычно не предоставляют возможности предсказывать языковые факты и отличать корреляции между функциональными и

формальными параметрами от каузальной зависимости между ними. Вместо жестких зависимостей между причинами и следствиями мы имеем лишь вероятностные оценки или констатацию тенденций.

Взамен Томлин предлагает а) обоснование языковых фактов в терминах не туманных теоретических понятий, а имеющих независимое подтверждение (в когнитивной психологии) когнитивных явлений; б) экспериментальные манипуляции с когнитивной системой говорящего, позволяющие устанавливать каузальные взаимосвязи между факторами и их последствиями.

Что касается возможных объяснений выбора подлежащего и залога, две известных трактовки также критически оцениваются Томлином. "Тема/топик" выбирается не на основании глобальных характеристик всего текста (например, глобальной тематичности данного референта в данном тексте) и не на основании внутренних свойств референтов. Выбор "темы/топика" находится под локальным контролем, то есть производится лишь для данной предикации.

3.2.3. Основная гипотеза: контролером выбора подлежащего в английском языке является фокусное внимание (focal attention).

Этот тезис означает, что нахождение референта в фокусном внимании (феномен, известный в когнитивной психологии) – это необходимое и достаточное условие того, чтобы данный референт был кодирован подлежащим. Если данная предикация переходна, и фокусный референт – это агенс, то глагол примет форму активного залога; если же в фокусе пациенс, то глагол окажется в пассиве.

Не вполне ясно, совместима ли данная гипотеза с трактовкой подлежащего как исходного пункта у Чейфа (см. раздел 3.1.3 выше). "Фокусное внимание" – несомненно, более когнитивно прозрачный термин, чем "исходный пункт", однако последнее понятие кажется более широко применимым к английскому материалу. Что касается универсального определения подлежащего, то трактовка Томлина имеет больше шансов оказаться приемлемой, так как вероятно, что для трактовки Чейфа немаловажен линейный аспект английского подлежащего – его как правило начальная позиция.

Автор настоящей статьи в ряде работ [24–26] связывал понятие "фокус внимания" не с явлениями типа *порядок слов – подлежащее – залог*, а с местоименной анафорой. Предложение Чейфа (см. выше) считать когнитивным коррелятом местоименной анафоры активную информацию (или данное) и гипотеза Томлина о связи между фокусным вниманием и выбором подлежащего, по-видимому, более точны с когнитивной точки зрения. Анализ когнитивно-психологической литературы [27, 28] убеждает в том, что внимание и активация – два различных (хотя и связанных) когнитивных и нейрофизиологических механизма. Более того, эти два механизма имеют разные языковые рефлексы. Вероятно, есть основания утверждать, что фокусирование внимания на референте X в момент времени t_1 влечет активацию этого референта в момент t_2 . Данная взаимосвязь двух когнитивных механизмов отражается на языковом уровне в том известном факте, что антецедентами анафорических местоимений (кодирующих активные референты) очень часто бывают подлежащие (кодирующие референты в фокусе внимания).

3.2.4. Эксперимент. Идея эксперимента Томлина состоит в том, чтобы сконструировать чистые условия, в которых можно контролировать фокус внимания испытуемого, и проверять, какие кодирующие средства будут ему соответствовать.

Томлин создал компьютерный мультфильм, в котором действующими персонажами являются рыбы разных цветов. Фильм состоит из 31 однотипного эпизода: с двух концов экрана появляются две разноцветные рыбы, плывущие навстречу друг другу, и в момент встречи одна из них съедает другую. При этом внимание испытуемого каждый раз фокусируется на одной из рыб с помощью специального визуального средства (например, стрелки, указывающей на рыбу). Испытуемых просят в реальном времени рассказывать о том, что они наблюдают на экране.

Примерно в половине случаев рыба, на которой фокусируется внимание испы-

туемого, съедает вторую рыбу (то есть оказывается агенсом), и в половине случаев съедается (то есть оказывается пациенсом).

Результат эксперимента: при фокусировании на агенсе испытуемые обычно используют актив, при фокусировании на пациенте – пассив. Это можно проиллюстрировать следующими примерами из реальных экспериментальных данных, снабженными почти буквальными русскими переводами:

(8) Фокусируется фиолетовая рыба, оказывающаяся затем агенсом:

There's two more fish, a purple one and a white one

Вот две еще рыбы, фиолетовая и белая

And the purple one ate the white one

и фиолетовая съедает белую

(9) Фокусируется зеленая рыба, оказывающаяся затем пациенсом:

There's a green and purple fish

Вот зеленая и фиолетовая рыбы

The green fish was just eaten by the purple fish

Зеленая рыба была сейчас съедена фиолетовой рыбой

Результаты эксперимента почти всегда подтверждают исходную гипотезу, то есть фактический выбор подлежащего и залога глагола совпадает с ожидаемым. Точнее, для среднего испытуемого это происходит в 28 случаях из 31. Статистический текст показывает, что вероятность того, что подобная близость результата к ожиданиям случайна, даже для одного испытуемого не превышает 0,0000027, то есть практически не существует. Таким образом, по крайней мере в подобной простой, ядерной ситуации подтверждается, что выбор подлежащего определяется фокусным вниманием.

3.2.5. Сравнительное исследование. Аналогичные эксперименты были проведены для целой серии других языков – бирманского, индонезийского, китайского, трех славянских, акан (Африка). Для первых трех языков результаты практически совпадают с английским, для четырех последних никакого систематического распределения результатов не обнаруживается. В русских, а возможно также в польских и болгарских данных, нет никаких признаков использования пассива при фокусировании пациенса, как и вообще помещения пациенса в позицию подлежащего, ср.: *Красная рыба плышет навстречу синей, и синяя ее съедает*. Возможно, это отчасти связано с тем, что в русском языке пассив весьма лексикализован и очень ограничен в своем употреблении, ср.: **...и съедается ею*. И хотя славянское подлежащее также, вероятно, связано с фокусным вниманием, отсутствие грамматических возможностей не позволяет сохранить референт-пациенс подлежащим и во второй предикации.

3.2.6. Заключительные замечания. В отличие от рассмотренной выше работы Чейфа, подход Томлина фрагментарен. Он рассматривает лишь одно грамматическое явление и одну когнитивную переменную (это касается, разумеется, лишь данной работы Томлина; о других явлениях см., например, [20]). Кроме того, Томлин в данном случае анализирует весьма ограниченный языковой материал, сводящийся к бипредикативным изолированным конструкциям, а не обширные дискурсы. Однако Томлин решает очень важную задачу – строгую методологическую верификацию когнитивного объяснения языковых фактов. С некоторой осторожностью, его выводы могут быть экстраполированы и на дискурс. "Хотя пробные данные, представленные здесь, несколько ограничены, и хотя этот конкретный эксперимент может показаться примитивным в некоторых отношениях, данное направление может помочь нам сформулировать функциональные обобщения, эмпирически более сильные и теоретически более прозрачные. Если мы, разрабатывая исследовательскую программу функционализма, всерьез воспользуемся Когнитивным Обоснованием, мы несомненно обнаружим, что формулировка базисных вопросов в когнитивных терминах, конкретных и эксплицитных, очень важна" [21].

Т. Гивон – весьма влиятельный лингвист; это особенно очевидно на фоне многообразия подходов и обилия мелких групп, характерного для американского функционализма. Гивону удалось создать целую школу, которую можно было бы обозначить как "функционально-дискурсивный типологический синтаксис". Кроме того, в отличие от Чейфа и Томлина, подход Гивона весьма гетерогенен и не всегда производит впечатление полностью последовательного.

Гивон наиболее известен вышедшей под его редакцией монографией [29] ("Непрерывность топики в дискурсе: квантитативное типологическое исследование"). В этой работе Гивоном была предложена теория непрерывности / доступности топики и методика текстового квантитативного анализа, позволяющего устанавливать корреляции между языковыми формами в тексте и текстовыми факторами, влияющими на появление этих форм.

Гивон ввел понятие иерархии доступности топики (понимаемого как тематически важный референт) и изоморфной ей шкалы кодирования – от полной именной группы до безударного местоимения или нуля. Основной (хотя и не единственный) количественный фактор, влияющий на непрерывность топики – это референциальное расстояние (в числе предикаций) между данной точкой дискурса и ближайшим антецедентом. Чем меньше референциальное расстояние, тем непрерывнее, доступнее, очевиднее топик, и тем более формально экономное средство используется для его кодирования. На базе этого подхода было выполнено множество конкретно-языковых работ как в монографии [29], так и позже.

Нельзя сказать, чтобы концепция непрерывности топики 1983 года была когнитивно ориентированной. В ней содержались некоторые когнитивные мотивировки, но ее методика скорее может быть названа бихейвистской, направленной на дистрибутивно-статистический анализ артефактов когнитивно-языковой деятельности – текстов. В более поздних публикациях Гивона прослеживается последовательный сдвиг в сторону когнитивного подхода. Здесь мы рассмотрим его книгу 1990 года [30] – это второй том его масштабного труда "Синтаксис: функционально-типологическое введение" (первый том вышел в 1984 г.). 20-я глава этой книги имеет наиболее непосредственное отношение к дискурсивной проблематике и носит характерный заголовок "Грамматика референциальной связности: когнитивная переинтерпретация".

3.3.1. Исходные идеи. Гивон определяет грамматику как набор "инструкций по ментальной обработке". "В реальном коммуникативном поведении грамматика прямо не взаимодействует с текстом. Скорее, грамматика манипулирует интеллектом (mind) (или используется им), а интеллект в свою очередь интерпретирует (или порождает) текст" [30, с. 893].

Грамматические сигналы, кодирующие референциальную связность, имеют отношение к двум когнитивным областям – "активации внимания" (attentional activation) и поиску в долговременной памяти.

Грамматика референциальной связности может быть осмыслена только на когнитивном уровне, где референты-топики выступают в качестве "файлов" или "узлов", в которых накапливается поступающая информация. Когда референт-топик активизируется, он используется в качестве адреса узла для новой информации, содержащейся в той же предикации, что и данный референт. В дальнейшем эта информация хранится в узле эпизодической памяти, "поименованном" (labeled) этим референтом.

3.3.2. Некоторые результаты. Согласно Гивону, только один референт может быть активен в данной предикации, причем обычно это грамматическое подлежащее [30, с. 914]. Данный тезис в такой формулировке вызывает большие сомнения. Во-первых, активация, как мы видели выше, связана не с выбором

подлежащего, а с другими языковыми феноменами (анафора и т.д.). Во-вторых, совершенно неочевиден универсальный статус такого понятия, как грамматическое подлежащее. По-видимому, тут имеет место смешение разных когнитивных явлений и неясность в терминологии. Однако содержательно Гивон здесь формулирует идею, близкую к тому, о чем пишут Чейф и Томлин в связи с подлежащим: подлежащее – это исходный пункт/фокус внимания, мост к предтексту, позволяющий адаптировать новую информацию.

Смешение внимания и активация у Гивона проявляется и в том, что он использует активацию как когнитивный коррелят и выбора подлежащего, и выбора референциального средства (полная ИГ/анафорическое местоимение/анафорический ноль). Гивон формулирует гипотезу о правилах понимания референциального средства слушающим в зависимости от активационного статуса референтов. Гипотеза строится в форме процедурных инструкций [30, с. 916]:

- если используется анафорическое средство, продолжай текущую активацию;
- если использована определенная полная ИГ, активизируй уже существующий файл;
- если использована неопределенная ИГ, активизируй новый файл.

Данная гипотеза небезынтересна. Она представляет собой когнитивную переинтерпретацию шкалы кодирования: активация референта требует значительного ментального усилия и, следовательно, больших кодирующих средств. Однако следует заметить, что, в частности, анафорические средства не подразумевают продолжения текущей активации, а всего лишь опираются на уже имеющуюся к данному моменту структуру активации референтов.

Иерархия доступности топика в рамках когнитивного подхода переинтерпретируется как типология поиска в памяти – кратковременной или долговременной. В отличие от более ранней идеи [29], что эта иерархия носит шкальный характер, когнитивный подход характеризует ее как бинарный выбор: референт может быть найден либо в кратковременной, либо в долговременной памяти.

Этот тезис, согласно Гивону, находит подтверждение и в количественных данных, поскольку между языковыми средствами, кодирующими непрерывность топика (поиск в кратковременной памяти), и средствами, кодирующими прерывность (поиск в долговременной памяти), нет постепенного перехода, а есть явный провал. Если первые (нулевая анафора, безударные местоимения) возможны (в типологически усредненных цифрах) при референтном расстоянии 1, то вторые (вынесенные влево определенные ИГ и нек. др.) – при референциальном расстоянии 15–17. Те же средства, которые ранее считались промежуточными (определенные ИГ), вообще не зависят от такого параметра, как референциальное расстояние, и не могут быть описаны в этих терминах.

Данная идея Гивона находится в явном противоречии с теорией Чейфа, в которой очень важную роль (см. выше) играет понятие полуактивной информации.

Еще один пример процедурной инструкции для слушающего связан с явлением вынесения влево – распространенным в языках явлением, разнообразно именуемым "топикализацией", "эмфазой" и т.д. [30, с. 935]:

- перейди назад через текущий узел абзаца
- ищи в ближайшем предшествующем активном узле абзаца
- выбери ранее активный референт в этом узле
- активизируй его.

3.3.3. Заключительные замечания. Выводы Гивона очень часто бывают спорны, а его рассуждения слишком эклектичны. Однако в его работах содержится масса перспективных и блестящих идей и наблюдений. Интересна и общая ориентация его исследований – воинствующий функционализм с когнитивным уклоном. Как пишет Гивон, "мы сформулировали совершенно конкретные гипотезы о характере информации, активизируемой теми или иными грамматическими средствами.

... Одно из достоинств этих гипотез состоит в том, что они объединяют в рамках единой модели факты из сфер, до сих пор изолированных – грамматики, дискурса и когнитивной психологии. При прочих равных условиях, это и есть то расширение междисциплинарных взаимосвязей, к которому стремится наука" [30, с. 94].

3.4. Другие исследователи

В предыдущих разделах мы рассмотрели наиболее яркие, с нашей точки зрения, примеры когнитивного подхода к дискурсу. Несомненно, список работ и направлений, которые можно было бы упомянуть в этой связи, далеко не исчерпан.

В рамках общей области изучения дискурса имеется целый ряд работ, которые не являются когнитивными в таком же узком смысле, как рассмотренные выше, но тем не менее их результаты могут быть легко переинтерпретированы в когнитивных терминах – см., например, [31], [32], целый ряд статей в монографиях [33], [34]. Особо следует отметить работы У. Манна и С. Томпсон (последняя – [35]) по так называемой теории риторической структуры – теории формирования дискурса как цепочки предикаций и отношений между предикациями.

В этом обзоре не ставилась задача охватить литературу по дискурсу в рамках искусственного интеллекта – она слишком специфична и огромна. Мы ограничились лишь некоторыми работами, представляющими широкий лингвистический интерес.

4. Заключение

Рассмотренные выше подходы У. Чейфа, Р. Томлина и Т. Гивона весьма различны и во многом несовместимы, но они имеют ряд общих свойств, которые стоит отметить.

Во-первых, все они исходят из предпосылки, что язык может быть понят лишь как разновидность когнитивной деятельности, и попытки описать или объяснить язык вне его когнитивных истоков обречены на неудачу.

Далее, все рассмотренные подходы носят в высшей степени новаторский, нетрадиционный, отчасти даже революционный характер. Тем самым, они часто воспринимаются другими учеными весьма критически.

Наконец, все эти подходы далеки от какой-либо формализации своих результатов. Это отчасти их слабость, но и достоинство: их целью является не манипулирование символами на бумаге, а содержательное понимание того, как устроен и функционирует человеческий язык.

Все рассмотренные работы – это серьезное обсуждение серьезных и реальных вещей, подлинный прогресс в науке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Topics in cognitive linguistics. Ed. by Rudzka-Ostyn B. Amsterdam, 1988.
2. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by, Chicago, 1980.
3. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
4. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990.
5. Lakoff G. Women, fire and dangerous things. Chicago, 1987.
6. Langacker R. Foundations of cognitive grammar. V. 1 // Theoretical prerequisites, vol. 2: Descriptive applications. Stanford, 1987–1991.
7. van Dijk T. A handbook in discourse analysis. V. 1–4. Berlin, 1985.
8. Chafe W. Discourse structure and human knowledge // Language comprehension and the acquisition of knowledge. Washington / Ed. by Freedle R.O., Carrol J.B. 1972.
9. Chafe W. 1973. Language and memory // Language, 1973. V. 49.
10. Chafe W. 1974. Language and consciousness // Language, 1974. V. 50.
11. Chafe W. The pear stories: cognitive, cultural and linguistic aspects of narrative production / Ed. by Chafe W. Norwood, 1980.

12. *Chafe W.* Discourse, consciousness, and time. The flow and displacement of conscious experience in speaking and writing. Chicago, 1994.
13. *Du Bois J.W., Cumming S. Schuetze-Coburn S.* Discourse transcription. Santa Barbara, 1993.
14. *Чейф У.* Данное, контрастность, определенность, топики, подлежащее и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11, 1982.
15. *van Dijk T., Kintsch W.* Strategies of discourse comprehension. N.Y., 1983.
16. Русская разговорная речь. М., 1973.
17. *Земская Е.А., Китийгородская М.В., Ширнев Е.Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
18. *Tomlin R.* On the interaction of syntactic subject, thematic information and agent in English // Journal of pragmatics. 1983. V. 7.
19. *Tomlin R.* Basic word order. Functional principles. L., 1986.
20. *Tomlin R.* Linguistic reflections of cognitive events // Coherence and grounding in discourse / Ed. by Tomlin R. Amsterdam, 1987.
21. *Tomlin R.* Focal attention, voice and word order: An experimental cross-linguistic study // Word order in discourse / Ed. by Downing P., Noonan M. Amsterdam, 1994.
22. *Кибрик А.А.* – ВЯ. 1990. № 3. Рец.: Tomlin R. Basic word order. Functional principles. L., 1987.
23. *Firbas J.* Some aspects of the Czechoslovak approach to problems of functional sentence perspective // Papers on functional sentence perspective / Ed. by Daneš F. The Hague, 1974.
24. *Кибрик А.А.* Фокусирование внимания и местоименно-анафорическая номинация // ВЯ. 1987. № 3.
25. *Кибрик А.А.* Типология средств оформления анафорических связей. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1988.
26. *Kibrik A.A.* Maintenance of reference in sentence and discourse // Language typology. 1988. Typological models in reconstruction. Amsterdam / Ed. by Lehmann W.P., Hewitt H.J.J. 1991.
27. *Posner M., Snyder C.R.* Facilitation and inhibition in the processing of signals // Attention and performance / Ed. by Rabbit P.M. N.Y. 1975.
28. *Cowan N.* Evolving conceptions of memory storage, selective attention and their mutual constraints within the human information-processing system // Psychological Bulletin, 1988, V. 104.
29. Topic continuity in discourse: Quantified cross-language studies / Ed. by Givón T. Amsterdam, 1983.
30. *Givón T.* Syntax: A functional-typological introduction. V. 2. Amsterdam, 1990.
31. *Du Bois J.* The discourse basis of ergativity // Language. 1987. V. 63.
32. *Fox B.* Discourse structure and anaphora. Cambridge. 1987.
33. Discourse description. Diverse linguistic analyses of a fund-raising text // Ed. by Mann W., Thompson S. Amsterdam. 1992.
34. Pragmatics of word order flexibility // Ed. by Payne D. Amsterdam. 1992.
35. *Mann W., Matthiessen Chr., Thompson S.* Rhetorical structure theory and text analysis // Discourse description. Diverse linguistic analyses of a fundraising text / Ed. by Mann W., Thompson S. Amsterdam. 1992.

РЕЦЕНЗИИ

Reconstructing languages and cultures / Ed. by Polome E., Winter W. (Trends in linguistics: Studies and monographs 58). B.; N.Y.: Mouton de Gruyter, 1992. 562 p.

Очередной том известной серии "Trends in linguistics" основан на материале советско-американского симпозиума, состоявшегося в ноябре 1986 г. в г. Остин (Техас) и приуроченного к уходу на пенсию У.Ф. Лемана (участники с советской стороны – Т.В. Гамк-релидзе, Ю.С. Степанов, В.П. Нерознак, В.Н. Ярцева, А.С. Мельничук). Сборник состоит из четырех разделов: "Общие исследования по проблемам реконструкции", "Частные вопросы реконструкции", "Перспективы в изучении индоевропейской культуры", "Индоевропейское и неиндоевропейское"¹.

Сборник открывается статьей самого У.Ф. Лемана "Сравнительная лингвистика". В ней подчеркивается, что процесс сравнения (безотносительно к характеру сравнения и сравниваемому материалу) есть одна из фундаментальных процедур лингвистики.

Наиболее плодотворным для науки было и остается межъязыковое сравнение. В настоящее время используются три основных типа данной процедуры, различающиеся подходом к материалу и своей целью: сравнение, ставящее своей задачей установление языкового родства, лежит в основе сравнительно-исторического языкознания; сравнение, устанавливающее общие и различные черты структуры отдельных языков, их соответствие/несоответствие определенному эталону – процедура типологического языкознания; сравнение, диагностирующее общие черты языковых систем, появившиеся в результате контактов, – предмет ареального языкознания². По мнению Лемана, в настоящее время в исторической линг-

вистике отмечаются два главных недостатка: небольшое количество семей, вовлеченных в сравнение, и малое внимание к высшим уровням языка – синтаксису и дискурсу. Следует заметить, что второй недостаток, по крайней мере, для индоевропейской лингвистики, во многом преодолен, – прежде всего классической работой самого Лемана [4], а также в работах [5–7]. Что касается дискурса, то в отдельных языках его черты складывались независимо от родственных языков. Подпадающие же реконструкции элементы (скажем, индоевропейской поэтической речи) в настоящее время довольно подробно описаны (см. [8], а также статью К. Уоткинса в рецензируемом сборнике). Для исторической лингвистики принципиальное значение имеет типологическая верификация. Так, ларингальная теория надежно подтверждается типологическим сравнением (с семитскими и картвельскими фонологическими системами), а сформулировать глоттальную теорию без типологических данных было бы и вовсе невозможно.

С нашей точки зрения, однако, типологический критерий не абсолютно релевантен. Это относится и к требованию Р.О. Якобсона о необходимости искать подтверждение реконструированным данным в фактах живых языковых систем [9]. Дело в том, что, хотя и компаративистика, и типология используют внешнее сравнение, тем не менее, различие между этими отраслями лингвистики очень велико. Компаративистика – это наука прежде всего о выводимом, а типология – по преимуществу описательная наука. Хотя существует и определенное количество языковых универсалий, и определенные взаимосвязи между различными и разнородными языковыми единицами, сформулировать целостное понятие языкового типа и тем более вывести все характеристики языка на основании ограниченного количества языковых правил не представляется возможным [10]. Кроме

¹ Некоторые работы по материалам этого симпозиума публиковались в "Вопросах языкознания" [1–2].

² В настоящее время можно также разграничивать характерологию и типологию. Первая изучает многие черты в одном или немногих языках, – вторая немногие черты (ограничивающиеся одним уровнем или подуровнем) во многих языках [3].

того, мы располагаем описаниями лишь ничтожного количества языков, когда-либо существовавших на Земле. В известных же нам языках можно найти не только универсальные, но и уникальные черты. Поэтому отсутствие параллели реконструированному факту в зафиксированных языках, на наш взгляд, еще не доказывает ошибки в реконструкции.

К статье У.Ф. Лемана тематически прилегают работы Т.В. Гамкрелидзе и В. Винтера, открывающие второй раздел. Т.В. Гамкрелидзе ("Сравнительный метод и типологические верификации: Индоевропейский материал") излагает хорошо известные типологические посылки "глоттальной теории": слабая представленность в традиционной фонологической реконструкции фонемы **b*, наличие серии звонких придыхательных при отсутствии надежных примеров глухих придыхательных. Для приведения данных реконструкции в соответствии с типологическими предлагается переосмыслить характеристики серий шумных согласных: простая звонкая (I) серия интерпретируется как глухая с глоттальным призвуком, звонкая придыхательная (II) – как звонкая с факультативным придыханием, простая глухая (III) – как глухая с факультативным придыханием. Согласно глоттальной теории, наиболее архаичную систему согласных сохранили не индоиранские, а германские и армянский языки: то, что считалось передвижением согласных, оказывается лишь варьированием древнейшей системы (подробнее см. [11]). Т.В. Гамкрелидзе polemизирует с О. Семереньи, видящим праиндоевропейское **b* в соответствии лат. *lubricus* "скользящий", *libo* "черпать, окроплять" – гот. *diups* "глубокий, погруженный". По мнению Гамкрелидзе, это соответствие охватывает только западные языки. На это можно возразить так: другое известное соответствие – слав. БОЛИИ – др.-инд. *balam* "сила" – греч. βελτερος "наилучший" – пересекает и эту языковую границу.

Выводы же В. Винтера позволяют несколько иначе описать и праиндоевропейский инвентарь шумных согласных, и его отражение в армянском. Праиндоевропейское **p/*pʰ* (по Гамкрелидзе–Иванову) отражается в армянском как *p, p', h, θ, w*; **t(*tʰ) > t, t', h, y, w*, **k > k', h, y, θ, w, g* (в зависимости от фонетического окружения). Праармянские соответствия **p, *t, *k* трактуются Винтером как фрикативные *f, θ, x*, причем данные репрезентации неустой-

чивы. Эта праармянская серия отличается от индоевропейской третьей серии как в традиционной нотации, так и в записи Гамкрелидзе–Иванова. Армянский консонантизм оказывается вовсе не архаичным. В тохарских языках тоже нет данных, которые бы заставили предпочесть "глоттальную" реконструкцию традиционной. Типологические же данные, привлекаемые для разрешения данной альтернативы, также нуждаются в реинтерпретации. По мнению В. Винтера, подход Р. Якобсона (не может быть маркированной серии при отсутствии немаркированной [9]) явно механистичен, т.к. маркирующим элементом является не отдельный дифференциальный признак, а весь пучок в целом. Поэтому оппозиция: звонкие придыхательные / глухие простые (т.е. незвонкие непридыхательные) вполне естественна. Первая же серия также противостоит немаркированной третьей. Маркирующим элементом могла быть как звонкость, так и глоттальность; последняя встречается значительно реже, поэтому традиционная реконструкция (звонкие простые – глухие простые – звонкие придыхательные) выглядит предпочтительнее. Отсутствие же **b* в праиндоевропейском, по мнению Винтера, не доказано³. Таким образом, факультативное придыхание в III серии, слабо аргументированное Гамкрелидзе и Ивановым, Винтер отвергает; первая же серия, вероятно, должна реконструироваться традиционно.

Две статьи сборника посвящены методологическим проблемам. Г. Хенигсвальд ("Сравнительный метод, внутренняя реконструкция, типология") развивает общую типологию языковых изменений (ср. [12]). Ее основные постулаты сводятся к следующему: а) каждый текст может быть представлен двояко (double articulation): как цепочка фонем и как цепочка морфем (т.е. звуковых или смысловых единиц) и записан в двойной нотации; б) в любой нотации должны быть соблюдены принципы контраста и идентичности: то, что различно воспринимается, должно быть различно записано; идентично воспринимаемое должно быть идентично обозначено; в) говорящий способен порождать все новые высказы-

³ Заметим, что решение, предложенное Гамкрелидзе и Ивановым о факультативном придыхании во второй серии, не снимает всей остроты проблемы, т.к. в известных языковых системах обязательно наличествует именно простое *b*, не маркированное факультативным придыханием.

вания; d) говорящий может быть мультилингвом в том плане, что он владеет различными стилями и жанрами речи, накладывающими свой отпечаток на высказывания. Поэтому, произнося речь, говорящий способен внести в ее звуковую или смысловую сторону те или иные изменения. Звуковые изменения в определенном окружении становятся регулярными (ср. формулу фонетического закона, принадлежащую В.К. Журавлеву [13]). Опираясь на закон Поливанова (каждая дивергенция звуков сопровождается конвергенцией, диктуется ею – и наоборот [14]), автор оперирует понятиями "расщепления" (split) и "слияния" (merger) фонем. Так, исконное *s* в латинском "щепится" на *s* и *r*, поскольку в интервокальном положении оно "сливается": **sisei* "сеет" > *serit*; ср. исконное *serit* "связывает". Изменение фонетического окружения помогает отличить исконную форму от "слившейся": ср. интервокальное *-r-* в *sero* и *gero*, но *ser-tus* и *ges-tus*. Сокращение количества реконструируемых фонем по сравнению с зафиксированным состоянием допустимо тогда и только тогда, когда хотя бы для одной пары соответствий можно подобрать позиционное объяснение. Внешнее же сравнение позволяет выявить следы старых конвергенций в фонемах; так, соответствия санскр. *i* / лат. *i*, санскр. *a* / лат. *a*, санскр. *a* / лат. *e* отражают и.е. **i*, **a*, **e*. Наличие инноваций помогает установить родственные связи языков. Если в языке I и языке II возникла общая инновация, не разделяемая языком III, то в принципе не может быть инноваций, которые бы объединяли I и III, отделяя его от II⁴. Развитие языковой системы посредством звуковых изменений можно представить в виде графов, узлы которого – те или иные состояния языковых (под)систем, а дуги – направление языковых изменений.

Позиционные изменения фонем приводят в конечном итоге к образованию алломорфов. Это вторичное щепление формирует уже не фонетическую, а морфологическую оппозицию (ср. приведенные презенс *gero* и причастие *gestus*). Большую роль в морфологических чередованиях играет морфология: звуковое изменение имеет место, где это нельзя объяснить фонетической позицией. Аналогия может быть двойкой: замена морфемы на гетерогенную,

⁴ В действительности же каждый язык имеет эксклюзивные изоглоссы не с одним, а с различными родственными языками, с которыми он вступает в контакт.

но изофункциональную (др.-англ. *eyen* заменилось на *eyés* под влиянием других форм мн.ч. на *-s*); изменение основы под давлением парадигмы (др.-лат. *honus*, *honoris* "честь" видоизменилось в *honor*, *honoris*)⁵. Такие аналогические изменения, безусловно, усложняют исследования языковых изменений, так как нарушают стройность корреспондентий.

Однако указанные процедуры не всегда позволяют дать исчерпывающее описание языковой эволюции. Ни фонетические процессы, ни факторы аналогии не объясняют вариаций суффикса *-el-i* в латинском конъюнктиве; только внешнее сравнение позволяет установить здесь совершенно различные морфемы: суффикс конъюнктива **-e-* и опатива **-oi-*.

К.Х. Шмидт ("Значение новых данных в реконструкции праязыка") рассматривает два источника обновления наших знаний о реконструированных языковых состояниях: "субстанциальное расширение" и "интерпретативное расширение". Примером первого является открытие хеттского и индоевропейского ларингала, примером второго – "глоттальная теория". Всякая реконструкция должна отвечать следующим требованиям: а) подчиняться регулярным фонетическим и морфологическим законам; б) учитывать действие аналогических процессов; в) отвечать требованиям системности. Образцом "субстанциального расширения" автор считает новые данные, которые можно извлечь из анатолийских текстов и документах на малых кельтских языках. Это – дихотомическая система рода, генитив на **-os* в тематическом склонении; напротив, отсутствие категории глагольного аспекта, "tempus primitivus" [16] и связанное с его утратой отсутствие аориста и перфекта есть анатолийская инновация. Кархаическим чертам кельтиберских надписей относятся: относительное местоимение *io-*, неизвестное в других кельтских языках, но использующиеся в индо-иранских, греческом, балто-славянских; постпозитивная частица *sie* < **k^he*, не известная в древнеирландском. Большое значение имеют 4 формы сигматического конъюнктива. Они наглядно демонстрируют развитие индоевропейского футура из конъюнктива сигматического аориста.

⁵ Это положение может служить наглядным подтверждением "двойной принадлежности" слова – по Фортунатову [15].

Примером "интерпретативного расширения" Шмидт считает изыскания Гамкрелидзе и Иванова: ранговую структуру глагольной флексии и множество глагольных энклитик в начале предложения, служащих дополнением к актантной структуре. Частицы и актанты находятся друг с другом в отношении дополнительного распределения (наличие актанта исключает соответствующую энклитику и наоборот) [11, с. 343, 362]. Интерпретативное расширение реконструкции можно предложить и на картвельском материале.

Методологическим проблемам посвящена и статья Я. Пухвела "Филология и этимология, преимущественно в анатолийском". При этимологизировании и компаративном исследовании анатолийского материала нужна особая тщательность, т.к. данный материал по многим причинам весьма неполон. Следовательно, необходимо прежде всего скрупулезное филологическое обследование материала, затем проверка возможности заимствования из соседних языков, и только после этого – собственно сравнительные штудии. Вместе с тем, учет внешнего сравнения и словообразовательных моделей помогает прояснить и значение редких слов. Медиопассивная форма *hallaniattari* интерпретируется как "он разрушается"; дуративный суффикс *-anii-* в хеттском языке засвидетельствован, чистого же глагола *hall-* нет. Но его можно сравнить с греч. ὄλλυμι < *ὄλνυμι "губить", гомер. οὐλόμενος < *ὄλνομενος и восстановить архетип **helna* с назальным суффиксом. На основании глагола *haššiuai* "царствовать" можно восстановить имя *haššu* "царь", обычно замещаемое шумерским *LU.GAL* (нередка форма с комплементом: *LU.GAL-us*). Вообще, комплемент при гетерограмме нередко помогает отнести слово к какой-либо словообразовательной модели и найти для него изоглоссу. Так, имя бога Солнца *OUTU* (KUB XVII, 19,9) дополнено суффиксом *-liia*. Это позволяет сопоставить его с греч. Ἥλιος и восстановить праформу **Sāuelios*. И в хеттской (KUB LV 54), и в греческой (Илиада, 3, 187) традиции солнце используется как важный компонент клятвы.

Я. Пухвел рассматривает также хеттский глагол *hašš'* "родить". Филологическим проблемам анатолийской лингвистики посвящена также статья К. Джастеса "Вторжение неиндоевропейских языков в Анатолию". В статье специа-

льно рассматривается функционирование хеттского *hurkil* "преступление" с типично хеттским суффиксом *il/el*, соответствующего хетт. *natta ara* (дословно – "не сказанное", 'ср. типологически лат. *ne-fas*).

Реконструкции морфологии и синтаксиса посвящены статьи Ю.С. Степанова, В.Н. Ярцевой, Дж. Ясанова. Ю.С. Степанов ("Лексические вхождения в главные типы индоевропейского предложения") излагает свою концепцию развития индоевропейского предложения (см. на русском языке [1; 7], ср. [17]). В данной статье рассматривается тип I (неактивный субъект + неактивный глагол), II (активный субъект + активный глагол), их перекрещивание (в предложениях, где субъектом является человек), IV (активный субъект + активный глагол + активный объект), который, по мнению исследователя, моложе других, базируется на расширении значения активных глаголов ("ударять, повреждать" – убивать"), на использовании каузативов в значении первичных глаголов. Особое внимание уделяется дублетным именам (названиям активного и неактивного огня, воды), а также однокоренным глаголам с разной диатезой в литовском.

В статье В.Н. Ярцевой "Синтаксическая типология индоевропейских языков (на материале кельтских, балтийских и славянских языков)" рассматривается формирование инфинитива в трех названных группах. Это процесс отнюдь не праязыковой, он достаточно ясно прослеживается в отдельных языковых группах, использующих совершенно разные форманты; тем показательнее общие и различные черты развития данной категории: в германских языках инфинитив развивался на основе презенса, в балто-славянском, напротив, основа инфинитива противостояла презентной. В кельтских языках сохранилось разнообразие способов образования инфинитивов: наличествуют и бессуффиксальные инфинитивы, большинство же образовано с помощью суффиксов *-ad* (глаголы на *-a*) и *-ud* (глаголы на *-i*). При этом, по мнению исследователей, данные формы – скорее не инфинитивы, а имена действия. Это проявляется, в частности, в том, что древнеирландский инфинитив иногда управляет не аккузативным, а генитивным объектом. В германских языках сохранились склоняемые формы инфинитива (др.-в.-нем. *hairan* род.п. *baranias*, дат.п. *to berennia*). В балтийском и славянском инфинитив прежде всего обозначает бенефицианта, цель и все, что связано с

семантикой датива [18]⁶. Кроме того, в трех названных языковых группах инфинитив связан с залоговой и диатезной оппозицией, что тоже указывает на его происхождение из имени действия. Таким образом, различные языковые семьи сходным образом развили у себя категорию инфинитива, используя разные отглагольные имена.

Дж. Ясанов ("Морфологическая реконструкция: Роль ступени *o* в хеттском и тохарском глагольном словоизменении") предлагает расширить список реконструированных глагольных категорий со ступенью *o*-корня. Помимо перфективов и итеративов-каузативов с суффиксом **-eio*, *-aiol/*-eh-io* данной ступенью вокализма характеризуются некоторые хеттские глаголы на *-hi*: *kanki* "он вешает" – *kankanzi* "они вешают", *šakki* "он знает" – *šekten* "знайте". Хеттское спряжение на *-hi* считается репрезентацией индоевропейского перфекта; по-настоящему же его воспроизводят только данные глаголы, т.к. они характеризуются перфектной ступенью корня. Она же свойственна и тохарскому субъюнктиву I и V класса: I класс – атематический (*kewi* "я бы длл" < **ghou-*; *prekam* "я бы просил" < **prok*); V класс – субъюнктив на *-a* (тох. А *wekas* "он бы исчез", *potkam* "я бы разделил", В *pauktam* то же). Третья категория, относящаяся к той же морфологической модели – древнеиндийский пассивный аорист, где на основании закона Бругманна можно восстановить ступень *o*: *apādi* "он упал", *aṣṭāvi* "он был слышен". На основании этих трех категорий автор восстанавливает особую "перфектеподобную" (perfect-like) категорию, характеризовавшуюся ступенью *o* в ед.ч. и *e* – во мн.ч. (с опорой на гипотезу Й. Шиндлера, предположившего существование корневых имен со ступенью *o* в прямых падежах и *e* – в косвенных [20]). Осколки этого класса Ясанов видит в и.-е. **melh-* "молоть", во многих языках репрезентированном как *mol-*: лат. *molo*, лит. *malù*, от. *malan*, хетт. *mallai*, но слав. МЕЛѢЖ; ср. в этой связи глоссу Гезихия εἶχεται'οἶχεται, репрезентирующую

обе ступени вокализма. Реконструкция Ясанова выявляет связующее звено между древнейшим окситонным неактивным прилагательным [21] и сформировавшимся перфектом со ступенью *o* и без редупликации [22].

Две работы посвящены проблемам дискурса. П. Хоппер ("Перспектива дискурса в синтаксической реконструкции: стратегия построения текста в древнегерманском") сопоставляет нарративные древнеанглийские и древнеисландские тексты. Новый эпизод в др.-англ. хронике начинается частицей *þa*, которой иногда предшествует союз *ond*, + глагол; внутри эпизода – иной порядок слов: *ond* (субъект + глагол. Частица *þa* обозначает примерно то же, что англ. *herelthere*; ее можно назвать идентификационно-анафорической. Если внутри эпизода меняется субъект предложения, то *þa* заменяет *ond*. Порядок слов внутри эпизода следующий: SVO, если факт, о котором идет речь, совпадает с общей темой эпизода (например, речь идет о главном герое); SVO, если речь идет о ком-то другом. В рассказе о битве англичан с датчанами англичане описаны порядком VO, датчане – OV. Как древнеанглийские, так и древнеисландские нарративные тексты обычно начинаются с глагола, сразу вводящего в повествование.

К. Уоткинс ("Сопоставление формульных последовательностей") реконструирует на основе гомеровских, пиндаровских и архаических латинских текстов особый тип социальных отношений в индоевропейской общине. Патрон – клиент, гостеприимец – гость, хозяин – поэт суть вариации некоторой оппозиции, члены которой связаны покровительством (левого члена правому) и дружбой (равноправно). Особое внимание уделяется некоторым новым формулам, реконструированным на основе не устойчивых сочетаний, а отдельных имен, представляющих собой древние эпитеты: лат. *terra(*h₂s* "сухой") "сухая земля", вед. *marta* "человек" (**mrt* "смерть") "смертный человек", др.-ирл. *duine* "человек" (**dhghom-* "земной") "земной человек", греч. ἄλφι "пшеница" (**albh-* "белый") "белая пшеница"⁷.

К сожалению, объем рецензии не позволяет подробно характеризовать осталь-

⁶ До Я. Эндзеллина к сходному выводу на ведийском материале пришел Б. Дельбрюк: здесь из 17 форм инфинитива 9 образованы с помощью дативных аффиксов, их семантика по преимуществу целевая или бенефициантная [19]. Только инфинитивы с показателем местного падежа могут обозначать реальное действие.

⁷ Ср. и.-е. **k^uet* "блестеть; белый" (слав. ЦВѢТЬ, СВѢТЬ, др.-инд. *śvitrá* "блестящий", нем. *weiß*, англ. *white*) и название пшеницы: нем. *Weizen*, литов. *kviētas*.

ные статьи сборника. Три статьи посвящены использованию компаративных методов не на материале древнейших индоевропейских состояний: "Старые и новые соображения о конфигурации романских языков" (Я. Малкиель), "Типология и глубокие генетические связи в Северной Америке" (М. Митун), "Миграция и лингвистика на примере идиша" (Р. Кинг). Большое внимание уделено индоевропейской культуре. В статье Г. Томаса "Археология и сравнительно-историческое языкознание" отмечается, что переход от истории к предистории индоевропейских народов затруднителен. С уверенностью можно отождествлять язык и культуру, когда известно, что носители языка проживали именно на данной территории и в данное время (так, ранний греческий безошибочно отождествляется с микенской цивилизацией, а хеттский — с культурами среднего и позднего бронзового века в Анатолии). С носителями же индоиранских языков можно безошибочно ассоциировать культуры не раньше 1500 г. до н.э., с германцами, кельтами и италиками — с 1000 г. до н.э., с балто-славянами — с 500 г. до н.э. Автор разделяет мнение Гамкрелидзе и Иванова о переднеазиатской прародине индоевропейцев. Носители восточных индоевропейских языков (греки и индоиранцы) могут быть отождествлены с верхнепалеолитическими культурами Центральной Европы и Юга России: культуры Среднего Стога, Триполья (4430–3945 г. до н.э.), ямная культура (3890–3380 г. до н.э.). Ряд филиаций этих культур получил довольно широкое распространение. Так, дереваты срубной культуры обнаруживаются в Иранском Нагорье, а андроновской — в Центральной Азии. Однако соотношение этих культур с курганной и серо-минийской плохо прослеживается; поэтому вопрос о путях греков на Балканы остается открытым.

Западные индоевропейские народы ассоциируются с культурой боевых топоров, которая имела весьма обширные пространственные и временные границы и породила множество филиаций. Среди них выделяется в позднем мезолите и ранней бронзе культура шнуровой керамики (наиболее ранняя на территории Нидерландов, 3365–2910 г. до н.э.), распространившаяся в начале III тысячелетия до н.э. по всей Северной и Центральной Европе. Носители этой культуры сформировали Баденскую культуру (Чехия и Моравия), культуру конусовидных сосудов, культуру Восточно-Альпийской зоны. Ее более поздние филиации могут уже отождествляться с представителями отдельных

языковых групп: Галльштадтская культура и продолжающая ее культура Ла Тене ассоциируется с кельтами.

Балтийцы и славяне отождествляются с восточными ответвлениями культуры шнуровой керамики. В степях Украины не без влияния ямной культуры сформировались культуры Среднего и Нижнего Днепра (3375–2910 г. до н.э.). Наиболее восточная филиация культуры шнуровой керамики — Фатьяновская культура на Верхней Волге.

Р. Дибольд в статье "Традиционный взгляд на индоевропейскую палеоэкономику (противоречащие свидетельства археологии и лингвистики)" подчеркивает, что именно индоевропейское языкознание, традиционно связанное с историческими и археологическими дисциплинами, помогает преодолеть постсоциорусский структурализм, рассматривавший язык как замкнутую в себе систему. В рамках исторической лингвистики, отождествляющей язык с культурно-историческим таксоном, связь языка с внеязыковой реальностью особенно наглядна. В этой связи Р. Дибольд отмечает, что традиционный взгляд на праиндоевропейцев как на кочевой народ противоречит свидетельствам как археологии, так и лингвистики. В индоевропейском лексиконе сохранилось значительное количество слов, обозначающих культурные растения, пахоту, обработку продуктов земледелия, а также укрепленных поселений (**ara-trom* "плуг", **g^hranom* "зерно", **pl^his, bhrghom* "город-крепость"). Все это свидетельствует о достаточно развитой земледельческой цивилизации.

Э. Поломэ в статье "Сравнительная лингвистика и реконструкция индоевропейской культуры" отмечает, что трехчленная структура, приписанная индоевропейскому обществу Ж. Дюмезиля (жрецы, воины, земледельцы), требует дополнительных комментариев. Во-первых, имена представителей данных социальных групп и соответствующих им божеств в различных языках несводимы друг к другу. Следовательно, дюмезилевская модель репрезентирует, так сказать, "глубинную" структуру индоевропейского общества. С другой стороны, далеко не все типы общественных организаций укладываются в трехчленную схему. Не меньшую роль играла и бинарная оппозиция, отразившаяся в явном противопоставлении "своих" и "чужих". Ее истоки кроются в структуре индоевропейского племени, напоминающей экзогамные роды-племена многих первобытных народов. Этот бинаризм проявлялся в функциях божеств.

Так, противостояли друг другу **dieus-pater* "бог неба, высшее божество (бог жрецов)" и **perkuno-* "бог грома, невысшее божество (бог воинов)", боги огня и воды. Само сотворение мира мыслилось как соединение начал огня и воды. Такой же бинаризм наблюдался в противопоставлении неба и земли (особенно в древнегреческой и ведической традициях). Здесь, правда, намечается уже и тернарнизм: свое наименование получает пространство между небом и землей (ср. вед. *dyaus* "небо", *ṛthivi* "земля", *rajas* "промежуточное пространство"). Э. Полломэ подчеркивает, что попытка представить индоевропейскую культуру только как набор бинарных оппозиций сильно обедняет ее.

Вопросам контактов с индоевропейскими языками, кроме упомянутой статьи К. Джастеса, посвящены также работы Э. Френсиса "Влияние неиндоевропейских языков на греческий и микенский" и А. Шеберга "Влияние дравидов на индоариев: обзор". В первой статье речь идет о негреческом происхождении различных греческих слов.

Так, σαῦνι "сеть" происходит из семитского адстрата (об адстратных отношениях свидетельствует и ряд глосс: ᾠβάθ·διδάσκαλος "учитель", ἄωρ·ἄετος "орел" и т.д.), -vθος – из догреческого субстрата (ῥάκινθος "род цветка", ᾠσαμίνθος ванна"). Ряд заимствований фиксируется, начиная с микенского (среди прочих автор относит к заимствованиям и мик. *rita* = гомер. λίτα "лен", предполагая его происхождение из аккад. *ritu* "род ткани"; в действительности это скорее и.-е. слово, одного корня с греч. λίνον, лат. *linum*, слав. ЛЬНЬ). Во второй статье влияние дравидов на индоариев прослеживается от ведической эпохи до современной. Заслуживает внимания вывод о дравидийском происхождении частицы прямой речи *iti* и о дравидийском влиянии в употреблении герундиев. В статье В.П. Нерознака "Фригийский" подводится итог многолетним совместным исследованиям И.М. Дьяконова и автора на данную тему [23]. Дж. Кардона в статье "Индийская грамматическая традиция и историческая лингвистика" сопоставляет данные традиционных индийских грамматик и компаративистики.

В целом, сборник свидетельствует о чрезвычайно высококом уровне развития американской компаративистики, о больших достижениях этой науки и о стоящих перед

ней широких перспективах. Сравнительно-историческое языкознание позволяет заглянуть в прошлое не только языков, но и человечества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Степанов Ю.С. Индоевропейское предложение: лексические вхождения в структурные схемы // ВЯ. 1988. № 1.
2. Шмидт К.Х. Значение новых данных для реконструкции праязыка // ВЯ. 1988. № 4.
3. Родионов В.А. "Цельносистемная типология" vs. "частная типология" // ВЯ. 1989. № 1.
4. Lehmann W.Ph. Proto-Indo European Syntax. Austin, 1974.
5. Friedrich P. Proto-Indo-European Syntax. Hattisburg, 1974.
6. Watkins C. Preliminaries to the reconstruction of Old Irish sentence // Celtica, 1963, V. 6.
7. Степанов Ю.С. Индоевропейское предложение. М., 1989.
8. Schmitt R. Dichtung und Dichterssprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden, 1964.
9. Якобсон Р.О. Типологические исследования и их значение для сравнительного языкознания // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1962.
10. Серебрянников Б.А. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
11. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. I-II. Тбилиси, 1984.
12. Hoenigswald H. Language change and linguistic Reconstruction. Chicago, 1960.
13. Журавлев В.К. Диахроническая фонология. М., 1986.
14. Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
15. Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. Т. 1. М., 1956. С. 136–137.
16. Schwyzler E. Griechische Grammatik. Bd. 2. München, 1953. S. 640.
17. Красухин К.Г. Некоторые проблемы реконструкции праиндоевропейского синтаксиса // ВЯ. 1990. № 5.
18. Endzelin J. Lettische Grammatik. Riga, 1922.
19. Delbrück B. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Halle, 1893.
20. Schindler I. L'apophonie des noms-racines indo-européens // BSLP, 1972, V. 67.
21. Kurylowicz J. L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956.
22. Bader F. ΕΙΚΩΣ, ΕΟΙΚΩΣ et le parfait redoublé en grec // BSLP, 1968, V. 63.
23. Diakonov I.M., Neroznak V.P. Phrygian, N.Y., 1985.

К.Г. Красухин

Заглавие работы – "Синтаксические категории и грамматические отношения" – в переводе на язык восточно-европейской лингвистической традиции звучит как "Части речи и члены предложения". Два "вечных" вопроса грамматики В. Крофт решает с позиций функциональной типологии. Это означает, что основная задача автора – объяснить, каким образом с помощью лексики и грамматических средств происходит концептуальное членение картины мира и как это членение приспособляется к коммуникативной задаче говорящих. Анализируя соотношение лексических классов и элементарных компонентов предложения в языках мира, автор выявляет универсальные принципы когнитивной организации информации в естественном языке.

В первой части книги обсуждаются проблемы классификации лексики. В основе концепции В. Крофта – понятия "прототипа" и "маркированности". В каждой синтаксической категории (части речи – В.П.) выделяется ядро, обладающее прототипическими функциями. Известно, сколь уязвимы школьные определения типа "глаголы – это слова, обозначающие действие и выступающие в предложении в качестве сказуемого". Достаточно сослаться на существительные типа *бег*, которые также обозначают действие, но выступают в качестве подлежащего или дополнения. Тем не менее и интуиция исследователя, и интуиция носителя языка подсказывает нам, что за школьным определением стоит некоторая объективная тенденция использовать слова одного типа для обозначения предметов, а слова другого типа для обозначения действий. В. Крофт формулирует эту тенденцию в терминах прототипических функций – семантической и прагматической. Прототипическая семантическая функция существительных – обозначение объектов, глаголов – обозначение действий. Прототипическая прагматическая функция существительных – референция (введение сущности, о которой идет речь), прототипическая прагматическая функция глагола – предикация. Прилагательные являются промежуточной категорией: их прототипической семантической функцией является обозначение признаков, а прототипической прагматической функцией – модификация (сужение или уточнение свойств референта).

При таком подходе существительные типа *бег* не являются семантически прототипическими – они обозначают действие, а не объект. Однако они сохраняют свою прототипическую прагматическую функцию – референцию, что подтверждается их способностью контролировать анафорические местоимения-заместители, их сочетаемостью с указательными местоимениями, характером согласования с прилагательными и проч.

Прототипические имена и прототипические глаголы лежат на разных полюсах семантической и прагматической шкал, движение вдоль которых осуществляется по мере изменения определенного набора параметров. Так, на движение вдоль семантической шкалы влияют, в частности, следующие параметры: (а) наличие свободных семантических валентностей, (б) стативность обозначаемого явления, (в) непрерывность обозначаемого явления и ряд других. Свободных семантических валентностей у прототипических прилагательных больше, чем у прототипических существительных, а у глаголов – больше, чем у прилагательных. По признаку стативности глаголы противостоят существительным и прилагательным. По признаку непрерывности граница может проходить внутри прилагательных – тестом может служить сочетаемость со словами типа *всегда*. Прилагательные, обозначающие прерывные признаки, с такими словами сочетаются (*всегда пьяный, всегда голодный*), а обозначающие непрерывные признаки – не сочетаются (**всегда жадный, *всегда глупый*).

Самым привлекательным в концепции В. Крофта мне представляется сформулированный им принцип минимальной маркированности прототипа. Противопоставление маркированность vs. немаркированность также не считается бинарным, а рассматривается как градуированная шкала. Минимальной маркированностью обладают языковые единицы в своей прототипической функции, маркированность растет по мере приобретения единицей непрототипических свойств.

Автор предлагает следующие критерии маркированности:

1) Структурный критерий: в маркированную форму входит не меньше

морфем, чем в немаркированную. Так, использование лексемы не в прототипической функции является маркированным, что может получать специальное морфологическое выражение.

2) Сочетаемый критерий: (а) для немаркированной формы релевантно не меньшее число грамматических противопоставлений, чем для маркированной, и (б) немаркированная форма способна входить в неменьшее число синтаксических конструкций. Так, глагол в прототипической (немаркированной) – предикативной – функции свободно присоединяет показатели времени, вида, наклонения. С приобретением непрототипических функций (референции и модификации) растут ограничения на присоединение этих показателей (как это происходит, например, с инфинитивами или причастиями). Инфинитивы и причастия имеют и меньшую степень синтаксической свободы.

3) Частотный критерий: маркированная форма не более частотна, чем немаркированная.

Автор убедительно показывает, что употребление основных частей речи в прототипической функции является немаркированным и рассматривает на материале языков различных групп основные способы маркирования непрототипических употреблений лексем. В работе анализируются: существительные и прилагательные в предикативной функции (в частности, конструкции, включающие аффиксы и служебные слова с копулятивным значением); существительные, выполняющие модифицирующую функцию (в частности, генетивные конструкции); глаголы в референтной функции (в частности, различные типы номинализации) и ряд других лингвистических феноменов.

Вторая часть работы посвящена функционально-типологическому исследованию проблемы грамматических отношений. Здесь основной задачей автора было показать, каким образом предикатно-аргументная структура предложения коррелирует с прагматической структурой пропозиции.

Всякое положение вещей концептуализируется в языке как фрагмент цепи причинно-следственных отношений, связывающих элементарные ситуации и объекты. Предикатно-аргументная структура предложения отражает лексическое значение предиката и, в частности, представленный в предикате семантический тип каузации. Даже в тех случаях, когда концептуализируются отношения, исключаяющие воздействие одной сущности на другую, например, пространст-

венные или временные, язык использует каузальные цепи как метафорическое средство отображения действительности.

Автор рассматривает четыре принципиальных способа воздействия одной сущности на другую в зависимости от природы этих сущностей и характера происходящих в них изменений.

1. Воздействие ментальной сущности на физическую сущность (волитивная каузация): *Я сломал палку* Этот тип каузации является прототипическим, и потому минимально маркированным. Семантическая роль, соответствующая инициатору волитивной каузации именуется Агенсом.

2. Воздействие одной ментальной сущности на другую (индуктивная каузация): *Я убедил его приехать*

3. Воздействие физической сущности на ментальную сущность (аффективная каузация): *Эти звуки наводят тоску*. Семантическая роль, соответствующая инициатору аффективной каузации, именуется Стимулом, а роль, соответствующая мишени, – Экспериментером.

4. Воздействие одной физической сущности на другую (физическая каузация): *Капля камень точит*. Семантическая роль, соответствующая мишени физической каузации, именуется Пациентом.

В принципе, каждая из сущностей, участвующих в каузальной цепочке, может быть в предложении подлежащим, прямым дополнением или косвенным дополнением. Для этого существуют разнообразные морфосинтаксические механизмы кодирования семантических ролей, и в первую очередь, система залоговых преобразований. Выбор того или иного актанта в качестве подлежащего определяется, прежде всего, прагматическими принципами: степенью активности соответствующего участника ситуации, степенью определенности, эмпатией говорящего и проч.

В этой части работы особенно интересно, с моей точки зрения, исследование способов кодирования косвенных дополнений в зависимости от статуса соответствующих актантов в каузальной цепочке. Известно, что одни и те же морфосинтаксические средства могут использоваться для кодирования разных семантических ролей. Обычные варианты такого синкретизма – использование одного и того же средства для выражения адресата и результата (русский дательный падеж) или инструмента, способа и комитатива. Автор дает этому явлению функционально-типологическое объяснение. одни

средства используются для кодирования семантических ролей, которые в каузальной цепочке, соответствующей значению данного предиката, предшествуют прямому дополнению (инструмент, причина, способ), а другие – для тех ролей, которые в каузальной цепочке следуют после прямого дополнения (бенефактив, адресат, результат). Набор этих средств, как правило, не пересекается.

К сожалению, в этом и большинстве других разделов второй части книги автор устанавливает соответствие между предикатно-аргументной структурой предложения и прагматическим членением пропозиции, исходя из того, что такое членение уже проведено, и в частности, известно, как определяются подлежащее и дополнение. Однако несмотря на то, что критерии подлежащности (и в первую очередь, прагматические) достаточно разработаны, эта задача еще весьма далека от полного разрешения. Рефлексы этого обнаруживаются и в самой работе: так выделение семантической роли Пассивного агенса кажется недостаточно обоснованным смешением разных уровней.

Впрочем, недостаточная строгость отдельных формулировок компенсируется богатством и разнообразием фактического материала. Основные положения иллюстрируются убедительно и изящно. В работе используются данные более чем ста языков, причем многие из них даются не по описаниям, а собранные самим автором. Многие выводы подкрепляются весьма внушительными статистическими подсчетами. Например, чтобы выяснить распределение прототипических функций по частям речи, был проанализирован словарь базовой русской лексики [1], включающий 468 производных основ. Статистической обработке подвергались также связные тексты ряда америндских и австралийских языков.

Следует отметить также удачную композицию работы, эксплицитное и очень живое изложение материала. Рецензируемая работа, как и вышедший за год до нее учебник по типологии [2], свидетельствует о безусловных дидактических способностях и эрудиции автора.

С моей точки зрения, исследование прототипических функций частей речи позволит по-новому взглянуть на некоторые явления, которые до сих пор не рассматривались в контексте функциональной типологии. Приведу один пример. Известно, что во многих языках возможна синонимическая замена полнозначного глагола на сочетание полувспомогательного глагола и

полнозначного имени, являющегося при этом глаголе подлежащим или дополнением (*работать/заниматься работой, служить/нести службу*). Такие глаголы с максимально обобщенной семантикой были описаны в рамках модели "Смысл-Текст" как лексические функции-параметры [3–4]. Замена полнозначного глагола на сочетание имени с глаголом-параметром позволяет осуществлять референцию к непредметным сущностям, в том числе, к ситуациям. Обращает на себя внимание тот факт, что глаголы параметры часто выступают в составе так называемых "вместоглаголий" в сочетании с анафоическими местоимениями: (*это*) было, (*это*) произошло, поступил (*так*). Вместоглагольные конструкции кореферентны в тексте глагольной группе или целому предложению: *Я действительно разбил чашку, но я сделал это нечаянно*. Некоторые лексические функции параметры способны выступать только как вместоглаголия (*поступить так*); другие, напротив, не способны к вместоглагольному употреблению (производить ремонт, но не **производить так/это*); третьи допускают оба употребления (*заниматься рисованием/заниматься этим*). Антецедентом вместоглагольной конструкции может быть только такая глагольная группа, которая удовлетворяет семантическим требованиям, задаваемым глаголом-параметром. Так, антецедентом вместоглаголия *сделал это* могут быть только глагольные группы, обозначающие действие, контролируемое субъектом (*Иванов простудился*. **Он сделал это вчера*). Те же семантические требования подключаются, когда в сочетании с параметрическим глаголом выступают неопределенные местоимения или вопросительные слова и необходимо дальнейшее развертывание связного теста – снятие неопределенности или ответ на вопрос (*Что он сделал?* **Потерял сознание*, **Простудился*). Такие глаголы-параметры, как *натворить* или *вытворять*, вне фразеологизмов типа *натворить бед* могут употребляться только с неопределенным местоимением или вопросительным словом (*Что он опять натворил? Что же ты наделал?*) [5].

Таким образом, сочетание существительного или местоимения с глаголом-параметром представляет собой особый морфосинтаксический прием, позволяющий одновременно осуществлять две прагматические функции – референцию и предикацию. Ис-

следование таких конструкций в языках разных типов может существенно продвинуть наше представление о распределении прагматических функций между прототипическим именем и прототипическим глаголом.

Приведенный пример показывает, что рецензируемая работа, с одной стороны, опирается на важнейшие достижения семантической и синтаксической типологии, а с другой – может дать импульс дальнейшим исследованиям в этой области.

К сожалению, на этом фоне огорчает слабое знакомство автора с образцами российской лингвистической мысли. В первую очередь, это относится к типологическим исследованиям недавно скончавшегося И.Ш. Козинского, посвященным, в частности, ядерным (прототипическим) категориям [6]. Работы московской школы лексической семантики и, прежде всего, Ю.Д. Апресяна, существенны для понимания того, как значение лексемы может быть встроено в семантическую и прагматическую структуру предложения [7]. С этой же точки зрения, представляет интерес формальный язык для записи толкований, разработанный З.М. Шаляпиной [8].

Следует упомянуть и несколько досадных технических промахов. Так, в русском примере на стр. 201 содержится ошибка: следует читать *zaseivaet pol-e* (ACC). Две аналогичных таблицы – 2.4. (стр. 65) и 3.3. (стр. 137) – оформлены не вполне единообразно (ср. *valence/valency, state/siative,*

O/zero). Имеется опечатка на рис. 5.1. (стр. 185): следует читать: *passive agent comitative*.

Однако все упомянутые недостатки носят преимущественно периферийный характер. Книга В. Крофта – масштабное исследование, свидетельствующее о появлении значительного имени на типологическом горизонте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Wolkansky C., Poltoratsky M.* Handbook of Russian roots. New York. 1961.
2. *Croft W.* Typology and universals. Cambridge. 1990.
3. *Мельчук И.А., Жолковский А.К.* О семантическом синтезе. Проблемы кибернетики. 19. М., 1967.
4. *Мельчук И.А.* Опыт теории лингвистических моделей "Смысл-Текст". М., 1974.
5. *Подлеская В.И.* Вопросы лексической и синтаксической семантики: анафора в современном японском языке. М., 1990.
6. *Козинский И.Ш.* Некоторые грамматические универсалии в подсистемах выражения субъектно-объектных отношений. Дис... канд. филол. наук. М., 1979.
7. *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика (синонимические средства языка). М., 1974.
8. *Шаляпина З.М.* Формальный язык для записи толкований слов и словосочетаний. Проблемы кибернетики. 36. М., 1979.

В.И. Подлеская

Семенов А.Л. Лексикология современного китайского языка. М., Наука, Главная редакция восточной литературы. 1992. 279 с.

Любое путешествие интересно. Приглаголивает и "сюжет" путешествия, и его цель, и даже экипировка. Книга А.Л. Семенова – тоже путешествие, но ментальное – в лексикологию. По тщательно и безупречно обдуманному маршруту, с подготовленным (вполне надежно) и проверенным рефлексивным инструментарием.

Такое путешествие интригует, заставляя взгляды в знакомый (например, для китайца) лексический материал или привыкать (некитайцам) к его непривычной семантической парадоксальности. Особенно интересной представляется середина этого путешествия – главы вторая и третья ("Проблемы лексико-семантической парадигматики" и "Лексические комплексы и их синтагматическая структура"). Первая и

четвертая главы – это своеобразная рамочная конструкция, позволяющая четче и яснее представить самое главное – характер и структуру семасиологического целоположения, национальную (точнее говоря, этническую) специфику смыслоформирования и смыслоформирования в лексической системе китайского языка. Для чего же нужны были эти усилия? Пожалуй, ответом на этот вопрос служит четвертая глава ("Словари китайского языка и современные проблемы лексикографии"), в которой рассматриваются различные тактики фиксации лексического материала и того, что можно назвать телеологией (установкой) словаря: речь идет о способах выделения и толкования значений, а также о принципах определения объема словаря и характера

представления грамматической информации в том или ином словаре.

Весьма важным представляются мне в этой главе разделы 4.6. ("Проблемы безэквивалентной лексики в переводной лексикографии") и 4.7. ("Схема семантической классификации лексики китайского языка") – в первом из них проанализированы различия между китайскими и русскими полями названий наук и способов передвижения в транспортных средствах. Эти различия позволяют судить о компонентной (я бы сказал: семной) специфике соответствующих лексических единиц (в этом отношении А.Л. Семенов оказались бы полезными работы, выполненные в рамках воронежской школы, но, к сожалению, она их не учла). Такая специфика важна не только в лексикографическом, но и в педагогическом и переводческом планах. Во втором разделе представлена структурная схема идеографического (китайского) словаря Кураиси – схема, позволяющая А.Л. Семенову обсудить связь между структурным характером языка и зависящими от этого характера способами репрезентации языкового/речевого материала (в этом словаре используется частеречная идеографическая репрезентация) и наметить (конечно, не эксплицитно) пути соотношения своего анализа с теми концептуальными ячейками, на которые разбит словарь Кураиси.

Если четвертая глава книги является ответом на вопрос: зачем это нужно?, то первая – ответом на вопрос об опорной лексической единице анализа, предлагаемого А.Л. Семеновым. Таковой, по ее мнению, может быть лишь первичная лексема (ПЛ). Первичные лексемы объединяются в классы в соответствии со своим "поведением" в той или иной среде: класс автономных, связанных, служебных и промежуточных (я сказал бы: синкретических) ПЛ. Из таких же классов ПЛ состоят и устойчивые словосочетания (фразеологизмы). Причем основным типом словосложения является атрибутивный (компенсирующий в китайском языке нехватку морфологических словообразовательных средств). Рассматривая классы этих ПЛ, А.Л. Семенов вынуждена была рассмотреть и другую сложную проблему – проблему различия (сложных) слов и словосочетаний. Такое различие, как она полагает, возможно, но лишь при том условии, что в основу различия кладется лексический комплекс – семантическое образование, реализующееся "... и на уровне слов, и на уровне словосочетаний, поскольку их внутренней структуре часто присущи общие законы" (стр. 30). Иными

словами, именно лексические комплексы и являются объектом анализа, а, точнее говоря, те взаимосвязи между исходными корпускулярными единицами, которые предопределяют семантическую конфигурацию этих единиц и, тем самым, их вхождение в класс слов или словосочетаний¹.

Во второй главе своей книги А.Л. Семенов рассматривает понимание феномена синонимии в отечественных и западноевропейских работах, а также в работах китайских ученых, переходит к характеристике типов (и подтипов) синонимии в китайском языке (в связи с этим обсуждается проблема возможности замены одного слова другим в соответствующем контексте, что позволяет судить о степени их синонимичности; обсуждается нерелевантность звукового состава для характеристики его как синонима; вводится критерий сильной и слабой взаимозаменяемости и анализируются сложные образования, состоящие из синонимичных компонентов). В этой же главе обсуждается феномен антонимии: детально анализируются пять антонимических структурно-функциональных типов, порядок соотношения компонентов внутри антонимической пары, а также гипо-гиперонимические соотношения.

Особенно интересны в этой главе под-разделы 2.4. ("Семантическое поле как целостная семантическая подсистема. Отношения между членами семантического поля") и 2.6. ("Компонентный анализ множеств связанных значений на примере семантического поля зрительного восприятия"). Раздел 2.4. позволяет судить не только о характере копулятивных комплексов, но и о корреляциях между ними (синонимических, антонимических и обще-

¹Ход и характер обсуждения этих проблем (см. стр. 29–35) свидетельствует, на мой взгляд, о необходимости использования новых терминов-понятий, позволяющих видоизменить и расширить рассматриваемое поле рефлексии. Так, в книге вводятся понятия первичного идеограммического комплекса (например, *цингунье чжунгунье*) и вторичного идеограммического комплекса (например, *цингун гунье*), указывающих на две разных по своему характеру когнитии (дискретную и недискретную) и позволяющих ограничивать их друг от друга: первый комплекс, по-видимому, является словосочетанием (идеограммидом), а второй – словом (идеогосидом). Такой же принцип разделения применим, очевидно, и к анализу таких идеологов, как "ломка четырех старых", являющихся не чем иным, как сверткой когнитивно-когнитивных комплексов, в результате которой "экономятся" реляционные отношения.

ассоциативных) или, иными словами (см. с. 114–115), о тех коннотативных ореолах, которые присущи каждому копулятивному комплексу в соотнесении с другим (для лексикографической практики и преподавания такие сведения крайне важны). В свою очередь, в подразделе 2.6. как, впрочем, и во всей главе, представлен образец анализа глаголов с общим компонентом "смотреть". Такой анализ позволяет судить о семантической спецификации каждого из них в зависимости от характера действия (время и направление), типу объекта восприятия и типу эмоционального отношения субъекта к объекту. Иначе говоря, в этом подразделе поле зрительного восприятия истолковывается как поле, позволяющее реконструировать характер поведенческого стереотипа носителя китайского языка, его языковые и неязыковые привычки и предпочтения, "локусы" его избирательности или неизбирательности, внимания или невнимания, имеющие большое значение для построения китайской "картины мира"².

Видимо, к фоноэксептивам следует отнести *манлаунь / луаньман, аньвэй / вэйань* и др. (с. 78). Что же касается слов (NB!) типа *даоу, туди* и *цзяохань*, то их следовало бы рассматривать как гомогентивы (образования, значение которых равно единице), возникающие на базе диффузитивов *дао* (девять значений), *лу* (три значения), *да* (три значения), *ту* (шесть значений), *цзяо* (шесть значений) и *хуань* (одно значение). Иными словами, диффузитивы следует рассматривать и как парасеманты, значение которых заведомо больше единицы.

В третьей главе книги лексические комплексы рассматриваются с формальной и содержательной точек зрения. А.Л. Семенас выделяет следующие типы сложения с синтаксически несамостоятельным первым или вторым компонентами, а также с обоими синтаксически несамостоятельными компонентами (с. 142–143).

²Для разграничения значений глагола *цзяо* (см. с. 50) целесообразно было бы считать, что *цзяо* и *цзыхао* – это единицы, которые следует считать полными эксептивами (единицами "принимающими" друг друга, а *цзяо*, *цзыда*, *цзяоцзинь*, *цзяоци* – неполными) частичными эксептивами. Повидимому, на с. 60 также описываются эксептивы, причем полные, но уже другого вида – *фсно* – эксептивы, появление которых можно объяснить и потребностью в языковой игре, и тончайшей фокусировкой в распределении значения при мене компонентов (ср. *шицзу-1* и *шицзу-2*).

А.Л. Семенас показывает, что существуют специфические модели сложения существительных, прилагательных и глаголов, а затем дает тщательный и убедительный анализ 52 классов эквивалентности, характерных для лексических комплексов (рассматриваются семантические реляции дублирования, дополнения, интенсификации, локализации, усреднения, соотношения морфо-семантических и лексико-семантических реляций, их продуктивность, частотность и вариативность и т.д. и т.п.), что позволяет составить достаточно полное представление о китайской семантической "технологии" – об ее элементах и операциональных приемах, позволяющих им существовать в виде некоторой целостности, указывающей, в свою очередь, на базовые составляющие, лежащие в основе китайской ментальности. Укажу в этой связи лишь на с. 186–187 книги, на которых обсуждаются вопросы смыслоформирования и смыслоформулирования таких лексических (вернее, когнитивных) комплексов, как *цичэ юань* и *шуйго юань*.

Я мог бы упрекнуть А.Л. Семенас, что на общем стилистически благополучном фоне книги встречаются досадные сбои (их мало). Есть и некоторые противоречия, есть и фрагменты, кажущиеся мне недостаточно убедительными. Я также посоветовал бы А.Л. Семенас быть осторожнее с истолкованиями следующего типа: "туфли: (изделие) ... – (имеющее голенище) ... сапоги: (изделие) ... + (имеющее голенище) ... носки: (изделие) ... + (имеющее голенище) ..." (с. 25–26), ибо если у сапог и есть голенища (а это, по В. Далю, "часть сапога выше подъема, обнимающая голень" [1, т. 1, с. 368]), то вряд ли можно полагать, что голенища есть и у туфель ("... башмаки без передков, подошва с передком" [1, т. 4, с. 444]), а о носках лучше говорить, что это – чулки без паголенка.

Встречаются в книге фрагменты, которые мне хотелось бы оспорить. Но, наверное, так и должно быть, если читаешь хорошую и толковую книгу.

И последнее. "Лексикология современного китайского языка" в том ее виде, в каком она представлена А.Л. Семенас, служит удачным и нужным дополнением к тем сугубо рационалистически ориентированным (но тоже нужным) работам (см., например: [2]), которые, конечно же, дают представление лишь о логическом каркасе языка, но не об языке как "семантическом поступке".

1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 4-е изд. Т. 1-4. М., 1955.

Ю.А. Сорокин

Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект / Под ред. Земской Е.А. и Шмелева Д.Н. М.: Наука, 1993. 224 с.

Монографические исследования Института русского языка РАН, в основу которых положено изучение живой русской речи [1-5], оказали сильное влияние на развитие русистики. Эти труды способствовали изменению предмета лингвистического анализа (от книжно-письменных форм к устным разговорным), в значительной мере обусловили смену научной парадигмы в русистике [6], дали толчок к изучению разговорной речи регионов [7-11]. Рецензируемая коллективная монография – новый крупный шаг в исследовании разговорной речи.

Целенаправленный функционально-прагматический анализ речевого быта, который связан со смелым выходом за рамки "чистой" лингвистики, включение в предмет наблюдения речевого партнерства, отказ от уровневого подхода при анализе материала, учет внешних и внутренних факторов влияния на речевой акт в конкретной ситуации (в том числе фактора ментальности) – вот те достоинства коллективного труда, которые, как нам кажется, открывают новые перспективы развития современного речеведения.

Книга начинается с главы Т.Г. Винокур "Информативная и фатическая речь как обнаружение разных коммуникативных намерений говорящего и слушающего". Автором представлена типология речи с позиций целеполагания участников речевого общения. Отталкиваясь от основных языковых функций, Т.Г. Винокур переводит проблему в речедействительный план и дополняет понятием коммуникативных ролей говорящего и слушающего, так что дихотомия *информативная – фатическая* речь получает социолингвистическое обоснование, а основным термином описания этих видов речи становится *речевое поведение*.

Понятие фатического речевого поведения в трактовке Т.Г. Винокур значительно расширяет и корректирует сложив-

шееся представление о фатической (контактоустанавливающей) функции языка [12]. Фатическое речевое поведение определяется через его ситуативно-целевую задачу и обсуждается как самостоятельное речевое явление, могущее доминировать в речи. Трудно переоценить значимость этого впервые высказанного целостного представления о фатической речи как речи, осуществляемой в целях собственно общения. Автор выстраивает инвариантную оппозицию *информативное – фатическое*, определяет сосуществование этих видов речевого поведения как коммуникативную норму социума в подавляющем большинстве речевых жанров, обозначает сферы наибольшей значимости фатического речевого поведения, прежде всего, это сфера употребления речевого этикета и бытовая речь. Заключение о психо-стилистической природе фатического речевого поведения приводит к чрезвычайно важному выводу о принципиальной двойственности социальной природы использования языка: фатическое намерение может привести к тому, что истинность или ложность высказывания *теряет значимость для говорящих*. На основе данного вывода вся теория коммуникативных качеств речи должна быть рассмотрена заново.

В принципе полностью поддерживая изложенную концепцию, отметим наличие дискуссионных положений. Одно из них связано с истолкованием фатической речи как речи, сосредоточенной на себе самой ("в качестве коммуникативно-семиотической ценности фатической речи выступает сама речь"). На наш взгляд, здесь фиксируется лишь частная позиция. Общая же заключается в том, что речь используется не для передачи предметно-логической информации, а для передачи информации о совместности речевого действия и его соответствии правилам общения в данном социуме.

В связи с этим возникает вопрос о речевом и психологическом субстрате фатики:

не составляет ли его, в конечном счете, эмоциональная сфера психики? (Ср. с выводами исследователей английской литературно-разговорной речи о значимости эмотивного содержания в непринужденном речевом общении) [13]. Отдельные замечания, высказанные в главе, и аналитическая проба дифференциации информативных и фатических признаков разговорного диалога показывают взаимозависимость фатичности и эмотивности. Одной из перспектив исследования фатической речи может явиться выяснение характера этой взаимозависимости.

И это только одна из перспектив. Предложенная концепция открывает новые возможности для интерпретации содержательного структурирования разговорной речи, для обсуждения вопроса о текстовом статусе разговорных диалогов (может быть поставлен вопрос о тексте с фатической доминантой) и др. Вне сомнения, идеи Т.Г. Винокура вызовут живейшее внимание специалистов и получат развитие в современной коллоквиалистике, культуре речи, риторике.

Глава О.Н. Ермаковой и Е.А. Земской "К постросию типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога)" обращена к живому речевому быту, современное состояние которого далеко от совершенства. Исследуя естественные диалоги, авторы выявляют типы коммуникативных неудач в зависимости от причин порождения последних. Причины эти неоднородны: в их числе собственно языковые, прагматические, личностные. Не абсолютизируя отдельную причину коммуникативной неудачи, авторы демонстрируют соединение различных факторов, обуславливающих неудачи, обнаруживают пути их сглаживания или обострения в различных ситуациях общения.

Вовлекаемый в анализ живой диалог обнаруживает ограниченность собственно лингвистического подхода, которую авторы успешно преодолевают. Отталкиваясь от наличия или отсутствия в процессе диалогического взаимодействия обратной связи, взаимопонимания, выделяя разновидности коммуникативных неудач, они формируют ряд положений, имеющих несомненную теоретическую значимость для речеведения (в самом широком смысле этого термина). Обратим внимание на некоторые очевидные перспективы.

Представленный в работе очерк коммуникативных неудач, порождаемых внутренним устройством языка, подтверждает теорию коммуникативной природы качеств

хорошей речи [14]. Особенно ценными нам представляются наблюдения, связанные с неоднозначностью словоформ и конструкций, вызванной характером грамматической системы русского языка. Дальнейшая разработка коммуникативных качеств речи, основанная на дихотомии язык — речь, в аспекте коммуникативных неудач поможет установить основы обратной связи в границах диалогического общения и, следовательно, вывести такую научную дисциплину, как культура речи, на качественно новый уровень исследования.

Выводы о коммуникативных неудачах, порождаемых различиями в коде говорящего и слушающего, неадекватной передачей чужой речи, позволяют включить в понятие элитарной речевой культуры [15] умение говорящего переходить на субъязык партнера.

Исследованные коммуникативные неудачи, порождаемые прагматическими факторами, обнаруживают несовершенство словарей, которые часто оставляют за пределами словарных данных прагматическую "долю" лексической семантики. Открывается путь к выявлению прагматических компонентов лексического значения, реализация которых может послужить причиной коммуникативного напряжения, привести к конфликту.

Постановка вопроса о неудачах, порождаемых нарушением стереотипных связей между категориями смыслов, кажется нам особо актуальной в связи со сменой стереотипов речевого поведения, мышления, мировосприятия в постперестроечное время.

Предложенная типология коммуникативных неудач в целом помогает понять, что между личностными (паспортными) параметрами коммуникантов и коммуникативной удачей либо неудачей нет прямой зависимости. Это говорит об ограниченных возможностях ролевой теории общения. Данная типология может быть использована при выработке практических предписаний нормативного неконфликтного речевого поведения.

Вступление в сферу речевой деятельности закономерно связано с осмыслением многофакторной зависимости речи от компонентов коммуникативного акта, коммуникативных условий и способов представления речи. Проследивание этих зависимостей составляет сквозную задачу рецензируемой книги. В главе "Чужая речь в коммуникативном аспекте (на материале устных текстов)", написанной М.В. Китайгородской, названная проблема структурируется на базе перечня коммуникативных факторов (экстралингвистических и речедетель-

ностных). Чужая речь в устном тексте описывается в ряде стилистических очерков, каждый из которых посвящен определенному коммуникативному параметру, например, форма речи, тип коммуникации, тема и жанр, говорящий и др. В совокупности создается емкое представление о феномене чужой речи, в центре которого – мысль о том, что репродуцируемая в устном говорении чужая речь – это моделируемая говорящим речь с опорой на первичное сообщение в прошлом.

Очень интересен раздел главы, посвященной функциям чужой речи. Жаль, что он, по замыслу работы, не мог быть выделен в отдельный фрагмент и несколько затерялся в тексте главы. Нужно надеяться, что данная проблема будет развернута в самостоятельное исследование. Вообще, использованный М.В. Китайгородской таксономический подход побуждает к установлению взаимосвязи и группировки обозначенных параметров, дополнению их ряда, установлению специфики речевого воплощения каждого из них. В работе обоснована лингвистическая значимость коммуникативных параметров, что стимулирует дальнейшие исследования в области данной проблемы.

Одним из коммуникативных параметров в названной главе выступает параметр жанра, рассмотренный автором несколько конспективно. Понятие жанра, одно из труднейших для лингвистического истолкования, используется здесь последовательно в том плане, что жанр приравняется к речевому произведению, а не к высказыванию типа отдельного предложения, пары реплик диалога и т.п., и не вполне последовательно относительно закрепляемых за жанром речевых произведений, ср. ряды: полемические, дидактические и нарративные тексты; монолог, диалог, рассказ. Отметив необходимость специального исследования лингвистической стороны жанра, обратимся к опыту специального анализа жанра, представленного Е.И. Голановой в главе "Устная публичная речь. Жанр публичной лекции".

Глава включает в себя два самостоятельных раздела. Название вводно-теоретического раздела – "Языковой статус публичной лекции" беднее его содержания. По сути, здесь определены доминантные типологические признаки публичной лекции в коммуникативно-деятельностном (в том числе, коммуникативно-прагматическом и риторическом) аспекте на фоне других видов публичной речи. Такой подход соответствует магистральной идее рецензи-

руемого издания и подкрепляет его теоретическую целостность. Аналитическая же часть главы, выполненная на материале текстов публичных лекций (отметим попутно ценность подлинного лекционного материала – автором использованы фонограммы лекций, хранящиеся в фонотеках различных государственных учреждений) носит достаточно традиционный характер и представляет собой добротную характеристику экспрессивных и оценочных средств, типичных для публичных лекций. Данная информация обладает новизной в силу своей четкой жанровой отнесенности. В определении же коммуникативно-прагматической системности, системности текстового, речедеятельностного характера можно видеть перспективу дальнейшего изучения лекции как жанра.

Глава "особенности мужской и женской речи", авторами которой являются Е.А. Земская, М.А. Китайгородская и Н.Н. Розанова, представляет опыт целостного исследования речевого поведения в зависимости от фактора пола. Впервые в отечественной лингвистике объектом изучения выступает речевое взаимодействие мужчин и женщин, а не отдельный языковой факт или уровень. В работе ясно показано, что основа различий мужской и женской речи связана не с системой, а с употреблением языковых единиц.

Обобщение выводов о мужской и женской речи в исследованиях западных ученых позволяет авторам уточнить зоны поиска различий, проецировать факты русского речевого быта не только на экран русского, но и на экран других европейских языков, критически оценить феминистическую линию изучения мужского/женского языка.

Отметим полное отсутствие односторонности: размышляя о мужском/женском в диалогическом взаимодействии, авторы учитывают влияние множества факторов, накладывающихся на фактор пола. Повидимому эти факторы не всегда можно разделить. Например, сходство ролевых позиций сближает речевое поведение мужчины и женщины, хотя фактор пола, возможно, остается определяющим.

Большой интерес представляют конкретные наблюдения и обобщения, связанные с фонетическим оформлением мужской и женской речи, ее грамматический, словообразовательный, лексический спецификой. Некоторые из них (например, наблюдения о специфике вокализма и консонантизма) подлежат экспериментальной проверке, в том числе на материале живой речи разных городов России – в монографии уже сделана

попытка дифференциации фактов мужской/женской речи москвичей, петербуржцев, саратовцев. Главное же в том, что установлены тенденции мужского и женского речевого поведения, языкового творчества, стратегии ведения разговора. В работе определены направления дальнейшего изучения мужской/женской речи, выработаны методы (в том числе экспериментальные) анализа, отмечены зоны перспективного поиска различий мужской и женской речи, разрушены некоторые лингвистические стереотипы, сопровождающие общий взгляд на язык и речь в их отношении к фактору пола.

Глава М.Я. Гловинской "Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов" по материалу отличается от других глав книги: в ней отсутствует живой разговорный материал. Речевые иллюстрации извлечены из художественных текстов или представляют собой типовые сконструированные высказывания. Однако подход к классу глаголов речи, основанный на использовании уточненного понятия речевого акта, обнаруживает возможность семантического анализа для выявления специфики функционирования языка. Самостоятельную ценность для структурной лексикологии и практической лексикографии имеет предложенная модель унифицированного толкования глаголов речи, которая включает набор пресуппозиций, ассертивную часть, цель и/или мотивировку речевого акта, фиксацию возможной эмоциональной оценки речевого акта со стороны говорящего.

Если оценивать достижения данного исследования русских глаголов речи в аспекте общей функциональной концепции языка, разрабатываемой в коллективной монографии, следует обратить внимание на классификацию речевых актов, каждый из которых объединен общей идеей: сообщения, доносы, уверения и подтверждения, признания, предсказания и др. Уже простой перечень выявленных разновидностей речевых актов обнаруживает их многообразие. Опираясь на данную классификацию (даже с учетом ее неполной однородности – ср.: угроза и вопрос, сообщение и донос), можно подойти к решению дискуссионных проблем – первичных разговорных жанров, взаимопонимания коммуникантов и др.

Оригинальной представляется нам попытка конструирования наивной картины

мира на материале семантики исследуемых глаголов. Реконструкция одного из фрагментов ментального мира (наивной религии) обнаруживает эвристическую ценность использованной методики.

Сформулированные в монографии нетривиальные положения и выводы, введенный в научный оборот речевой материал, обновленный метаязык позволят, как мы надеемся, в будущем укрупнить единицу анализа и выйти в область текстовых форм разных стилей и жанров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Русская разговорная речь / Отв. ред. Земская Е.А. М., 1973.
2. Земская Е.А., Китайгородская Н.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
3. Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. лексика. Жест / Отв. ред. Земская Е.А. М., 1983.
4. Городское просторечие / Отв. ред. Земская Е.А., Шмелев Д.Н. М., 1984.
5. Разновидности городской устной речи / Отв. ред. Шмелев Д.Н., Земская Е.А. М., 1988.
6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 11–27.
7. Живое слово в русской речи Прикамья. Вып. I, 1978.
8. Разговорная речь в системе функциональных стилей русского литературного языка / Отв. ред. Сиротинина О.Б. Ч. 1: Лексика. Саратов, 1983.
9. Разговорная речь в системе функциональных стилей русского литературного языка / Отв. ред. Сиротинина О.Б. Ч. 2: Грамматика. Саратов, 1992.
10. Живая речь уральского города / Отв. ред. Купина Н.А. Свердловск, 1988.
11. Языковой облик уральского города / Отв. ред. Купина Н.А. Свердловск, 1990.
12. Русский язык. Энциклопедия. М., 1979. С. 386.
13. Орлов Г.А. Новейшие исследования английской литературно-разговорной речи. Обзор по материалам англоязычной лингвистической литературы. ВЯ, 1993. № 5.
14. Одинцов В.В. Качества речи и структура текста // ФН, 1979, № 4. С. 81–84.
15. Толстой Н.И. Язык и культура // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Ч. I. М., 1991. С. 7.

Н.А. Купина, Т.В. Матвеева

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

25–28 января 1994 г. на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова проходила Международная научная конференция "Грамматические уроки XX века", собравшая около 300 лингвистов из 25 городов России, а также русистов из Белоруссии, Украины, Латвии, Дании, Испании, Китая, Польши, Швеции и других государств.

Во время работы конференции состоялось 7 пленарных заседаний с 30 докладами и 5 заседаний трех круглых столов. Всего с докладами, сообщениями и в дискуссиях выступило около 100 человек.

В докладах, вынесенных на пленарные заседания конференции, был поднят обширный круг вопросов – от общих принципов лингвистического описания, к которым приводит исследовательский опыт XX века, и тенденций, наблюдавшихся в развитии лингвистики последних десятилетий, до конкретных достижений в отдельных областях лингвистического знания, и прежде всего – в исследовании грамматической системы русского языка.

Заседания начались с доклада Ю.Д. Апресяна (Москва) "Словарь и грамматика: обратные связи". Как отмечалось в докладе, в лингвистике последних десятилетий утвердились четыре принципа описания, которые можно считать главными лингвистическими уроками XX в.: **активность**: переход от принципа описания "от форм к значениям" к принципу описания "от значений к формам"; **интегральность**: переход от не связанных друг с другом грамматик и словарей к согласованному описанию грамматики и словаря языка; **системность**: признание того, что строгая организация материала присуща не только грамматике, но и словарю, поиск и установление лексикографических типов, формируемых в особенности той "наивной" картиной мира, которая отражается в данном языке; **экспериментальность**: переход от простого наблюдения фактов к экспериментированию с материалом как одному из важнейших методов получения лингвистического значения. В

докладе был подробно рассмотрен второй из отмеченных принципов, реализация которого, как показал Ю.Д. Апресян, требует существенного пересмотра помещаемой в словаре информации.

Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев (Москва) в докладе "Семантика предложения и границы лингвистики" затронули вопрос о месте прагматической информации в грамматическом описании.

Продолжая обсуждение общих принципов лингвистического описания, В.С. Храковской (С.-Петербург) остановился на проблеме теоретического обеспечения грамматического описания конкретных языков. Развивая тезис: "Чем универсальнее теория, тем полнее и адекватнее будет грамматическое описание конкретного языка, выполненное в ее рамках", он показал, какие новые результаты дает в этом плане описание русских условных конструкций.

Е.В. Красильникова (Москва), выступившая с докладом "О грамматическом описании, ориентированном на структуру коммуникации", опираясь на накопленный в XX в. опыт исследования русской разговорной речи, поставила вопрос о необходимости описания всего литературного языка на коммуникативной основе – с учетом типологии коммуникативных форм и разнообразных факторов экстралингвистического порядка, касающихся языкового функционирования. О плодотворности коммуникативного подхода к изучению грамматического строя говорила также Г.А. Золотова (Москва), сообщившая о подготовленной в ИРЯ РАН "Коммуникативной грамматике русского языка" (авторы – Г.А. Золотова и Н.К. Онипенко). Новизна исследования, как отмечалось в докладе, состоит прежде всего в том, что грамматические единицы рассматриваются в нем как части коммуникативного целого и анализируются сквозь призму типологии текстов, разработанной в виде учения о пяти коммуникативных регистрах речи.

Существенное место в докладах было

уделено конкретным вопросам языкового функционирования. О.А. Лаптева (Москва) проанализировала механизмы, регулирующие речевую манифестацию грамматической системы языка, обратив специальное внимание на коррекцию грамматического устройства явлениями текстового и прагматического планов. Н.И. Формановская (Москва) посвятила свой доклад анализу грамматических показателей в составе речевого акта и раскрыла прагматическую основу формального варьирования высказываний одной коммуникативно-семантической группы. В.В. Гуревич (Москва) предпринял попытку обнаружить в разных грамматических значениях прагматический компонент и на этом основании противопоставить грамматическую семантику лексической.

В докладе Н.К. Ониненко (Москва) "Идея субъектной перспективы в грамматике" была предложена схема изучения высказывания, позволяющая свести воедино разные направления в исследовании проблемы "точки зрения", поставленной поэтикой начала века и оказавшейся актуальной для грамматики последних десятилетий.

О продуктивности лингвистических концепций и методов, позволяющих рассматривать различные языковые факты на единой общетеоретической основе, говорилось в докладе Е.А. Брызгуновой (Москва) "Проблема целого и части в русской грамматической традиции второй половины XX века".

Большой интерес вызвал у участников конференции доклад В.З. Санникова (Москва) "Лингвистический эксперимент и языковая игра".

В докладах по словообразовательной и морфологической проблематике основной акцент делался на принципе системности лингвистического описания как на одном из важнейших уроков XX в. А.С. Герд (С.-Петербург) рассмотрел соотношение основных частей теоретической грамматики – морфемики, словообразования, формообразования и словоизменения. А.Н. Тихонов (Москва) раскрыл организующую роль морфологии в системе словообразования, в устройстве всех его комплексных единиц. Е.В. Клобуков (Москва) продемонстрировал необходимость учета системных отношений при исследовании морфологических категорий на примере категории падежа, и в частности формы вокатива, целесообразность выделения которого в качестве особой падежной формы в современном русском языке обсуждалась затем в ряде выступлений

участников конференции. И.К. Сазонова (Москва) привлекла внимание слушателей к проблеме дефектных парадигм и предложила их классификацию, ориентированную на разграничение в многозначном слове зоны прямых, основных и зоны вторичных лексических значений. Л.А. Брусенская (Ростов-на-Дону) проанализировала семантический и функциональный аспекты интерпретации категории числа в современном русском языке. М.Ю. Сидорова (Москва) представила вариант функционально-семантической классификации имен прилагательных.

Открывая серию докладов по синтаксической проблематике, Т.В. Шмелева (Красноярск) обратила внимание на две тенденции, определяющие характер синтаксических исследований, – дифференцирующую, и интегрирующую, и подчеркнула, что наступило время второй тенденции, которая заявляет о себе в постановке новых исследовательских задач и обогащении понятийного аппарата синтаксиса понятиями интегрального характера.

В докладах, посвященных проблематике простого предложения, рассматривались разнообразие аспекты взаимодействия различных сторон его организации. О.А. Крылова (Москва) обосновывала точку зрения, согласно которой лежащее в основе предложения предикативное отношение формируется при соединении ремы с темой. Л. Писарек (Вроцлав) посвятила свой доклад принципам систематизации различных форм перформативных предложений на основе понятий структурно-смысловой модели и ее модификаций. Б. Нильссон (Стокгольм) проанализировала семантико-синтаксическую организацию конструкций с отглагольными существительными с отвлеченным значением и полувспомогательными глаголами.

Обратившись к проблематике сложного предложения, Г.Ф. Гаврилова (Ростов-на-Дону) остановилась на закономерностях взаимодействия значений модальности, темпоральности, целенаправленности, персональности и др., выражаемых частями сложноподчиненного предложения как предикативными единицами, с его синтаксической семантикой. Т.А. Колосова (Воронеж) и М.И. Черемисина (Новосибирск) предложили пересмотреть традиционный критерий "союзности" сложного предложения. Вместо понятия "союз" они используют более широкое понятие "скрепа".

В докладе М.В. Всеволодовой (Москва) "Формальный и функционально-

коммуникативный синтаксис как составляющие научной парадигмы" получили освещение принципы функционального синтаксиса, сформировавшегося "под давлением" потребностей преподавания русского языка как неродного. Возможности использования функционального подхода при создании активной грамматики и словаря функционально-семантических полей были продемонстрированы в докладе Т.А. К и л ь д и б е к о в о й, Р.Ф. Г а з и з о в о й, В.И. У б и й к о (Уфа) "Функциональные аспекты грамматики". А.Н. Р у д я к о в (Симферополь), обратившийся к проблемам функциональной лексикологии, дал теоретическое обоснование функционально-семантического описания словарного состава языка.

Типологическое направление лингвистических исследований было представлено на конференции докладами Л.Г. З у б к о в о й и Е.В. П е т р у х и н о й (Москва). Л.Г. З у б к о в а говорила о противопоставлении лексического и грамматического как о важной типологической детерминанте, пронизывающей все уровни языковой организации. Е.В. П е т р у х и н а, выступившая с докладом "Грамматические исследования в связи с проблемами континентальной типологии и изучением русского языкового сознания", вынесла на обсуждение вопрос о роли грамматических значений в создании национально-языковой картины мира.

С большим вниманием были прослушаны доклады, посвященные особенностям функционирования языка в современном обществе и роли и судьбе лингвистического знания. В докладе Б.Ю. Н о р м а н а (Минск) "К проблеме наивной грамматики носителей языка" содержалась характеристика так называемой "наивной (или реальной) лингвистики", объединяющей интуитивные представления о языке обычного (лингвистически не образованного) носителя языка, и были выделены такие ее важнейшие признаки, как минимальность, активность, максимальная системность, "открытость", закрепленность за определенным социумом. Н.Б. М е ч к о в с к а я (Минск) обратила внимание аудитории на некоторые тенденции, характеризующие положение лингвистического знания в истории культуры и его судьбу в современном обществе. О

положении русского языка в современных условиях и ответственности за него филологов говорил в докладе "Существование языка и искусство филолога" Ю.В. Р о ж д е с т в е н с к и й (Москва).

Обсуждение итогов и перспектив лингвистических исследований было продолжено на заседаниях круглых столов. В выступлениях, состоявшихся на двух заседаниях круглого стола "Синтаксис: идеи, методы и результаты" (ведущие – В.А. Белошапкова и М.В. Всеволодова), прослеживались этапы развития синтаксической науки в XX в. и отмечались ее важнейшие принципы, говорилось о роли отдельных лингвистических школ в русистике, о теориях и подходах, обладающих большой объяснительной силой и способствующих получению новых знаний, о грамматическом строе языка, о грамматических уроках, извлекаемых из изучения различных аспектов организации синтаксических единиц. Заседания завершились дискуссией по поводу традиционной терминологии, перешедшей в разговор об общем отношении к синтаксической традиции.

В центре внимания участников круглого стола "Грамматика и языковая личность" (ведущие – О.А. Лаптева и М.Г. Милославский) были вопросы активной грамматики, грамматические явления в аспекте языкового функционирования и др. На двух заседаниях круглого стола "Синхрония и диахрония" (ведущие – К.В. Горшкова, В.М. Живов и М.В. Шульга) были прослушаны сообщения по общим и частным проблемам морфемики, словообразования и морфологии русского и других языков, а также по широкому кругу вопросов, касающихся диахронических процессов – формирования системы частей речи в русском языке, системы глагольных времен и именного словоизменения, морфологического и словообразовательного развития слов отдельных лексических разрядов. Темой специального обсуждения стали также общие проблемы и перспективы диахронических исследований.

По итогам работы конференции было принято решение, в котором с удовлетворением отмечалась плодотворность проведенных дискуссий.

Е.Б. Степанова (Москва)

CONTENTS

A.I. D o m a š n e v (St.-Petersburg). On the speech of communication in the unified Europe; G.E. K r e i d l i n (Moscow). The semantic limits of the metaphor and the meaning of prepositions; V.B. K r y s ' k o (Moscow). Remarks on the Old Novgorod dialect (I. Palatalisation); M.K. S a b a n e v a (St.-Petersburg). The essence of mood; V.J. R o z i n a (Moscow). Object, means and goal in the semantics of verbs of complete effect; V.G. G u z e v (St.-Petersburg). On the syllabic nature of the Turkic runic writing; E.S. J a k o v l e v a (Moscow). A fragment of the Russian language image of time; A o s u a n g T a n g (Moscow). The Chinese language and the conceptual world of the speakers; **From the history of science:** K. M o s s (Middlesbury, USA). Olga Freidenberg and marrism; **Reviews:** V.A. P l u n g j a n, I.V. R a x i l i n a (Moscow). On some trends in contemporary French linguistics; A.A. K i b r i k (Moscow). Cognitive studies of discourse; K.G. K r a s u x i n (Moscow). Reconstructing language and cultures; V.I. P o d l e s s k a j a (Moscow). *Croft W.* Syntactic categories and grammatical relations: the cognitive organization of information; Ju.A. S o r o k i n (Moscow). *Semenas A.L.* Lexicology of contemporary Chinese; N.A. K u p i n a, T.V. M a t v e e v a (Ekaterinburg). *The Russian language in its real use.* Communicative and pragmatic aspects; **Scientific life.**

Технический редактор *Н.С. Евсева*

Сдано в набор 9.06.94 Подписано к печати 28.07.94 Формат бумаги 70 × 100 1/16
Офсетная печать Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр-отт. 24,5 тыс. Уч.-изд. л. 15,8 Бум. л. 5,0
Тираж 1887 экз. Зак. 1526

Адрес редакции 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-74-42
Московская типография № 2 ФАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6